Дмитрий Кудис

НЕ БЫЛ В БОЯХ

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Дмитрий Кудис

НЕ БЫЛ В БОЯХ

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

ПОВЕСТИ

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
Москва — 1980

Р2
К88

К $\frac{70302\text{-}150}{068(02)\text{-}80}$ 145.80.4702010200.

НЕ БЫЛ В БОЯХ

ПОВЕСТЬ





1

Небо — сплошное солнце. Земля — гигантская духовка. Горячий воздух сух, неподвижен. На подступах к аэродрому — узкая быстрая речушка, падающая с гор, холодная и прозрачная. Вода — тысячи раскаленных игл — жжет тело, колет, сводит мелкой судорогой, выбрасывает, как туго надутый мяч, отпущенный торопливой рукой с каменистого дна. Теряется речушка где-то в выжженной солнцем степи или в песках. Жмется ближе к камням, замедляя бег, теряя иглы. Земля измучена жаждой, ненасытна.

Север, юг, восток — горы. Запад открыт, только запад. Горы — серые чудовища, прикрывшие горизонт и треть неба вдали. Они преграждают путь ветрам, но не в силах бороться с солнцем — талый снег стремительным потоком сбегает на горячую землю, обмывая камни, песок, и журчит неутомимо...

Конец... Завтра не будет ни гор, ни жары, не будет этого желтого куска земли, откуда тупорылые птицы взлетают с глухим барабанным рокотом, поднимаются выше гор, летают в белесом воздухе, потом, голодные, садятся на тот же клочок земли, чтобы наполнить свои толстые животы очередной порцией горючего.

Далеко-далеко, за тысячи километров, ежеминутно обрывается чья-то жизнь. Там жарко, но не от солнца;

там нет гор, которые преградили бы путь огневым ветрам.

Конец... И не станет тишины глубокого тыла. К безжалостному солнцу можно привыкнуть, к раскаленному и душному воздуху — тоже. Но привыкнешь ли к войне, когда она будет рядом?

Сегодня каждый час кажется Косте длинным до бесконечности. Мысли непоследовательны, порою сумбурны... «Спокойнее! — говорит он себе.— Знаешь, ненависть — еще не все. Если к этому прибавить умение — тоже еще не все. Потребуется много другого, что должно сделать из тебя солдата. Спокойнее...»

Здесь, за тысячи километров от фронта, время исчисляется не стрелками часов и не листками календаря, а событиями.

Даты уже не имеют значения. Время — это разгром немцев под Москвой, но все еще занятые врагом Минск, Смоленск, Одесса, Киев, бои под Ростовом, под Ленинградом...

Не так давно, слушая радио, не сомневались курсанты: месяц, два... Скоро поняли: легко не будет. Была не малая кровь и ответный удар был не столь могуч, как весело пели на строевых. Враг ошарашил артиллерией, авиацией, танками.

Из тех, кто попал в училище еще до войны, многих уже нет: кто разрывает крыльями фронтовое небо, а кто уже никогда ни с веселой, ни со злой удалью не подымется к облакам. Их нет, совсем нет...

Правда была жестокой.

В отряде «стариков», для которых сегодняшний день последний в училище,— радость. Конец учебы. Сделан последний полет...

Темнота прикрыла землю. В этих краях мрак приходит без предупреждения. Усталый от солнца город засверкал собственными огнями. Тихо и прохладно. Город в садах. Листья неподвижны, на них пыль, посеребренная светом электрических лампочек, висящих между деревьями на спокойных улицах.

Когда был зачитан приказ, Костя с Петром Гирисом сбегали на почту, послали телеграммы и поспешили в Дом курсанта.

Не опоздать бы!

За столами, составленными в ряд, молодые здоровые парни. За отдельным — начальство. На столах — жареное

мясо, овощи, фрукты. Вина нет, и ребята с сожалением посматривают на обилие закусок. Сдержанные голоса. Костя и Гирис прибежали вовремя...

Полковой комиссар, седой, с выправкой старого военного, требовательный до педантизма, бывало, жестоко карал за выпивки, но уж в такой-то вечер можно было бы по стопке... В последнем своем напутствии немногословен.

— Доброго пути вам! Уверен, что ни один из вас в строевых частях не запятнает честь и достоинство старейшего в стране училища...

Говорил и начальник училища:

— Ни пуха, как говорят, ни пера! Самолеты наши не очень... сами знаете. На фронте будут другие. Но не только в них дело. Побольше злости, умение придет. На Халхин-Голе я научился воевать за один день. Японцы злее немцев, пожалуй, и хитрее, но и тех били в свое время. Каждому свое, в общем...

Он явно волновался. Как часто курсанты подшучивали над его низеньким ростом, над его бесконечным «в общем», над его неумением складно говорить. Сейчас притихли и видели только его глубокое волнение за них, за взрослых «в общем» парней, да слегка обожженное лицо, на котором заметны багровые полоски...

— Верю, друзья мои, верю вам, как самому себе. Ни пуха ни пера, в общем... — Полковник подумал минуту, потер пальцами лоб.— Ну что ж, отдадим должное богу плодородия... уж не помню, как его фамилия...

Шумно, азартно аплодировали полковнику, и не потому, что он пытался острить, ставя себя как бы на равную ногу с ними, с летчиками, а потому, что он сам летчик, редкой души человек, и еще потому, что последний воздушный бой с японцами оставил заметный след на его лице, когда он падал с горящим самолетом.

Все же по стопке многим перепало подтихую. Ничего не поделаешь, традиция, хотя и без вина пьяны от избытка чувств. Самодельная крепкая водка — мутная и кислая, как кумыс. Гирис припас «баночку» и не говорил об этом до последней минуты. Выпили с инструкторами. Комиссар видел манипуляции с «кумысом», но на сей раз был снисходительным. Последний вечер... Здесь останется кусочек курсантского сердца. Пели хором «Летит стальная эскадрилья», болтали, смеялись,

опять пели. Гирис пыхтел ядовитой махоркой, прищуривая насмешливые слегка навыкате глаза. Были папиросы, но этот латыш предпочитал махорку. Здоровенный парень, высокий, плечистый, с грубоватым лицом, он подтрунивал над запьяневшим Костей. А Костя вдруг потускнел:

— Вспомнил Украину...

Гирис притянул Костю к себе, ласково потрепал волосы:

— Эк тебя развезло...— и, видя, что Костя хочет обидеться, поспешил успокоить:— Мы еще будем там, дружище, будем...

Училище покинуло свой город в день, когда несколько бомбардировщиков «прошлось» по главной улице. Кровавое зарево и дым все еще плывут перед глазами, и многие месяцы вдали от приморского города, от синего моря, от войны не развеяли этот дым. И не один Костя вспоминал все это.

— Гитлер приказал взять город целехоньким,— присоединился к разговору Иван Поляков,— так говорят... Чудесная дача!

Гирис зло чертыхнулся:

— Чтоб ему могилой стала та дача!

Может быть, и не так уж запомнился бы город, солнечный, зеленый и теплый, не будь зловещего дыма и «юнкерсов». Немцы бросали мелкие бомбы. Одна отбила угол оперного театра, которым так гордились жители и который, по каким-то якобы только им известным данным, стоял на втором месте в мире по красоте.

С десяток бомб попало на военный городок, на аэродром, загорелись два истребителя на стоянке. Остальные упали на улицы, на жилые дома...

Кто-то из летчиков вставил:

— А у нас в Вязьме, говорят, один дом остался, и ничего больше. Кладбище...

— Неудивительно. В Москву не прорвешься, а разгрузиться над Вязьмой — тоже дело: железнодорожный узел...

— И все же бомбили Москву,— не то удивленно, не то растерянно сказал Костя.— Не могу поверить! Как сон... Почему же...

— Уезжаете!— не дала договорить подошедшая к столу девушка и стала собирать со стола тарелки. Сердитыми глазами окинула ребят.— Вон все какие

важные стали!— Голос ее подозрительно звенел.— А я? Вы же говорили, что я молодец! Выходит, я молодец только в столовой, когда подаю вам тарелочки-вилочки...

— Таня...

— Молчите!—злясь, брякала посудой.— Вы думаете, я, кроме тарелочек и вилочек, ничего не умею! А я приехала сюда, чтобы к самолетам ближе быть! Вот так! Ребята,— вдруг жалобно зазвучал ее голос,— возьмите с собой! И в армии есть девчата, даже на фронте...

— Танюха, ты же понимаешь — не от нас это зависит.— Гирис положил руку на плечо девушки.

Таня резко сбросила руку Гириса, тряхнула черными кудрями.

— Успокаиваете!— И тут же не выдержала, и слезы побежали по щекам.— Попросите командира... ну что вам стоит? Ведь вы теперь летчики, настоящие...

— Таня!— Костя никак не находил нужных слов, чтобы убедить девушку в несусветности ее желания. Не скажешь же ей именно так: «Нелепость ты задумала, милая Танюха!» И лишь заглядывал ей в глаза, то сердитые, то растерянно-жалкие.—Таня, мы и сами не знаем, куда нас занесет. Пока переучиваться на новых самолетах, а там в бой...— совсем неубедительно говорил он.

Всегда веселая, задорная, Таня плакала, и от этого всем стало немного грустно.

Она появилась в училище в первые дни войны. Однажды в столовой вместо пожилой приветливой тети Шуры, уехавшей от войны в деревню, замелькала тоненькая фигурка девушки, скорее девочки.

— Вот это пополнение!— шутили курсанты.

Девушка свободно, не смущаясь, разговаривала с ребятами, успела накричать на повара за задержку второго и вообще чувствовала себя так, будто хозяйничает здесь давно.

— Откуда ты, прелестное дитя? — продекламировал Гирис.

— Прелестное дитя из военкомата,— непринужденно ответила Таня и помахала ему пустой тарелкой уже от другого столика.

Гирис, конечно, поторопился узнать подробности: до войны Таня работала в кафе официанткой. С первого же дня войны просила направить добровольно на фронт, про-

бралась даже к секретарю райкома партии, плакала, смеялась, ругалась и настояла: «мобилизовали». В официантки? Ничего... пока... Узнал и то, что ей только семнадцать...

Мимо нее не пройдешь не оглянувшись: небольшая, но как выточенная фигурка; обрамленная длинными, до плеч, черными кудрями головка; чуть заметный калмыцкий разрез глаз, брови вразлет, яркие губы редко когда скрывали ровные блестящие зубы. Но, кажется, ни у кого не возникало мысли приударить за ней, столько в ней было наивной, детской непосредственности.

Услышав Костю, Таня попыталась улыбнуться, посмотрела на него, но в этом взгляде уже не было укора...

— Будете хоть писать-то? — Обращаясь ко всем, смотрела только на Костю.

— Будем, Танюшка, будем...

— Ну что ж... и то ладно,— сказала она и неожиданно прибавила с вызовом: — А я все равно приеду, вот увидите! Самолеты буду мыть... Да еще и летать научусь.

Спустя некоторое время Гирис, выпячивая атлетического сложения грудь, дурашливо возмущался:

— Ловкач ты оказался, Костя! Пока мы приглядывались, с какой стороны подойти к этой красуле,— ты ее атаковал в лоб. Ну и ловкач... Растянул рот до ушей, понимаешь...

Костя не обижался на подначки. Он и сам не знал, почему именно ему отдала предпочтение «лучшая девушка на свете». Но он твердо был уверен, что Таня с радостью встречается с ним, ходит в кино, ездит в город, когда ему дают увольнительную; в столовой он издалека ловил ее улыбку. Им было хорошо вместе и даже врозь, потому что и расставшись в мыслях они были рядом. В великой тайне от ребят хранил дурманящие голову поцелуи.

...Спали плохо. Ночь была длинной, душной. Слабый ветерок спускался с гор легкими волнами и шевелил брезент палатки. Раньше не замечали такого шелеста, даже когда поскрипывали крепления и шесты, хотя бывало, что найдет ветер лазейку меж гор, ринется в степь и обрушит на два ряда палаток избыток энергии. Тогда тоже было не до сна.

Утром, в чистеньких гимнастерках с петличками сержантов (по два ярко-красных треугольничка), сидели в грузовиках.

Костя замешкался. Немного смущаясь оттого, что все

их видят, держал Танины руки, потом нагнулся и шепнул ей на ухо:

— Мне будет очень не хватать тебя...— и, осмелев, поцеловал в дрогнувшие губы.

Никто не разыгрывал его, когда он занял свое место в машине. Может, не видели?

Машина попылила на вокзал. По пути свернули в сторону от дороги, к кладбищу. Там могилы двух товарищей — инструктора и курсанта. Потеря скорости на малой высоте, штопор... Не успели вывести.

Сняли пилотки, постояли минуту молча — и снова в машины.

Пассажирские вагоны. А сюда ехали в товарняках. Давно это было. Сейчас расположились как дома. Последний гудок. Прощай, земля и небо солнечного края!

Сутки. Еще сутки. Не стало гор, не стало зелени. Границу Азии проехали ночью, никто и не заметил, а утром — Россия и война. Много народу на станциях. Буфеты пусты. Предприимчивые жительницы привокзальных улиц встречают пассажиров дымящейся картошкой в горшках и тарелках. И за это спасибо. Не только картошка: ботинки, шапки, шарфы, рубахи.

На одной из станций долго стояли в ожидании встречного. Костя и Гирис лежали на средних полках. Томясь скукой и бездельем, молча смотрели в окно.

— Сейчас опять начнется, смотри,— вздохнул Костя.— Не раз еще вспомнишь Азию.

Послышался гудок ожидаемого встречного. Сначала дым из-за бугров, потом неясные очертания паровоза и шум приближающегося состава.

Почти против окон, в которые, оживившись, заглядывали Костя с Петром — все какая-то разрядка,— домик с красной железной крышей: «Кипяток». Кран выходит наружу. Выше крана окно и равнодушное лицо старой женщины. Тишина обрывается пыхтением и дребезжанием подошедшего старенького паровоза, тащившего с десяток вагонов... Может быть, перед войной он и катил свое натруженное тело к последнему тупику, но не докатил. Война повернула обратно...

Люди, не ожидая остановки, выпрыгивают из вагонов. В руках кружки, котелки, ведра, даже бачки. У крана с кипятком мгновенная очередь. Костя и Гирис с любопытством смотрят на толпу, прислушиваясь к голосам. Они еще не видели эвакуированных. Беженцев — как их на-

зывают. Беженцы... Холодно от этого слова. Торопятся, боятся отстать от поезда, остаться без кипятка. Трудно что-либо разобрать в этой разноголосой суете. Хвост очереди нетерпеливо топчется, подталкивая передних. Очередь ближе к крану беспорядочно сгрудилась. Там уже не подталкивают, а мнут друг друга. Над головами—брызги горячей воды...

— Совести нет! — прорывается чей-то голос над всеми криками и причитаниями.— Пропустите женщину! У нее дети остались в вагоне!

— А у нас кто? Щенята, что ли?..

Гирис, просунув сколько можно голову в окошко, успел поговорить с той женщиной, за которую кто-то вступился в очереди; она из Киева, все еще не найдет пристанища. А та, пожилая, потеряла невестку и теперь с внуками не знает, куда пробиться. И почти у всех дети, маленькие... Нельзя ни на кого обижаться за нервные, грубые слова.

Усталые, бледные лица, глаза злые. Поезд не ждет, люди торопятся. Большинство пассажиров — женщины, подростки, дети... Мелькают и военные шинели. Война везде, война рядом, вот на этих лицах, в этом кипятке.

Хриплый сигнал паровоза. Еще минута криков и беготни, и опять тишина.

2

Осень. Холодно. Помятые шинели еще пахнут лежалым новым сукном. Земля, липкая, тяжелая, черная, пристает к подошвам сапог. Приходится поминутно взбрыкивать ногами, тогда черные комья летят далеко в сторону. Только что прошли город, ничего особенного: голый, серый, мокрый. Очевидно, летом город выглядит гораздо лучше, веселее, а сейчас стены домов ободраны, в заплатах. На мостовых выбоины, асфальт потрескан. И люди кажутся серыми, пасмурными, под стать погоде.

Гирис чертыхнулся, сбросив с сапога очередную лепешку:

— Лошадиные копыта надо иметь, чтобы передвигаться по этому, извиняюсь за выражение, городу.

Иван Поляков усмехнулся, не злясь, поддержал:

— Да, видок у города гриппозный. Мне уже чихнуть хочется.

В городе крупный часовой завод. Был часовой. Сейчас делают что-то другое. Об этом по большому секрету гово-

рил в вагоне какой-то попутчик. Говорил не только об этом. Был еще завод, мебельный... «Теперь для вашего брата стараются. «Лавочкиных» пекут». Летчики понимающе кивали, хотя о «лавочкиных» слыхали, но не видели их. Костя думал: «Уж если маленькая бисквитная клепает гранаты, то, надо думать, часовой завод делает что-либо посолиднее...»

Тревожное чувство царапнуло сердце, а тут еще низкое, набухшее дождем небо придавило город мохнатой глыбой. Но вообще-то город как город, как сотни других, и люди, если присмотреться, совсем не серые — снуют по магазинам, толкутся у кинотеатра.

Вон, кажется, Дом офицеров...

— Работает? — Гирис вежливо остановил рослую девушку.

— А то как же! Кино, танцы...

— Кто же танцует?

— Интересно... парни, девушки, а почему бы нет?

— А как вас зовут? — не унимался Петр.

Девушка хмыкнула:

— А вам-то что? Клава...— Еще раз хмыкнула, внимательно поглядела на Гириса, на новенькие петлицы сержантов...

— Клава! Это чудесно! А меня — Петро. Первый танец за мной. Идет?

— Приходите... там видно будет.

Костя, посмеиваясь, сказал Гирису:

— Когда ты оставишь дурацкую привычку приставать к людям?

— Чудак ты, чижик. Это же обыкновенная рекогносцировка: как жить будешь, если не знаешь, кто рядом шагает; а главное — дивчинка ничего себе. Клава... Клавочка...

— Да ты же, сердцеед несчастный, через пятнадцать минут забудешь не только имя, но и назначенное свидание. Только бы тебе потрепаться,— перепрыгивая очередную лужу, беззлобно ворчал Иван Поляков. И сразу о своем, видно, не покидавшем его все время: — А ведь до боевых вылетов нам еще как до господа бога.

...За городом попутная машина избавила их от навязчивого чернозема. На ее резиновых скатах все та же земля, и держится там прочнее, чем на подошвах. Колесами не взбрыкнешь, но колесам на это наплевать. Ехать километров пятнадцать с гаком, сказал водитель. И уж, ко-

нечпо, оркестров при встрече не будет. Аэродром новый, узнали ребята, военного времени. Неужели и там такая грязища?

Гирис опять ворчит:

— Сколько у бога красивых мест на земле, так на́ же, присуропил авиацию, все ж как-никак близкую себе родню, в такое чертово место. Чем только он думал...

Иван верен себе, внешне невозмутим. Он умел сдерживать свои чувства, а свое плохое настроение не навязывал окружающим. Гирис говорил, с таким характером можно запросто в долгожители попасть.

— Это нам здешняя почва не нравится, а местные с удовольствием прикидывают, сколько в этом году из этой «грязищи» хлебушка вылезет,— не замечая ехидства Петра, окинул черноземные просторы Иван,— и идут по ней как Христос по воде — не тонут, так сказать.

— Это почему ж? — заинтересовался Костя.

— Из-за пяток. Пятки у местных, особенно у девчат, такие, припечатывают грязюку книзу, а в сторону — нини; толстопятыми их называют, девчат.

— А ты, Иван, тоже вредничаешь,— возразил Костя Полякову. — Еще и аэродрома не видели, а пяток и тем паче...

Поляков усмехнулся:

— Пятки я видел. У меня жена из этих мест.

— О,— обрадовался Гирис,— значит, будет куда на чаек заглянуть. Родичи тут?

— Теперь нет. Давно уж уехали с этих мест...

Стояли рядом, опираясь о кабину, болтали о пустяках. Ветер хлестал по лицу. Все были охвачены тем слегка возбуждающим и вместе с тем как бы грустным чувством, которое приходит в незнакомом месте перед неизвестностью. Их было семь человек, семь летчиков, которым предстояло сначала переучиться в учебном центре на новых самолетах и только потом — на фронт. Что это за самолеты и сколько уйдет времени на освоение их? Что впереди, вот за этой деревней? Радость или неприятности? Удачи или разочарования?

Костя попробовал подбодрить товарищей:

— Вот увидите, по первому снежку дальше двинем.

Но пока товарищи видели, что Костя и сам не верит в то, что говорит. Никто ему не ответил...

Деревня осталась позади. Аэродром почти рядом, в километре от нее. Шофер лихо подкатил к самым воротам. Проходная — пристройка к воротам, как скворечник. В скворечнике — часовой.

— Шагайте в штаб! — проверив документы, не по-военному бросил солдат.

Штаб похож на сельский клуб. Рядом еще три дома. Один большой, барачного типа: столовая. Можно определить по запаху. За домами — землянки с отдушинами, как овощехранилища. Очевидно, до войны на самом деле было так. Трудно сразу привыкнуть к мысли, что в них жить придется, может быть, не один месяц...

Аэродром тут же, за этими сооружениями. Стоянка самолетов упирается в крайнюю землянку. Стоянок несколько. Они на открытом месте и хорошо видны. Самолеты новые, известные больше по картинкам. Есть и старые тупорылые «ишачки». Стремянки, капониры, огромный брезентовый навес, импровизированный ангар.

Постояли, посмотрели, почему-то вздохнули как по команде и вошли в домик — штаб.

Внутри дом кажется просторней. Комната дежурного офицера достаточно большая, чтобы вместить несколько человек. Дежурный офицер — старший лейтенант. Все дежурные офицеры штабов похожи друг на друга: чистенькая форма, поскрипывающие ремни, озабоченный вид и чувство превосходства в каждой черточке чисто выбритого лица.

— Ждать, сержанты! Доложу полковнику. — И вышел, скрипя начищенными до зеркального блеска сапогами.

Летчики посмотрели на свои, обляпанные грязью. Голенища у них рыжие, с красноватыми подтеками.

— Прошу!

Неудобно получилось. В дороге отбились от каждодневных привычек, свойственных военному человеку: куда бы ни входил, осмотри сначала себя...

— Приведите себя в порядок, потом зайдете.

Все правильно. Так и должно быть. Не к приятелю заскочили на скоростях... в штаб части. Хоть строг полковник, но по внешнему виду больше напоминает директора завода, каких показывают в кинофильмах. Невоенный вид: круглое лицо, лысеющая голова, толстоват, отчего кажется маленьким, да еще бриджи с большим напуском и гимнастерка с широченными плечами. Но при-

стальный взгляд и четыре шпалы в петлицах заставляют выпрямиться.

На улице в луже вымыли сапоги, расправили гимнастерки, ополоснули лица под рукомойником в коридоре, вытерев их носовыми платками, и снова вошли, вобрав голову в плечи (грязные подворотнички).

— Кто-нибудь из вас в аэроклубе работал инструктором?

Из семи прибывших трое работали до армии в аэроклубе. И в военное училище прибыли вместе: Коровин, Гирис и Поляков.

Полковник выслушал ответ. К этому вопросу больше не возвращался.

— День на устройство. Жить в землянках. Кроватей нет, нары. Зато тепло. День на изучение района — и в воздух. Устраивает?

— Вполне. А сколько времени?..— Гирис не успел закончить вопрос.

— От вас зависит. Переучиваться на «яках». Командир эскадрильи — майор Пыльников.

— Разрешите еще один вопрос, товарищ полковник, кроме «яков» есть и другие?

— «Лавочкины». Американские «киттихауки», английские «харрикейны». Пока будете летать на «яках». Свободны.

И так прозвучало это рублепое «свободны», что другие вопросы не надо было задавать. Подхватив в приемной чемоданы, шипели, летчики вышли, едва взглянув на дежурного офицера.

...Родился человек, ходить начал. Мир перед ним огромный, заманчивый, ничуть не страшный. Небо светлое, земля теплая, и люди добрые. Иногда мир кажется маленьким, как дом, а порой большим, как небо. Но и в том и в другом случае мир свой, привычный, полный чудес и приятных неожиданностей. Но видеть — не значит знать. Жизнь начинается, когда человек обретает самого себя, когда он становится способным осмыслить виденное, когда он прислушивается к внутреннему голосу и понимает, о чем говорит этот голос.

Приходит юность, пора ярких чувств и переживаний, пора первой любви. Мир становится шире, сложнее. И столько сил в теле, не измеришь! Нет невозможного. Все возможно, когда в сердце любовь, в мыслях мечты и тебе двадцать, а земля теплая, небо голубое и люди доб-

рые. И все же не в этом еще жизнь. Мало... Земля не всегда бывает теплой и небо светлым, а истина не сразу приоткрывает двери.

Но сразу отодвинулось куда-то далеко то, что казалось еще таким близким: детство, смелые набеги на чужие сады и огороды, бесшабашное купание в омутовой безымянной речушке, потасовки, где устанавливалось свое растущее «я»...

Ушла и юность.

В поезде вместе со стуком колес в сознание молодых летчиков входило нечто новое, неизведанное и очень сложное. Со стуком колес уходила юность, разбивая в пух и прах все, что казалось простым в жизни и понятным. Исчезли мелкие обиды, легкоранимое самолюбие, придирки старшины, взыскания командиров и даже дела сердечные. Большие противоречия в жизни заслонили все, что раньше было значительным.

Вначале война казалась им не столь уж трагичной, может быть, потому, что училище далеко от фронта. Война, фронт... эти слова не страшили их; разум еще не вобрал в себя всего происходящего. Война? Ну и что? Будем воевать и победим. И совсем не представляли, как придется воевать и как достанется победа.

Обескураживающей деталью в их памяти осталась деталь первых дней... Человек, только что надевший солдатскую форму, с истеричным криком выбросился из окна казармы. Третий этаж... Почему? И было ему не двадцать, а все сорок. Поторопился с выводами. Тяжелые обстоятельства лишили его разума. Костя и его товарищи были ошарашены поступком того безумца. Что-то кольнуло тогда в сердце. Оказывается, слово «война» по-разному действовало на разных людей. Кольнуло — и только. Знакомый голос в репродукторе: «Говорит Москва...» — и слабость исчезла.

...Костя и Петр лежали на нарах рядом, бок о бок. Тесновато. Много в землянке людей — и только что прибывших, и уже обживших соломенные матрацы. Костя и Петр спят внизу. Над ними еще нары. Говорили, им повезло. Еще говорили, чтобы сапоги берегли. Кожаные, новые... всякое бывает. Надоедают «кирзачи». Могут взять без злого умысла, с подменой «по справедливости»... «Вы поносили — надо и другим!»

Пахло сыростью, портянками, старой соломой. По узкому проходу между нарами и стеной-засыпушкой то и дело проходят на улицу летчики с накинутыми на плечи шинелями, куртками. У двери — тумбочка и склонившаяся над ней в полусне голова дневального. Рядом с ним винтовки в пирамидах.

— Покурить бы,— вздохнул Костя.

Соскочили с нар, набросили шинели на плечи, вышли за дверь. Дым от махорки лениво уходил и таял в сыром воздухе. Со стороны города наползал туман. Свет от лампочки у входа в землянку — желтое расплывчатое пятно, тревожное, как ночь.

— Летчик — сержант... Я это еще способен понять иногда, если поднатужиться. Черт с ними, с кубиками. И солдатская форма неплохая, вытерпим, да и летать будем не в шинелях, но зачем же вот так... как в конюшне.— Гирис зло ткнул ногой в щелястую дверь землянки.

Костя знал оптимистичного, безмерно влюбленного в авиацию Гириса, знал, что ему ни черт ни дьявол не страшен. Летать, а остальное со временем приложится. Его уныние обескураживало. Не похоже на Петра, совсем не похоже. Косте самому тяжело, и курить вовсе не хотелось, и вышел он с готовностью, потому что хотелось самому подзанять у него бодрости. Поэтому, отвечая Петру, не мог сдержать раздражения, что с ним бывало редко:

— А чего ты хотел? Гостиницу, пуховые подушки? Война!

— Война, война... Зарядили одно и то же! Надоело! Замполит — война, командир эскадрильи — война, и ты туда же — война. А где она, война?

— Вот в этой землянке. В Москве война, и в Риге тоже, между прочим...

— Только, пожалуйста, не читай мне политинформаций,— сморщился досадливо Гирис.— В этой землянке я вижу войну только с клопами да крысами.

Скрипнула дверь. Голос дневального:

— Топайте назад, ребята! Адъютант заметит, отпустит вам для начала.

Верно, предупреждали: курить нельзя натощак и ночью. Адъютант эскадрильи старший лейтенант Бочкарев спал в адъютантской каморке, отгороженной от нар парусиной. В другом конце — каптерка старшины эскадрильи Клыбы. Не побалуешь... К этому не привыкать. Да, в сущности, и к нарам тоже. В конце концов, полков-

ник тоже живет не в хоромах. Гирис это понимал, а ворчал просто так... Ему хотелось выплеснуть злость...

— Пойдем храпанем, пока и правда не схлопотали по наряду.

При входе Гирис стукнулся головой о деревянную балку над дверью. Его рост — метр восемьдесят пять... Костя рядом с ним выглядит смешно.

— Строители, черт им помогал...

Костя, прикрыв рот рукой, беззвучно хохотал. Шагая через порог, тоже пригнулся.

— А ты чего гнешься, шпендрик? Тут как раз по тебе!

3

Крылья цеплялись за рваные края нависших над землей облаков. За ними, выше,— плотный слой, закрывший небо надолго. Не летал Костя раньше в такую погоду, да еще почти бреющим, над самой землей. В облака не сунешься. Старенький УТИ, такой близкий и привычный в училище, здесь, в тесном пространстве между землей и облаками, настороженно вздрагивает. Костя умел пилотировать на порядочной высоте. Он бросал самолет с высоты трех тысяч метров вниз, круто пикировал и вновь уходил в ясное небо. Там ложился на спину и опять падал, радуясь покорности крыльев, мотора, неба... Но то было на высоте. Сейчас другое... Во второй кабине — командир эскадрильи, проверяет умение Кости пилотировать. Какой, к черту, пилотаж на трехстах метрах от земли, припорошенной за ночь выпавшим снегом, белой и незнакомой. «Виражи, боевые развороты, бочки... Работайте... Вы, кажется, чему-то удивляетесь?» Это было сказано командиром на земле перед вылетом.

В такую погоду никогда не летал Костя, и Гирис тоже. Гирис торжествовал. Его беспокойная, не терпящая затишья натура получила наконец возможность проявить свои силы. Сложность и необычность полета его радовали еще и потому, что он знал: их срочно готовят к боям. Здесь не ждут чистого неба, как не ждут его на фронте.

А Косте сначала было не по себе...

Пальцы невольно сжали ручку управления так, что еще немного — и «водичка» закапает. Нет, так нельзя. Себя держи в руках, себя! Нельзя ошибиться на такой высоте. Малейший просчет — и самолет нырнет в облака.

Это в лучшем случае, но ведь он может нырнуть и вниз... Страшна в таком полете земля, но и облака для Кости пока чужие, поэтому и боялся их.

Самолет виражил, прижимаясь почти к самой земле. Уставали глаза: они должны были видеть землю, рваное серое небо, капот, горизонт, приборы...

Комэск с ним. От этого спокойно, но от этого и тревожно. Спокойно потому, что ошибку есть кому исправить. Тревожно потому, что ошибки отдалят его от нового истребителя и от фронта.

Новые истребители внизу на стоянках: остроносые, тонкие, с громадными винтами, не похожие на УТИ. Вторых кабин нет, значит, вылетать сразу самостоятельно, одному. Если ты летчик — полетишь. Комэск видит, летчик ты или нет. Ошибки допустить нельзя! В телефонах тишина, только редкие команды. Пока порядок. Напряжение постепенно пропадает, и самолет меньше вздрагивает. «Спокойнее, друг!» — говорит себе Костя. Давняя привычка: Костя номер один приказывает Косте номер два. Костя номер два в большинстве случаев выполняет команды безоговорочно, особенно когда бывает трудно. Костя когда-то инструктировал в аэроклубе на У-2, и было бы обидно показаться сейчас необлетанным воробьем.

Высота — скорость; капот — горизонт; земля и небо... Все, как учили, как в инструкции. Правда, в инструкции не было сказано, чтобы глубокие виражи делать на такой ничтожно малой высоте. Но война есть война, а истребители — и свои, и те, что подбрасывают союзники из-за океана, — должны летать и драться.

— Отдохни, я поработаю!

Костя с готовностью освободил ручку и устало откинулся на спинку сиденья. Ненадолго... Комэск швырял маленький самолет с крыла на крыло, бросал его вниз, проходил над самой землей, затем вдруг подпрыгивал кверху и рвал на части облака. Самолет не дрожал. Он был послушен и точен. Ни одного ошибочного движения ручкой. От перегрузок у Кости перед глазами зеленая сумятица. Быть самолету в земле или нет — решали доли секунды, а секундами управлял человек. Хорошо, что веришь этому человеку. Костя верил комэску больше, чем себе.

Бочки — левая двойная, правая... Опять вниз и боевой разворот. Крен под восемьдесят градусов... Здорово! Вот бы самому так же! И когда самолет, успокоенный, как бы

притихший от усталости, заскользил в ровном полете, Костя попросил по радио:

— Позвольте повторить?

— Достаточно для первого раза,— услышал в ответ.— Рассчитывайте на посадку по малому кругу.

Решительный отказ не обескуражил Костю. Пожалуй, повторить он и не сумел бы, хотя бы потому, что устал. Взяв управление в свои руки, он подумал, что эта свистопляска у самой земли имеет все-таки свою, ни с чем не сравнимую прелесть — она опьяняет летчика.

Костя посадил истребитель точно у посадочного знака. Облачность будто сразу поднялась, земля посветлела.

— Кабину знать до автоматизма, с закрытыми глазами... Завтра один провозной — и на «як».— Комэск посмотрел на невысокого, щупленького летчика и добавил:— Хорошо летаешь, малыш. Молодец!

Радостная волна подхватила Костю и чуть не ударила о землю.

— Не даром хлеб ели!..

— Ну, ну, — улыбнулся командир, — посмотрим, как на «яке».

Интересная фамилия у комэска: Пыльников. Сразу представляешь знойное лето и проселочную дорогу между полями... Все у Пыльникова пропорционально небольшому росту: круглая голова, мелкие черты лица, руки с короткими пальцами, прочно стоящие ноги. Даже Коровин чуть выше командира. Мелковатая порода у комэска, зато летает как!

Майору лет тридцать, не больше. Рассказывали, был в первых боях, сбил четыре немецких самолета и получил два ордена за полгода войны. «На лету схватил...» Ему бы еще воевать да воевать, но в последнем бою его истребитель подбили над линией фронта. Спасся на парашюте. Приземлился на своей территории, выбрался на дорогу и пытался остановить машину.

Машина не думала сбавлять скорость. Тогда он вытащил пистолет. Он не хотел стрелять, попугать только, но в него выстрелили, и не один раз. Пуля задела легкое и вышла в бок...

Кто стрелял? Потом узнали, что стреляли бежавшие в панике из прифронтового города вооруженные охранники заводского склада, принявшие Пыльникова за немецкого автоматчика. Мало ли случайностей на войне... Эта едва не стоила ему жизни.

Подобрали его, истекающего кровью, военные машины... Потом три месяца госпиталя и учебно-тренировочный центр истребительной авиации.

В тренировочном центре три эскадрильи, и у каждой свои самолеты. Две эскадрильи — на отечественных, и одна — на самолетах союзников: на американских «киттихауках», длинных, темных, тощих, с очень мощным мотором, и английских «харрикейнах», горбатых и желтых, как фаланги. Полетать хотелось на всех. Естественное желание летчиков: поиски лучшего, нового, более совершенного.

Дорога к новому истребителю оказалась длиною в несколько дней: облет района, тренировка на УТИ, зачеты. Такое уплотнение обычно для них с начала войны, привыкли. Привыкли и к столовой, где повара изобретали блюда из крупы «шрапнель» (в магазине ее называли не то перловкой, не то овсянкой), из жидких котлет (тоже неизвестного происхождения), из картошки (изредка, как деликатес) и из рыбы. Питание не фронтовое. Так распорядились тыловики — будто вне фронта летчики ездят на велосипедах. Вечерами землянка с неуютными нарами, кино в клубе — такая же землянка, только подлиннее, книги, домино, хождения в караул.

Установилась хорошая погода — «сибирский максимум»: земля подкована легким морозцем, небо чистое, воздух чистый; и праздничное настроение: вылетали на «яках». Просторная, закрытая бронестеклом кабина, острый нос и три лопасти металлического винта. Несколько сот лошадиных сил в моторе с водяным охлаждением превращали лопасти в еле заметный светлый круг. Неистовый гул, бешеные обороты... Говорят, шум мотора не только бьет по ушам, но и подтачивает нервную систему. Все может быть. Во всяком случае, стоять рядом с самолетом, когда мотор сотрясает воздух, трудно. Вместе с барабанными перепонками вибрируют и нервы. Сначала довольно приятное ощущение, но потом резкое покалывание в ушах —и, если продолжить удовольствие и не защитить уши, оглохнешь.

В кабине шум ровнее, тише. В воздухе забываешь о нем. Стволы крупных пулеметов выглядывают из-под капотов. Снаряды летят сквозь винт. Оборот — снаряд...

На взлете самолет бежит долго, пытаясь развернуться вправо: реакция тяжелого винта, вращающегося влево. Опасное стремление. Летчик педалью (рулем поворота)

удерживает истребитель на курсе взлета. Это нелегко. Секунда оплошности — и самолет уйдет в сторону; тогда бог знает, что будет с ним на неукатанной полосе. Чем больше скорость — устойчивее разбег и... воздух. Шасси с легким толчком прячутся в куполах. На земле говорят: еще один летчик есть. Судят уже по взлету. На посадке машина «дамская»: вовремя выровняй ее перед землей, а там она сама знает, что делать. Такой вывод — шутка. Просто «яки» на пробеге — в отличие от взлета — устойчивы, потому и присвоили им такое нежное определение: «дамская».

Костя после трех полетов по кругу прекрасно все понял. Отличная машина! Мотор — зверь. Фюзеляж — сигара. Крылья реагируют на малейшее движение ручкой. Самый сложный элемент — посадка — не представляет трудности, если смотреть на землю орлиными глазами. Но не дай бог при посадке высоко выровнять! Истребитель боится потери скорости. В этом случае «дамская» машинка весом около шести тонн так приласкает землю, что не помогут массивные шасси, не поможет и мотор, работающий на малом газе, требующий времени, чтобы его раскочегарить...

И все же история слова «дамская» ведет к запретной зоне в той же казарме: отгороженная дощатой перегородкой комната в том конце, где нет дневального. Несколько девушек в этой комнате спят на таких же нарах. Летчицы-спортсменки из разных аэроклубов, мечтающие о фронте. Летают на «яках». И только две из них начинают с У-2 — Краснова и Катомина. Миловидные, несколько грубоватые от солнца и ветра лица. Ежедневно встречаются с ними на аэродроме, в столовой тоже, а дальше начинает действовать закон запретной зоны. Но одно их присутствие рядом делает жизнь полнее.

Вечерами в красном уголке баян и танцы. Время, которое в распорядке дня называется личным. Бывало так, что баян запирали в шкаф. Значит, эскадрилья в чем-то провинилась, и это было действительно сущим наказанием. В такие вечера адъютант был неумолим, а его верный страж — старшина — неприступен. Костя не очень-то и стремился в уголок: он терялся в присутствии девчат и поэтому сторонился их. Иван Поляков проявлял полнейшее равнодушие, а Гирис...

— Найдем тропку...

— Ты неисправим, Петя.

Через три дня тропка на женскую половину была им проложена. Тонкая перегородка свободно пропускала смех, анекдоты или просто разговоры по душам. А Костя вспоминал Таню Воронину и грустил один в землянке. Красивая она и веселая... А Тося Катомина... Удивительное совпадение! Костя в детстве знал девочку с тем же именем и той же фамилией. Первая мальчишеская любовь... И чего он только не придумывал, чтобы привлечь ее внимание! Перед ее домом прыгал через забор, ходил на руках, а иногда степенно шел мимо ее окон с независимым и деловым видом. Девчонка ничего не замечала, а может, и замечала, но лукавила... Позже они бегали вместе по улицам поселка, в лес за ягодами, в кино, и... любовь исчезла. Тося была уже обыкновенным смешливым и болтливым существом в короткой юбчонке, любящим помечтать вслух, побегать, даже подраться с мальчишками. Хорошо было с ней дружить... с Тосей...

Костя вдруг поймал себя на том, что начал думать о Тане, а сейчас думает о Тосе, и не о той, из детства, а об этой, что рядом.

Спустя несколько дней Петр Гирис все же затащил и Костю и Ивана в красный уголок. «Этого же требует простое приличие. Да летчики вы или гречневая размазня!»

— Познакомимся наконец,— чуть щуря карие глаза, протянула руку высокая, загорелая даже зимой девушка. — Я — Марина, а это — Тося. Вообще-то, как говорят, представить нас должен был бы Петр, но, видимо, в Латвии...

— Ни слова больше! Ни слова! Я виноват, я загляделся на тебя и потерял свой светлый разум,— балагурил Петр,— но в Латвии...— чуть помедлил и закончил: — Когда я привезу тебя в Ригу, ты сама убедишься, как ты сейчас не права.

— Зачем ехать в Ригу, верю тебе на слово, пошли потанцуем.

— А я, пожалуй, загляну, что там сегодня за сводки,— отошел к столу с газетами Иван.

Костя покраснел, оставшись наедине с Тосей, придумывая тему для разговора и проклиная Петра, что оставил его на съедение девчонке.

— Мы сегодня,— выдавил он наконец из себя,— должны были идти в баню, но...

Тося так и не узнала причины, почему же не удалось

им сходить в баню: к ней подошел симпатичный чернявый летчик и пригласил танцевать.

Костя сел в сторонке и молча наблюдал. Лиц много, но видел он только Тосю. Наблюдал за ней украдкой. Смотреть прямо на девушку, как Гирис, он не мог, не хватало духу.

Танцуют по очереди четыре пары... Тесно... Тося все танцует с чернявым. Видно, что-то веселое он рассказывает ей: Тося смеется, запрокидывая голову и сбиваясь с такта. Вот они докружились до «колонны» (бревна, подпирающего потолок), летчик как бы невзначай прижал ее к себе, и у Кости появилось желание уйти. Но тут же он облегченно вздохнул: оказывается, Тося бывает не только смешливой. Зло оттолкнув от себя парня, она что-то сказала ему... И летчик, смущенно приглаживая волосы, огляделся по сторонам и, пробираясь между танцующими, встал недалеко от Кости, а Тося отошла к Марине. Костя успел заметить ее слегка дрожащие губы и недобрые огоньки в глазах. Впрочем, через минуту она вновь смеялась, танцуя с другим (девчат несколько, ребят втрое больше). Желание уйти у Кости пропало.

И когда за полчаса до сна на женской половине все еще звучал смех, он слышал только Тосю. Ворочаясь с боку на бок, представлял, как она, смеясь, закидывает голову назад, представлял так ясно, что казалось, протяни он руку — и коснется пальцами тонкой девичьей шеи.

Костя улыбнулся, вспомнив, как Тося в задумчивости прикусывает нижнюю губу. Нет, все-таки что в ней особенного? Ничего. Даже курносая. Много таких... Только волосы у нее красивые — светлые, тонкие, и глаза большие... Да вот еще фигура... худенькая, только карманчики гимнастерки заметно выдаются вперед... Лучше спать... Но сон не шел, к тому же рядом Гирис похрапывал с присвистом. Костя подталкивал Петра в бок — храп на какое-то время прекращался. Уснул Костя не скоро...

Утром невероятное: полковник нагрянул внезапно, во время физзарядки. Построились в одну шеренгу в проходе между нарами и по команде старшины сняли гимнастерки (кто успел надеть), а нижние рубахи держали на вытянутых руках. Полковник с врачом тщательно осматривали рубахи, забираясь пальцами в каждую складку. Пожалуй, с бо́льшим вниманием «охотился» полковник. Строй притих. Стыд и срам... Другого ничего не испытывал Костя в эту минуту и с неприязнью посматривал на

полковника. Делать ему больше нечего, что ли? А что, если Тося сию минуту... Не знал Костя, что у девчат в комнате тоже врач и тоже строй в одну шеренгу...

Долго смотреть не было смысла: уйма паразитов... аврал. Погода морозная, летная, но о полетах не могло быть и речи. Матрацы и одеяла на улицу, в снег. Простыни, наволочки под мышки — и теперь уже двумя шеренгами шагом марш в баню! В других эскадрильях то же самое, и тоже в баню. Три километра строем, без песен. Старшина Клыба ворчал все громче и, не слыша возражений, пуще злился. Шагал он рядом со строем, немного в стороне... Злыми глазами посмотрел на Гириса, показал кулак:

— Не было до вас. С собой приперли. Как дыни, сволочи! Я вас теперь, душа из вас вон...

Старшину не осматривали. Пощадили авторитет. Взрыв смеха потряс строй: Клыба на ходу залез под шинель и пошарил под мышкой. Это было им сделано машинально.

Любопытный человек старшина Клыба: ростом с Гириса, но помассивнее, с мощной воловьей шеей, с крупными чертами лица, с бицепсами спортсмена. Старый служака и все-таки свой брат, летчик, волей судьбы и начальства назначенный на эту весьма неблагодарную должность. В значительной степени этому помогли фигура и зычный голос. Над ним беззлобно подшучивали, соблюдая максимум осторожности. Старшина порой был зол, и его побаивались, к тому же назначения в караулы по охране гарнизона и самолетов были в его власти.

После бани и сушилки в землянке еще два дня стоял терпкий аптечный запах. Перед строем на вечерней поверке Клыба говорил:

— Следующий раз так дешево не отделаетесь, душа вон... Слышите?

4

В день рождения Советской власти провожали шестнадцать летчиков на фронт. Боевые самолеты железнодорожным эшелоном прибыли в учебный центр за неделю до этого, были собраны, опробованы в воздухе и переданы летчикам. Два месяца переучивания на новых самолетах были для них трудными, принудительными: их товарищи продолжали бои где-то под Ростовом. Ребята были взвинчены: эшелон с самолетами опаздывал. Ходили слухи, что немцы разбомбили Сызранский мост через Волгу, по ко-

торому должен пройти эшелон. Летчики приуныли: мост быстро не восстановишь. И вдруг...

— Паникеры! Кто пустил этот слух?

На самом деле: кто? Мост бомбили, верно, об этом писали в газетах, но мост остался цел и невредим, что подтвердил прибывший эшелон, а кто пустил слух, того уж не найдешь, да и искать незачем: немец подошел к берегам Волги, бои в Сталинграде. И это уже не слухи, а факт...

Шестнадцать летчиков, в новых меховых комбинезонах, с планшетами, пистолетными кобурами на поясах, стояли на правом фланге общего строя, впереди самолетов, готовых к взлету. Нервничали все, но шестнадцать— особенно. Перед строем полковник, начальник политотдела:

— Поздравляю с 25-й годовщиной Великого Октября!

— Ура-а-а!!

— Понимаю, здесь нелегко. В боях легче. Там не ждут. Там дерутся. Фронту нужны новые самолеты, фронту нужны вы, летчики, и не только как бойцы, но и как инструкторы. Мы вас переучили здесь, вы переучите своих товарищей там, в частях. Вашими руками будут драться сотни. И так из месяца в месяц мы будем пополнять действующие части первоклассными летчиками. Ни пуха ни пера, как говорится. Действуйте...

Знамя унесли. Строй рассыпался. Девчата первыми бросились к фронтовикам. Объятия, поцелуи. Костя видел, как Тося прижалась к чернявому парню, уткнувшись лицом в его меховой воротник. Это ее право! Парень летел на фронт.

Запустили моторы. Воздух дрожал от оглушительного рева мощных двигателей. Взлетали парами. Над полем собрались двумя группами, пронеслись вихрем над землянками, над вскинутыми кверху головами. Ведущие звеньев, направив острые носы истребителей в небо, отсалютовали залпом из пулеметов. Фронтовая традиция. Еще минута, и растаяли на горизонте силуэты темных крыльев. Тишина напряженная, тоскливая и торжественная. У оставшихся на земле одна мысль: скорее бы...

Вечером в столовой празднично убраны столы. Клыба отмеривал сто граммов солдатских, черпая из вместительного бочонка спирт, разбавленный водой. На столах холодная свинина, свежие овощи, американская колбаса, рыба. Выпили за победу, за праздник. Наскоро поели —и в клуб. Там танцы и самодеятельность.

Гирис позвал Костю:

— За мной!

Костя не спрашивал куда. За Гирисом хоть на край света. Ему хотелось побродить с Петром и помечтать вслух. Он ощущал необычное чувство подъема — будто завтра и они вслед за шестнадцатью в бой,— а вместе с тем и чувство грусти: «завтра» может быть еще не скоро, и они не могут поставить себя рядом с улетевшими, и говорить с ними языком фронтовиков, и делать то, что они. Думал он и о Тосе... Как же он, наверное, далек в ее глазах от того, чернявого!

Гирис подтолкнул Костю:

— Что приуныл?

— Думаю о ребятах. Больше месяца с ними, а узнали по-настоящему только сегодня. Пора бы и нам...

— Сначала надо чертей горбатых оседлать.

Под «горбатыми» Гирис имел в виду «харрикейны».

— Хватило бы и «яка».

— Не скажи! На фронте все попробуем. Говорят, к танку крылья придумали. Испытатель Анохин поднимал их. Вот будут стрекозки! Ужас...

— Мне один черт, лишь бы крылья.

Гирис, усмехнувшись, посмотрел на друга.

— Не торопись! Тише едешь, дальше...

— Древняя поговорочка,— перебил его Костя,— есть более современное ее окончание: «...от того места, куда едешь...» Знаешь,— мечтательно продолжал он,— иногда мне кажется, что никакой войны нет, и что люди затеяли дурацкую игру, и что надоест им играть — и все станет на свои места.

— Мы с тобой еще увидим эту игру... вблизи, и, думаю, очень скоро.

— Да я понимаю, только не могу привыкнуть. Все как сон. Проснемся — а они опять здесь, и нет никакой войны...— Костя запнулся, подозрительно глянул на Гириса — не смеется ли над его не очень-то последовательными умозаключениями. — Война, конечно, есть. И знаешь, когда я ее чувствую по-настоящему?

Гирис снисходительно улыбался. Пусть. Костя привык к этой улыбке и не обижался. Петр бывает неуравновешенным, вспыльчивым не в меру, может позлословить, но главные черты его характера, которые не стирались ни вспышкой злости, ни угрюмым молчанием, ни насмешливостью,— это его честность и смелость. Гирис — друг.

Вот и сейчас преувеличенно серьезно, с ухмылкой спросил:

— Весьма интересуюсь, когда же ты чувствуешь войну? Уж не тогда ли, когда в столовую сверх меры подбрасывают витаминов Г (так летчики прозвали кислую, зловеще-темного цвета капусту)?

— Нет,— не обращая внимания ни на тон, ни на вид Петра, продолжал Костя,— не в столовой. В землянке. Когда вижу девчат в землянке, да еще в шинелях. Они перестают быть девушками. По-моему, и они думают, что война действительно все спишет. По крайней мере, не возражают против летающей по фронтам фразы...

Эта мысль как-то внезапно пришла Косте в голову. Уж не потому ли, что опять в памяти возникла Тося, целовавшая чернявого летчика...

Гирис молчал минуту. Может, не нашел сразу ответа, а может, и сам так думал...

На горизонте полыхало зарево от городских огней. Здесь город не маскировался пока. Далековато от фронта. Лучше бы его не было рядом, города. Землянки от такой близости в этот праздничный вечер кажутся еще более убогими, а свет ламп на столбах — тоскливым.

— Насчет девчат ты хватил через край. Они всегда останутся ими, всегда и везде.— И уже не насмешливо, а серьезно, внимательно посмотрел на Костю.— Никогда не делай поспешных выводов, малыш, тем паче что ты пока в сем вопросе ни бе ни ме... Топай давай...

Костя только теперь обратил внимание, что подошли к своей казарме-общежитию. «Что он там забыл? Праздник все же, побыли бы в клубе».

Но вот оно что! Слегка подталкиваемый Гирисом в спину, впервые Костя перешагнул порог комнаты, где нет дневального, в «запретную зону». Марлевые занавески на узких окнах, на нарах, аккуратно заправленных грубыми одеялами, подушки в чистых наволочках, на полу коврик и фотографии на тумбочках. Другой мир. «Как дома»,— мелькнуло у Кости. Хотя сравнение «дома» совсем не шло сюда: нары, бревенчатые, грубо заштукатуренные стены, фанерные высокие тумбочки... Почему же тогда чувство домашности? Девушки. И будто не он сейчас брюзжал о летающей фразе, о своей уверенности, что на войне они уже не девушки, а просто солдаты. И будто не они ходили по аэродрому в толстых шинелях и кирзовых сапогах. На Тосе белая блузка и узкая шерстяная юбка, а лодоч-

ки на высоком каблучке совсем изменили походку: она идет пританцовывая, и видно, что ей и самой нравится, как они легонько постукивают по грубому деревянному полу, бедра чуть покачиваются под узкой юбкой.

Костя, не отрывая взгляда, следил за Тосей. Он даже не видел, что рядом стоит красивая, рослая, с фигурой спортсменки Марина Краснова, что на ней платье из яркого тонкого шелка, что она откровенно смеялась, заметив смущение Тоси и восхищение Кости. Марина и в самом деле была красива. И теперь, после неуютности и неопрятности мужского общежития, были как-то особенно привлекательны ее карие глаза и белозубая улыбка; мягким блеском отливала смуглая кожа ее рук и лица, на гладкий высокий лоб постоянно спадала темная прядка волос.

Марина Краснова до войны работала секретарем у командующего в Москве. В комнате девушек держит себя хозяйкой. Она здесь старшая и самая заметная.

— Садитесь, мальчики, и, как говорят, откиньте всякий страх...

Только теперь Костя заметил, что у стола суетится Клыба. Старшина извлек из кармана бутылку коньяка и поставил ее на стол. «Вот ты каков, старшина!» — приятно удивился Костя. Клыба меж тем предложил ему место за столом рядом с собой, чем помог избавиться от смущения.

Были еще двое летчиков, приглашенных подругами Марины и Тоси. Не было Ивана, да Иван, пожалуй, и не пошел бы...

Выпили опять за праздник, за улетевших, даже за Клыбу, за то, что он достал коньяк и закуску. Костя вдруг почувствовал прилив бурной веселости и, как ему самому казалось, остроумия...

— Сила старшина! С ним не пропадешь.

Марина в знак согласия послала старшине воздушный поцелуй.

Клыба пил мало: на его плечах ответственность за эскадрилью в этот вечер. Комэск и адъютант в гостях у начальства.

— Наш ангел-хранитель, — сказала Марина, продолжая с лукавством смотреть на Клыбу.— Бывает, что и внутренний враг. Сегодня он ангел.

— Любопытно, что он охраняет? — совсем осмелев,

спросил Костя. Опять он вспомнил парня, что улетел сегодня на фронт, и Тосю с ним.

— Нас, молодой человек, и, если хотите, нашу добродетель.

— Надо думать, успешно?

— Вам интересно знать, сержант?

Тося о чем-то пошепталась с Гирисом и взглянула на Костю. Костя встал:

— Тогда предлагаю за добродетель!

Никто не заметил ни его сарказма, ни ядовитой усмешки; смеясь, чокались гранеными стопками, ели добытые Клыбой закуски, похваливая то ветчину, то аппетитно украшенную колечками лука селедку, то хрустящую жареную картошку.

Костя задумался, на каких же правах он здесь. Надо полагать, на правах друга Гириса, а сам Гирис — гость Красновой, что совсем не трудно заметить, судя по их взглядам друг на друга. Гирис не отходил от Марины. Что-то новое появилось в глазах Петра, какая-то чуждая ему до сих пор мягкость и... послушание. Он слушался Марину. Делал все, что захочет Марина. «Вот так Марина! Приручить Петра Гириса! Это, пожалуй, не легче, чем заставить уссурийского тигра ходить по проволоке»,— восхищался Костя.

— Девочки, ребята! Пошли в красный уголок. Потанцуем...— позвала Марина.

И в красном уголке они не расставались, танцуя все танцы подряд. А Костя всего один танец с Тосей — и ни одного слова. Он пытался говорить с ней, но Тося показалась ему чем-то озабоченной... Может быть, она с тем парнем, в пути?..

В полночь улеглись спать, прослушав последние известия. Ничего утешительного: голодный Ленинград сражается, битва на Волге...

5

Над тумбочкой дневального — тусклый свет синей лампочки. Подперев голову руками, дневальный Костя Коровин задумчиво смотрит в темное окно. Хочется спать, а спать нельзя. Кто-то простонал во сне. Стону ответил звучный храп. Костя знал, что храпит Серега Мухин. Почему-то все толстые люди храпят вот так — с присвистом, с надрывом. А Мухин толст не в меру. Он говорит —кость такая. Может быть, и в самом деле кость.

Храп прекратился. Значит, сосед толкнул его в бок. Скрипнули нары. Тишина.

Спят летчики. Сегодня много летали, даже любителей «потолкаться» в красном уголке не было. Устали. У всех одна мысль: скоро новая жизнь — в действующую, на фронт...

Костя сонно потянулся, откинул голову назад, стараясь не закрывать глаза. Задумался... Будто вчера провожали ребят на фронт, и вот опять...

Спят летчики. Утром зачитают приказ. Очередная группа на этот раз поедет поездом, а там «кони» уже ждут. Ждут, да не всех. Случилось то, что предусмотреть было трудно: трое остаются в учебном центре — Гирис, Коровин и Поляков.

Инструкторы... Вместо землянок — отдельный домик. Вместо нар — койки, и постоянная работа: полеты, полеты, полеты... Учить летать, учить драться в воздухе. Инструкторы по очереди улетают на фронт, на стажировку. Через месяц возвращаются. Должны возвращаться, по крайней мере. Инструктор обязан отлично летать на всех типах самолетов — это необходимое для него условие. Война требует новую технику взамен уничтоженной и устаревшей и новых летчиков — взамен погибших...

Кажется, все правильно. Трудная и интересная работа, но рухнувшие надежды в скором времени попасть на фронт ничем нельзя восполнить.

Синий свет — как колыбельная. Хочется спать. Скоро рассвет.

...На этот раз провожали менее торжественно. Пыльников зачитал перед строем приказ, пожелал удачи; потом в машины — и на вокзал. На север, к Мурманску. Северные моря имеют особое значение: караваны американских и английских судов прорываются сквозь заслоны немецких подводных лодок к берегам России с самолетами, боеприпасами, продовольствием.

К вечеру подул резкий, холодный ветер. В землянке шинелей не снимали, пока не натопили печи. Топили, не жалея дров. Клыба ворчал, опасаясь пожара, потом махнул рукой и закрылся у себя в каптерке. Когда ложились спать, уже млели от жары. Дневальный подходил к печам, открывал дверцы, принюхиваясь к жару, обдававшему лицо, подолгу всматривался в потемневшие угли...

В полночь к нему вместе с головной болью подступила тошнота. Тогда дневальный истошным голосом крикнул: «Тревога!!» Не было обычной суеты при объявлении тревоги. Вставали лениво, с трудом натягивая сапоги, гимнастерки. Головы тяжелые, будто чужие. Кое-кто спросонок торкался во все стороны в одних кальсонах, ища выход. Клыба кричал:

— Двери настежь, трубы открыть! На улицу, в шинелях, душа из вас вон! Куда босиком?!

Казалось, его не коснулся синеватый воздух землянки.

К счастью, ветер стих. Потеплело. Густой снег мягко ложился на землю. Расположились толпой у входа, глубоко вдыхая вкусный, освежающий воздух вместе с хлопьями снега.

— Кто закрыл печи? — Клыба озверел: наряд виноват, дневальные. — Сортиры чистить, сортиры, душа вон!..— И так витиевато ругался, что его ругань была не страшна и хотелось смеяться.

Прибежали Пыльников, адъютант, врач, пожарник с огнетушителем. Майор не сразу понял, в чем дело. Очевидно, сообщили о происшествии по телефону, не вдаваясь в подробности. Пожара нет. А что может быть хуже? У майора отлегло от сердца.

— Что стоите как угорелые?

Тут уж трудно было сдержаться. Хохотали все. Только Клыба растерянно смотрел на командира:

— Так точно! Угорели, товарищ командир! Завтра разберусь, душа вон!

Теперь уже смеялся и Пыльников.

Холодный воздух очистил кровь, легкие, очистил и землянку от тепла.

— Девчатам вторые одеяла, остальные обойдутся шинелями. Слабаков в санчасть! — все еще злился Клыба.

Костя отыскал глазами Тосю. Она прятала голову в воротник шинели. Косте показалось, что она пошатнулась при входе в помещение. Он, желая ее поддержать, обнял за плечи. Тося передернула плечами. Костя опустил руки.

— Какой болван дежурил сегодня? — проговорила она.

— А если я?

— С чем вас и поздравляю! Удивляюсь, почему мы еще не сгорели.

Костя Коровин — истребитель и почти инструктор, и

с ним так разговаривает эта девчонка, которая дальше У-2 ничего не видела и которой до истребителя как до господа бога!.. Возмущаясь в душе, Костя придумывал, что бы ей такое сказать в ответ, но ничего не ответил. У Тоси распахнулась шинель, и мелькнули белая рубашка, голые колени... Тося улыбнулась и плотно запахнула шинель. Костя застыл на месте. Он был уверен, что улыбка была не только смущенной, но и ласковой.

— Вы обиделись, Костя? — тихонько спросила она.

— Что вы, Тося, нет! Как голова?

— Нас захватило краешком. Мы спали с открытой форточкой. Спокойной ночи, Костя!

Ему захотелось поднять ее на руки и пронести по землянке... Пожалуй, он что-нибудь и придумал бы, но дверь в женскую половину захлопнулась.

В землянке шум, смех, шуточки, бас Клыбы... Он и ребятам выдал все же по второму одеялу. Дневального — на гауптвахту. Поделом... А Тося улыбнулась ласково...

Ночной угар лишил эскадрилью летного дня. Летали другие. Шум моторов в небе нервировал. Отличная погода! Сидели на занятиях, как наказанные. Знакомились со схемами нового самолета. Говорят, сильная машина, мощнее «фоккера», но ее пока нет. Есть только схемы. Эшелон в пути.

На следующий день начали полеты с восходом солнца. Мороз и косые солнечные лучи покрыли светлую землю: посыпанный золотым песком снег поскрипывал под ногами. Тихо. Холод пощипывал пальцы ног, просачиваясь сквозь унты. На одном месте стоять невозможно. Коровин и Поляков шли к своим истребителям. У Ивана скучный вид. Должность инструктора его явно не устраивает. Это заметно, хотя и молчит. Гирис как будто смирился: «Подождем маленько...» Костя — тоже. А что поделаешь? Не ты решаешь, за тебя решили. Иван женат. Жена где-то врачом в военно-полевом госпитале. Друзья видели ее на фотокарточке. Ничего, красивая. Понятно, почему Иван рвется на фронт немедленно.

Костя шел к истребителю и не мог подавить в себе чувство, приподнимавшее его от земли: инструктор! Неплохо звучит, хотя это звание для него не ново. Он был инструктором в аэроклубе, но это не то что здесь — все дело в самолетах. Самолеты-то какие! И учить на них присылают фронтовиков... Легко шагал Костя к истребителю. Сейчас в зону, на высоту восемь тысяч. Высота

большая. На такой высоте он еще не был, только мечтал о ней. Самолет на лыжах, а лыжи в полете не убираются. Значит, виражи только. Никаких других фигур. Цель полета — познакомиться с высотой.

Пыльников предупредил: внимательней на взлете. Мотор сильный, самолет тянет на разбеге вправо.

Перед каждым полетом — традиционное слово «повнимательней». Оно настолько стало привычным, что смысл его давно потерян. На Косте массивный комбинезон с круглым меховым воротником на «молнии». Много хлопот с ним. Техник помог Косте натянуть парашют. Лямки давят на грудь, пока стоишь. В кабине будет легче. Костя любит, когда система парашюта плотно облегает тело. В кабине удобно подогнал ремни. Готово. Впервые на большую высоту на таком самолете. На остром носу громадный винт. Громадным он кажется потому, что вместо двух — три лопасти.

Костя закрыл фонарь кабины. Впереди стекло, толстое, бронированное. Не берет его пуля обычного пулемета. Надо что-то покрупнее. На «лавочкине» есть покрупнее, на английских тоже. Костя на минуту представил себе, что готовится не в обычный полет, а в настоящий бой. Хотелось бы в бой, только не одному. Звеном. Раньше звено состояло из трех самолетов, но в первый же год войны их стало четыре. Две пары. Практичнее. Одна нападает, другая прикрывает. Научились у врага. Немцы до этого додумались раньше, и вообще они до многого додумались раньше. Техника убийства доведена до совершенства. Ракетное устройство, начиненное взрывчаткой, забирается почти на космическую высоту и оттуда падает на Лондон. В Лондоне нет армии, и все-таки «фау» падают на Лондон. Надо научиться сбивать эти «фау». Скорость английских истребителей слишком мала, да и неповоротливы они в воздухе. Единственное преимущество — много огневых точек на борту. «Як», на котором сейчас полетит Костя Коровин, был бы более подходящим для англичан.

Мотор опробован. Порядок. Самолет подруливает к взлетной полосе. Ручка управления взята на себя. Рули глубины на хвосте подняты. Мощная струя воздуха прижимает хвост к земле. Нельзя отпустить ручку раньше времени: хвост резко поднимется, и винт приласкает землю. Костя бросил взгляд на стартовый пункт и на комэска с микрофоном...

— Прошу взлет!

— Взлет разрешаю!

Все же слово «повнимательней» имеет смысл. Жаль, что не всегда этот смысл доходит до сознания летчиков. Слишком резко Коровин довел обороты мотора до полных. Может быть, он хотел этим подчеркнуть свою решительность, да и смелость, черт возьми! Мол, знай наших!.. Значит, человек многие действия совершает вопреки здравому смыслу... Об этом ли думать сейчас! Мотор взревел, истребитель рванулся с места. Костя слегка отпустил ручку и поднял хвост самолета. Так нужно на разбеге, но с этим нельзя торопиться. С начала разбега он почувствовал что-то неладное, но осмыслить, что именно, не успел. Истребитель повело вправо. Костя навалился на левую педаль. Он готов был сломать ее, проклятую. Немного прибрал газ. Пожалуй, в эти секунды он больше руководствовался инстинктом. Прекратить разворот самолета — дело не только чести (все сейчас смотрят на нового инструктора), но и безопасности. Самолет взлетает в новом направлении, и, если не прекратить разворот, он не взлетит. Все же педаль сделала свое дело: руль поворота не дал самолету развернуться дальше. В отчаянном порыве Костя опять дал мотору полный газ. Вовремя... Лыжи отошли от снега, и самолет круто полез вверх. До аварии было рукой подать.

Летчики, наблюдавшие взлет, оцепенели: вот-вот лыжи и мотор разлетятся вместе с фюзеляжем и крыльями. Или самолет опишет кривую — вираж на земле — и пройдется по стоянке. Нет, выровнялся, взлетел, хотя и в необычном направлении. «Из тяжелого положения выбрался я, однако»,— подумал о себе Костя.

Хорошо, что он не мог слышать всех эпитетов в свой адрес, да и смеха. Смех будет потом.

Самолет набирает высоту. Костя скользит глазами по приборам и думает: классическая посадка сбросит часть вины, а потом постепенно все забудется. Почему в авиации человек особенно отвратительно чувствует себя после совершенной ошибки? Именно в авиации! Костя пытался приободрить себя: ничего страшного. Не раскисать! Смотри за землей, за городом, за аэродромом. Самолет в воздухе — никаких посторонних мыслей, иначе опять придет беда.

Радио молчит — значит, нет нужды беспокоить летчика пустыми вопросами, вроде «как слышите?». Пыльников — противник пустых вопросов.

Самолет набирает высоту. Шесть тысяч. Мотор поет ровно, температура воды, масла в норме. Великоваты обороты. Коровин не любил давать мотору слишком долго работать на больших оборотах, но сейчас иначе нельзя.

Крылья медленно ползут вверх. Нелегко им в разреженном пространстве. На разворотах крен мал, радиус виража огромен — вокруг всего города, а на восьми тысячах самолет обойдет всю область. Город сверху кажется маленьким, как на карте: пестрая тарелочка. Реки не видно — закрыта снегом. Аэродром в пятнадцати километрах от города.

Высота семь тысяч. Еще немного... Холодно. Слегка кружится голова. Это без привычки. На такой высоте Костя еще не был. Пухнет живот. Перед высотными полетами пища деликатная и строго ограничена по количеству, иначе трудно будет дышать. Холодно. Конструкторы не утеплили кабину. Война не дала, что ли? Как-нибудь у мотора взять нагретый воздух и пустить его хотя бы к ногам. Костя упирается ногами в педали, шевелит пальцами. Помогает, но ненадолго. Пальцы все равно стынут. Тогда он по очереди снимает ноги с педалей и стучит ими по полу. Самолет слегка вздрагивает в такт чечетке. Ремешок на педали подвернулся, его надо подправить. Костя с трудом нагнулся, чтобы достать педаль рукой. Самолет здорово качнуло, а сердце как кто уколол иголкой. Вспомнил: на высоте никаких резких движений. Слишком мало атмосферное давление. Сиди спокойно, тогда сердце будет работать, как мотор. А сейчас его стук отдается в висках. Небо потемнело, а солнце стало ярче. Очень яркое солнце. Доска и приборы на ней зеленоватые. Так видит глаз, когда не хватает кислорода. Голова клонится к фонарю. Хочется спать. Самолет виражит в пустынном небе, одинокий, как кораблик, а земля так далеко, что уже не ощущаешь ее подсознательным чувством и ничто не связывает с ней. Земля и небо на такой высоте — два мира, чуждые друг другу. Затяжеленный винт дает среднее число оборотов. Мотор гудит утомительно однообразно. Крылья покачиваются в разреженной атмосфере. Живот меньше пухнет, но комбинезон, парашют и ремни по-прежнему тесны, поэтому и трудно дышать. Сердце стучит часто, но ровно. Нога сама расправила ремешок педали.

Хочется спать и холодно, а на лице пот. Восемь тысяч. Костя языком лизнул губы. Соленые капли пота. Стран-

но: потеет человек, когда в кабине температура минус сорок градусов. Ему сказали: на высоте восемь тысяч быть пять минут. Он летает уже десять. Хочется проверить себя. Восемь тысяч — не предел для этого самолета. Можно забраться на девять, на десять... Кислород непрерывной струей бежит в рот и в легкие. А что, если случится что-нибудь со шлангом и кислорода не будет? Мысль напугала, и Костя нащупал рукой шланг. Порядок. Температура воды упала. Надо прикрыть радиатор. Десять минут. Воюют же на такой высоте! Вот сейчас сделать бы переворот через крыло, и двух-трех тысяч метров как не бывало. Нет такого задания, да и лыжи мешают. На колесах попробуем. Это будет ближе к лету... Костя смотрит вниз. Пропасть. Случись что с самолетом, с управлением — прыгать в эту пропасть. В вираже солнце прошлось по кабине и исчезло. Костя не может избавиться от желания набрать еще немного высоты. Такого задания тоже нет. Нужна постепенная тренировка, но не может он побороть в себе этого стремления. Самолет набирает еще пятьсот метров. Восемь тысяч пятьсот. Пожалуй, хватит. Чувство одиночества нахлынуло внезапно, остро. Один в этом огромном пространстве, где тишина, холод, безмолвие, пустота. Небо как море. Нет, в море хуже. Там не видно земли, а здесь она видна: серая, заштрихованная потемневшим снегом, местами пятнистая, очень далекая, но она есть, и ее видишь, и от этого становится легче. Костя смотрит на приборы, прислушивается к гулу мотора. Мотор сейчас — живой друг. И не только сейчас. Мотор всегда живой и всегда друг. Еще пять минут. Слух привыкает к гулу мотора, и его не слышно, если думать о другом. Мотор не мешает думать.

Одиночество... Оно подобно смерти. Может быть, это чувство естественно на такой высоте, где ничего живого? Откуда навязчивая мысль о смерти? А как же война, бой? Но в бою не будет одиночества: рядом друзья, такие, как Гирис, Поляков. В бою будешь драться за жизнь. Значит, бой отгонит мысль о смерти? Парадокс. Но это именно так.

Костя даже хмыкнул, довольный, что нашел объяснение своему чувству.

Костя смотрит на часы. Стрелки напоминают о времени. Можно начинать снижение. Снижаться площадками, иначе придется орать от перепада давления и от боли в ушах. Еще одну минуту, только одну...

Однажды в училище на И-16 он впервые сделал два витка штопора. Фигура получилась неудачно. С трудом вывел самолет из почти беспорядочного падения. Можно было лететь домой и там успокоиться, разобраться... Нет... Набрав потерянную высоту и повинуясь внутренней злой силе, еще раз сорвал самолет в штопор и еще раз... На земле он был счастлив...

Пора... Через каждые две тысячи метров — площадка. Она нужна летчику и мотору. Летчику — чтобы невыносимая боль не разрывала уши, мотору — чтобы не остыл. Шесть тысяч... Четыре. Косте стало жаль потерянной высоты. Он вспомнил чувство одиночества и почти страха, и ему стало стыдно. Вот так проверяется человек, летчик. Высота — экзамен.

Еще неприятность... Сначала на взлете, а теперь...

Глаз человека, побывавшего на большой высоте, не может быстро и верно определить глубину. Об этом забыл Костя, забыл. При посадке он высоко выровнял самолет. Лыжи грубо ударились об укатанный снег на посадочной полосе. На пробеге Костя сжался в кабине. Никогда до этого он не чувствовал такой острой обиды и злости на самого себя. Сначала взлетел с такой нелепой ошибкой, а теперь посадка. Вот так инструктор! Хуже курсанта.

Решение пришло вместе с первым шагом по земле.

На лице комэска Костя ничего определенного прочесть не мог, да и не видел он как следует лица. Не до того было...

— Инструктором быть не могу. Прошу отправить на фронт!

Пыльников оставался невозмутим.

— Это все?

— Да, все!

Комэск вдруг улыбнулся. Но от этой улыбки Костя сразу остыл и даже заметил, что летчики, стоявшие в стороне, знаками показывали ему: влип!

Улыбка скользнула по губам командира и пропала.

— Мальчишка!

Какого угодно разгрома ожидал Костя, но только не этого презрения. Это уж слишком! Пыльников продолжал сурово смотреть на него.

— Я жду!

И только теперь обиженно, нарочито четко Костя отрапортовал:

— Задание выполнил, товарищ майор!

— По бароспидографу вы были на высоте восемь пятьсот вместо восьми и двенадцать минут — вместо пяти. Почему?

Костя забыл про прибор. Бароспидограф, подвешенный в кабине, фиксировал его полет каждую минуту, секунду. Пленка, снятая с прибора, в руках командира.

— Очень хотелось... — Костя запнулся. Как это объяснить?

Пыльникову не надо было объяснять. Летал бы он две минуты вместо пяти, было бы куда хуже!

— На сегодня хватит. Можешь идти!

Костя облегченно вздохнул и пошел в «квадрат», где курили и поджидали его летчики.

Гирис приветствовал его шуткой:

— Знай наших!

— Пронесло? — спросил Иван.

— Бароспидограф выручил...

6

Полякову — двадцать семь. По сравнению с Костей Коровиным и Гирисом — «старик». Последний год перед войной работал командиром звена. Дошел бы и до начальника летной части, не будь войны. Хорошо летал Поляков: смело, чисто, красиво. И в училище так, и здесь, в учебном центре. На земле, кажется, нет человека спокойнее, уравновешеннее Полякова. Любил он книги, шахматы, любил все тихое, спокойное, внешне был угрюмым. В воздухе преображался. Летчики, склонные в большинстве случаев критически оценивать полеты товарищей на выполнение фигур сложного пилотажа, когда наблюдали полет Полякова, испытывали эстетическое наслаждение (так однажды выразился полковник, наблюдавший за его полетом). «Рожден с крыльями», «птичье чутье у человека»... Поляков не любил таких сравнений. Летает, как все. Летал он уже на всех самолетах, какие были в учебном центре, тогда как Гирис и Коровин пока знали только «як» и «киттихаук».

Любопытный самолет «киттихаук». Напоминает легкий бомбардировщик: длинные крылья, тонкий фюзеляж, высокое хвостовое оперение. Размах крыльев и длина фюзеляжа вдвое больше, чем у «яка». Ночной истребитель. Так определили его назначение русские

летчики. Мала скорость, но много огневых точек на борту. Почему-то американские, да и английские конструкторы самолетов увлекались больше вооружением, считая, очевидно, количество огня в воздушных боях более выгодным. Явный просчет. Немцы думали иначе. Их истребители небольшие, маневренные, с превосходной скоростью и высотными моторами. Такому самолету достаточно одного-двух пулеметов. Первый год войны они господствовали в воздухе, пока не появились русские «яки» и «лавочкины», а немного позже американские «кобры»...

Чтобы летать ночью, нужно хорошо полетать днем в сложных метеорологических условиях. И в этом Поляков опередил друзей. На земле же тускнел. Гирис пытался его расшевелить, по-своему понимая его сдержанность:

— Напрасно женился, Иван! Это же сплошное страдание в твои-то молодые годы вести образ жизни бородатого схимника. Ухаживал бы сейчас за хорошенькими девчонками, если б не прилепился к своей Дульцинее...

— Ну это ты зря!..

— Ничего не зря! Мы же видим, как летишь ты за письмами. Может быть, думаешь, что жена... как бы это сказать... бабочкой порхает, так...

— Жена тут ни при чем, — непривычно резко оборвал Иван. — Я женился, когда ты еще женской титьки не видел. Не понять тебе, в общем...

Иван замолкал. Гирис отбрасывал шутливый тон:

— Еще месяц-два, и в отпуск махнешь на десяток дней. Авторитет, черт возьми! Полковник и тот засматривается, когда ты летаешь. Понимать надо! Правильно я говорю? В отпуск бы тебе...

Иван заметно оживился:

— Я думал об этом. Подождем, звание придет. А то с этими треугольниками...

— Да разве в них дело! Сержант в авиации что капитан в пехоте. Ты же летчик, черт возьми! Или гордыня заела?

— Мне-то, конечно, наплевать... да и отпуск... Понимаешь, Петух, не могу слышать радио. Летают, бомбят, бьют, сволочи, и конца не видно. Плохо, в общем. Даже жена на фронте...

И столько было злости в его словах и на лице, что Гирис изумился: не видел он таким Ивана.

— Хватит еще и на нашу долю.

Вечером перебрались в домик инструкторов. Встречал их ординарец, он же «комендант» домика, Федор Федорыч, пожилой солдат, очень добрый человек: добрые глаза, добрые седые усы, мягкий голос. Летчики любили его, каждому хотелось чем-то побаловать старика: приносили ему шоколад, сахар, чай, иногда и стопку водки. Был у Федора Федорыча свой уголок в домике. Солдатская койка стояла рядом с плитой, которую он, кстати сказать, сам сложил. В домике всегда чисто, тепло.

Федор Федорыч проводил Гириса, Ивана и Костю в просторную комнату с двумя рядами заправленных коек. В комнате никого. Инструкторы на ужине. Федор Федорыч указал на три койки:

— Это ваши. Располагайтесь, товарищи сержанты.

— Спасибо, отец! И тебя война пригнала сюда. До войны, наверное, колхозом заправлял? — спросил Гирис.

— Да не... печи я клал... — И смущенная улыбка тронула чуть рябоватое лицо. — Много вас уже. Придется пристроечку сделать летом.

— А может, до лета по колхозам разъедемся?

— Конца вроде бы еще не видать...

Легли спать рано. Завтра полеты. Подъем с рассветом.

Иван направился к «киттихауку». Ему предстоял полет в зону по заданию комэска — прочувствовать «американца» на глубоких виражах. Самолет отличался необычностью формы: уж очень длинные крылья и совсем тощий фюзеляж у самого хвоста. Инженеры говорили: первоклассный мотор. Пятьсот часов работает под пломбами. Вот это гарантия! Так и было. Мотор работал ровно, с легким присвистом. Даже на взлете резал слух сухим треском. Деликатный мотор, и мощность его чувствовалась уже на разбеге: тело прижимало к спинке сиденья. Самолет плавно оторвался от земли и спиралью ушел вверх. Пока летает «китти», все остальные самолеты на земле. С высоты чистый, морозный воздух доносил приятный, прямо-таки музыкальный гул «американца». Иван виражил над полем, постепенно увеличивая крен до максимальных перегрузок. Где-то в конструкторском бюро одной из американских авиационных компаний есть особая инструкция, определяющая допустимые перегрузки.

Полякову задание: что можно сделать на нем в бою?

Иван Поляков, сержант советской авиации, доводил крен до максимальных перегрузок, и плевать ему было на национальную принадлежность самолета. Иван — хороший летчик, и самолет, чувствуя силу и решительность человека, подчинялся ему безропотно. С плоскостей срывается тонкая веревочка воздушной струи. Крен шестьдесят градусов. На больший не хватает мощности мотора, самолет за вираж будет терять высоту. Летчик может не знать конструктивных особенностей мотора и его автоматики, но он почувствует его мощность в первом же полете и узнает, когда и что можно с него взять... Иван еще увеличивает крен...

Летчики на земле курили, прислушивались к гулу мотора. Бывают секунды, когда еще ничего не случилось, но, повинуясь таинственному сигналу, как бы дополняющему шестое чувство, мгновенно проникающему в мозг, летчики поднимают головы кверху... По тонкому фюзеляжу около хвостового оперения как кто-то невидимый прошелся острым гигантским топором. Хвост отделился от самолета и волчком закрутился в пространстве. Широкие крылья качались две-три секунды, отражая косые солнечные лучи, на мгновение застыли и рухнули. Все, кто был на аэродроме, замерли.

Костя мысленно представил себе Ивана в кабине разрушающегося самолета. Трудно представить человека в минуту смертельной опасности, но если этот человек — летчик, как ты сам, представишь обязательно. А если еще и друг?..

Костя слышит: мотор стих. Иван выключил его — значит, он все видит и все знает: на самолете зеркальный перископ. Иван видит хвост, вернее, видит, что нет хвоста. И прыгать он не будет торопиться: крыло вот-вот сорвется с креплений центроплана и может догнать падающее тело. Но вот сорвались сразу два крыла и темными парусами, как листья гигантского дерева, отлетели в сторону от фюзеляжа-сигары. Обрубленный фюзеляж, кабина и мотор падали, повинуясь единому закону...

«Пора, друг», — шептал на земле Костя. Тысяча метров, не больше. Судьба не любит, когда ее долго испытывают. Высота, время... Эти две величины пожираются пространством. Все это может стать роковым для человека. Бескрылые остатки самолета — почти у земли; крылья, как паруса, сверху. Костя пригнулся к земле, как бы ища в ней защиту для друга и для себя. Но для Ивана

сейчас земля страшна. Еще секунда... Темный клубок отделился от сигары. Хлопок от вспыхнувшего парашюта достиг земли. Вздох вырвался разом у всех. Парашют совсем рядом — в нескольких десятках метров. У самой границы аэродрома мотор ушел под землю; яркая вспышка — и черная шапка зловещего дыма метнулась кверху. Крылья просвистели в стороне и скрылись беззвучно за бугром. Человек приземлился на аэродроме, подтянул стропы парашюта, снял лямки, неторопливо подобрал массу шелка и так же неторопливо пошел навстречу санитарной машине.

В «квадрате» Иван доложил командиру:

— Слабоват хвостик, товарищ майор! Усилить бы... А машина совсем неплохая. Хорошая машина.

Пыльников не прятал радости, но безобидно, больше для порядка, проворчал:

— Хвостик, хвостик... Не на бревне летал, мог бы и поаккуратней... — и тут же обеими руками до боли сжал его руку.

7

Их было несколько человек — бывших летчиков дальней бомбардировочной авиации. К Косте в группу попали трое. Старший из них, капитан Шаронов, худощавый, резкий в движениях, со злым лицом, в первый вечер после распределения по группам рассказывал:

— Вы знаете ТБ-3. Экипаж — десять человек. Братская могила... Это мы поняли, когда началась война. А то ничего... летали даже на Север. И верили, что если придет время, так «малой кровью, могучим ударом...». На второй день войны вылетели ночью, чтобы к рассвету быть над целью. Наскребли пять тысяч метров и шли по курсу, уверенные, что нас не достать. Война нас не пугала, мы стояли глубоко в тылу и не видели собственными глазами, что делается на границах. Летели ночью, летели бомбить железнодорожный узел — нашу станцию, понимаете, нашу, советскую... но там уже враг, и вот это не укладывалось в сознании. Штурман что-то чертил на карте и чаще, чем следовало бы, смотрел на землю. Ни черта на земле не было, только одна темень, но штурман что-то находил там. Я посмеивался, не думая, что он начал понимать войну гораздо раньше меня. Снизились до двух тысяч и заходили с тыла. Штурман нервничал, а я не понимал его состояния. Наконец он сказал: «Мы

будем бомбить то, что принадлежит России. Здесь работал в депо мой батя. Капитан, мы будем бомбить то, что сделано нашими руками...»

Капитан Шаронов минуту молчал, глубоко и жадно затягиваясь папиросой, потом продолжал:

— Что-то и во мне перевернулось. Мне тоже была известна эта станция — много раз летал над ней. Его тревога передалась и мне. За нами с пятиминутным интервалом шли еще бомбардировщики. Начало светать. Кругом города было чисто, и узел открыт, а сам город почему-то прикрыт туманом. Его не должно быть, тумана. Штурман сказал, что это не туман, а дым... Трудно было поверить, но это был дым. Город горел...

Капитан нервно отбросил окурок, потер ладонью лоб, чему-то криво усмехнулся.

— Сначала мы заметили короткие вспышки внизу. Много их было на земле, но в небе их было больше. Только в небе был не огонь, а белые грибы. Они вырастали на глазах, все ближе, ближе. Я бросил самолет на крыло. Наша машина никогда не была такой маневренной. Штурман приготовился к сбросу бомб. Нельзя было ни на минуту забывать о зенитках, да и трудно было забыть, когда смертоносные грибы все плотнее и плотнее поджимали нас. Наконец узел под нами, и груз наш пошел вниз. Мы сбросили бомбы и легли на обратный курс... Сначала удар пришелся по плоскости. Крыло разваливалось. Задымил левый мотор. Но ТБ все еще держался курса. Вот когда мы убедились в его прочности. Потом ударили по хвосту. Самолет сказал свое последнее «нет» и приказал всем нырять вниз с парашютами. Только трое из десяти добрались до своей части, в том числе и я. Судьбы остальных не знаю, как не знаю, когда осколок зенитного снаряда разворотил мне кость в бедре. Это было еще в воздухе, как узнал позже на земле. Подобрали наши разведчики. Семь месяцев в госпитале. Штурман и второй пилот летают на ДБ... Я хочу воевать на истребителях...

...Их было трое в группе Коровина, старых бомбардировщиков, и их авиационные биографии похожи одна на другую. Офицеры, принявшие на себя первые удары врага...

— Почему все же на истребитель? На новые бомбардировщики вас пересадить легче.

— Еще там, в бою, когда били по нашему самолету, я подумал об истребителях. Хотя бы одно звено — подавить проклятые зенитки. Ох, и ругали мы вас! Ну а после госпиталя нам предоставили право выбора. Я выбрал истребитель. Лучше бой, каждую минуту бой... К тому же я знаю, что нужно бомбардировщику. Я не дам его сбить, как тетерку... — Губы его опять криво задергались.

— На истребителе будет не легче...

«Тебе еще нужно привести в порядок нервишки, капитан Шаронов». Разумеется, этого инструктор Коровин не сказал, а только подумал. Капитана легко обидеть. Издерган весь. Или натура такая? Кто знает. Не все в его рассказе понравилось Косте... Когда началась война, люди не рассуждали, не мучились сомнениями, а шли драться за свою землю. Так ведь поступил и капитан со своим экипажем. А в рассказе сгустил краски. Видно, трудно ему было в госпитале, а потом в запасном полку. Беспокойный человек. Таким всегда трудно без дела.

Старенький УТИ не сошел со сцены. На нем проверяли технику пилотирования вновь прибывших. Удобный самолет для этой цели: короткие крылья, толстенький фюзеляж, круглый широкий мотор. Бочонок с крыльями. Управлять им не просто, особенно на посадке. Уж если полетал человек на И-16 — другие не страшны. Прекрасная маневренность в воздухе. Если бы не малая скорость, да и вооружение... горох. Рассказывали: немцам удалось захватить на одном из брестских аэродромов сорок новеньких истребителей И-16. Пытались переучить на них своих летчиков для провокационных полетов. Семь человек убились на посадке в первую же неделю. Не по зубам машинка... Сожгли все до единого

— Сейчас ознакомительный полет на пилотаж, — забираясь в переднюю кабину, напомнил Костя. — Будете знакомиться с истребителем. Если захотите попробовать пилотировать в этом полете сами — скажете.

— Понял!

Кабину Шаронов знает, инструкцию тоже. Учил, видно, добросовестно, а техника и приборы ему давно знакомы. И в кабине он внешне спокоен. Тесновата кабина, особенно зимой. Летчик-истребитель не знает других кабин, но для летчика тяжелых машин это первое неудобство.

Взлет. Набрали три тысячи метров. Хорошее небо, спокойный воздух. Костя предвкушал удовольствие от пред-

стоящего свободного пилотажа, когда нет ограничений в задании. Начал со штопора. Для новичка — серьезное испытание. Самолет вращается вокруг всех своих осей, падая... Земля мелькает перед глазами до головокружения. Пять витков, шесть... хватит! «Здесь увидим твои нервишки, капитан», — без злорадства подумал он. Ручка управления и педали ходят без сопротивления. Шаронов в своей кабине или снял ноги с педалей, или вовремя угадывает движения рулей и не мешает. Если бы так! Костя не знает, как чувствует себя Шаронов, о чем он думает, что видит. Жаль. Инструктору нужно видеть, знать человека в задней кабине, но пока это невозможно. Костя чувствовал свое превосходство. Он умеет летать на такой сложной машине. И в его адрес сказали однажды в училище: «Наш Чижик летает как бог!» Как летает бог, Костя не знал, а вот истребитель для него — привычное рабочее место. И неспокойное небо он знал, и вертящуюся землю. Летчик-истребитель почти всегда видит небо и землю в движении, в отличие от летчиков многомоторных самолетов. Он летал на транспортном за пассажира. Утомительно и скучно. Спать хочется. Шаронов прав: летать по курсу и ждать смерти...

Нет, не знал Костя летчиков-бомбардировщиков и склонен был думать, что психология летчиков не зависит от типа машин, на которых они летают. Летчик—летчик и есть. Но у каждого человека свой характер. В соответствии с ним и выбирает человек тип самолета.

Костя-сержант был в эти минуты сильнее и старше капитана, которому давно перевалило за тридцать. Он бросает истребитель с крыла на крыло, виражит с большими кренами: земля почти вертикально уходит вверх, небо плавает внизу, при этом тело вдавливается в сиденье. Чудовищная сила инерции наседает на голову, плечи, ноги, кровь приливает к голове, и сердце стучит глухо, тревожно, беспокойно. Это ненадолго, все быстро приходит в норму. Сердце привыкает к перегрузкам. Его тоже тренировать нужно — как тело, как волю. Перевороты, петли, бочки — двойные, тройные... Истребитель вращается в пространстве, повинуясь человеку, его воле. «Смотри, капитан! Вот он, истребитель... Нравится он тебе? Не раздумал переменить на него своего бомбера?» — мысленно разговаривал с Шароновым, и какой-то мальчишеский задор толкал его показать свое превосходство видавшему виды летчику.

Костя управлял самолетом с азартом спортсмена, забыв о времени, забыв о возможностях человека, впервые севшего в истребитель. Мотор несколько раз захлебывался, когда самолет переворачивался на спину, сердито ворчал на малых оборотах, когда самолет падал, и вновь сотрясал воздух гулом, унося ввысь маленькие крылья. Косте крылья не казались маленькими. Других он не знал. На «яке» подлиннее, пошире к фюзеляжу, но и те были крылья истребителя...

После восходящей бочки голова все еще кружится. Глаза устали смотреть на беспокойную, суматошную землю — серую, далекую, в разноцветных заплатах. На последнем пикировании Костя не удержался и спросил у капитана:

— Может, попробуете сами?

Молчит капитан. Значит, не стоит повторять вопроса. Слишком сложный полет для первого раза. Ничего, пусть привыкает. Это и есть настоящий полет на настоящем истребителе. «Устал капитан, — подумал Костя, заходя на посадку с чувством победителя. — Ничего, знай наших!» Предстоит еще два таких же полета с другими. Может быть, с меньшими перегрузками... В голове все еще шум. Пустяковая фигура — бочка: самолет вращается вокруг продольной оси, — но она больше других оставляет след в голове. Когда-то в училище Костя спутал бочку со штопором. Тогда он сидел вот так же, как капитан сейчас, с инструктором. Стыдно было... Давно ушло то время. Несколько дней назад, в землянке, он воздержался бы от употребления слова «давно», а вот сейчас он как бы перешагнул грань, разделившую его жизнь жирной чертой на прошлое — «давно» — и настоящее. Настоящее — капитан в задней кабине, его ученик, старый фронтовик; настоящее — еще несколько человек, ждущих его на земле: одних он будет переучивать сразу же на «яке» (летчики с самолетов И-16), а троих бомберов пока на УТИ повозит, а там и их на «як»...

После посадки, зарулив на стоянку, Костя неторопливо вылез из кабины. По школьной этике первым вылезал инструктор, за ним курсант. Еще на плоскости Костя обратил внимание на необычную бледность лица капитана. Уголки плотно сжатых, тонких губ опущены. Глаза... до вылета они были другими. Косте вдруг подумалось, что такими злыми они были у Шаронова там, над целью, когда кругом летала смерть, и вот сейчас... Но

почему сейчас? Костя спрыгнул на землю, закурил. Чтобы не видеть, как вылезает капитан, смотрел в небо. Там летали другие самолеты на разных высотах: над аэродромом мало места...

— Испугать хотели?

Капитан прямой, как столб. Он не снимал перчаток и не ковырял в смущении снег унтами. Он смотрел зло в глаза своему инструктору.

— Полет обычный, товарищ Шаронов. Обычный, понимаете?

Костя лгал, и капитан знал это. Костя не умел лгать. Он стоял, как провинившийся школьник, потому что его уличили во лжи. Да и лгал-то кому! Вот этому усталому человеку, провалявшемуся почти год в госпитале с раздробленными костями, человеку, который был на войне, который еще пойдет на войну. «Мальчишка», — вспомнил он слова комэска.

Костя посмотрел на капитана искренне, с откровенным смущением.

— Не совсем обычный... с максимальными перегрузками...

— Меня напугать нельзя, инструктор. И делать из меня мешок с дерьмом не стоит.

— Товарищ Шаронов!

— Я понимаю! Наши взаимоотношения определены уставом, вы это хотите сказать? Подчиняюсь. Но я год не был в воздухе, поймите!

— Понимаю, капитан. Начнем последовательно, от простого к сложному. И вообще... я понимаю, Шаронов.

У Кости отпала охота спрашивать или отвечать. Капитан ничего не понял в этом полете и не мог понять. Кроме того, такие перегрузки после болезни... Нехорошо получилось!

— Отдыхайте, Шаронов!

Никогда так отвратительно не чувствовал себя Костя Коровин.

Может быть, ему было бы легче, узнай он, что сказал капитан своим друзьям:

— Весь полет искал крылья. Так и не нашел. Здорово летает юнец. Голова кругом...

8

Необычным путем пришел Иван Поляков в военную авиацию. До 1938 года — инструктор в аэроклубе. Ему

прочили большое будущее в большой авиации. Когда у человека воля и смелость сочетаются с разумом, да если к тому же у него прекрасная реакция, тогда ему прямая дорога в небо. Авиация для Полякова — призвание. В небе он был смел, хотя не относился к числу тех храбрецов, которые постоянно ищут повода, чтобы испытать себя или лишний раз показать свою храбрость. Он летал, учил летать других на маленьких спортивных самолетах и мечтал об истребителях. Все было на своих местах, и жизнь не грозила ничем. Призывной возраст давно прошел, бронь кончается — значит, не за горами долгожданное военное училище и боевые самолеты. Так должно быть, но случилось неожиданное и удивительно непонятное: уволен по сокращению штата. Кто-то из родственников оказался под следствием. Год мытарств и хождений по разным инстанциям ни к чему не привел. Желание летать не исчезло. Звук работающего двигателя в небе и вид самолетов, пролетающих над городом, отзывались в сердце: и, чтобы приглушить растущую обиду, злость, он заставлял себя не поднимать головы, не видеть, не слышать... Но разве от себя уйдешь! Всегда у него было два мира, своих, привычных, дорогих: земля и небо. Остался один — земля, ему было тесно в нем. Жизнь усложнилась не только в связи с непонятным увольнением. Иван к тому времени был женат. Жена окончила медицинский институт и работала в больнице. Она убеждала его успокоиться и ждать. Чего ждать, а главное — почему ждать? Он ничего не понимал и страдал: товарищи продолжали летать, тоже не понимая, почему Полякову закрыли дорогу на аэродром. О нем говорили: «Чистая душа. Открытый, прямой характер! Работяга, каких мало».

С течением времени успокоился Иван. Работа на заводе давала возможность жить, а молодость вселяла надежду. У него не подорвалась вера в людей и в жизнь. И все же долго пассивно ждать Иван не мог. Он написал письмо Народному комиссару обороны. Письмо было коротким: два-три слова из биографии (какая там биография!), не больше — о родственниках и с болью и недоумением о себе: почему он, летчик, должен работать разнорабочим на заводе, вместо того чтобы защищать интересы своего государства в военной авиации?

Ответ пришел раньше, чем он мог предположить. Может быть, ему просто повезло, может быть, нашлись все

же люди, которые сумели разобраться в деле. Так или иначе, но через месяц Иван Поляков — курсант военного училища летчиков-истребителей. О тех, которые так несправедливо обошлись с ним, он просто перестал думать. Незачем: все на своих местах. Он прибыл в училище после почти двухлетнего перерыва в полетах, и, когда его проверили в воздухе при сильном боковом ветре, начальник училища сказал: «Стоит!»

Потом война. Жена — военный врач в госпитале. Мать с их маленькой дочкой оказалась на оккупированной территории, под Гомелем. Иван рвался на фронт. Разум подсказывал: освоишь новую технику — и фронт перестанет быть для тебя флажками на карте. Но сердце требовало другого: на фронт немедленно...

После случая с «киттихауком» ему дали десять дней отпуска. Иван уезжал в прифронтовой город, где находился госпиталь, в котором работала жена. Последний год с Галей был тяжелым. Что-то разладилось в их отношениях после нелепого увольнения из авиации. Он стал в то время угрюмым, неласковым, раздражительным. Не смогла, а может быть, не захотела понять его состояния Галя. Начались обоюдные колкости, переходившие в грубые ссоры... Часто по пустякам: однажды Иван не захотел пойти в кино, а Галя уговаривала... Другой раз отказался от обеда. Галя стала кричать, что он строит из себя мученика, что работает на заводе потому, что не умеет постоять за себя, что он давно потерял волю и способность бороться. Может быть, это было сказано в запальчивости, может быть, надо было найти какие-то слова, которые заставили бы их, как бывало после ссор, смеяться над своими слабостями...

Может быть... Но на этот раз не было таких слов, и ссора вылилась в бестолковую перепалку, взаимные оскорбления. Тогда Галя ушла, хлопнув дверью, а Иван долго лежал на диване, не зная, как жить дальше...

Потом она стала молчать, но он научился угадывать, что таит в себе ее молчание. Порой он думал о своем болезненном воображении и о том, что он действительно превращается в черствого человека. Тогда он шел к Гале с искренним желанием помириться. Она не отвечала ему тем же. Они перестали понимать друг друга. Время могло сблизить их, но времени не было. Когда был получен приказ и он уезжал, то счастливо улыбался. Летать, скорее!

Она не поняла его улыбки.

— Ты так радуешься своему бегству от нас, что можно подумать — мы держали тебя...

— Кто это мы?

— Я и дочка.

— Дочка слишком мала еще, чтобы разбираться в этих психологических тонкостях. Не скандаль хоть в последний день. Я не на курорт еду...

В последний час обоим хотелось вернуть прежнюю простоту в отношениях, прежнюю ласку и нежность, но никто не сделал первого шага. Обоим было неловко: они не умели лгать друг другу. Прощание казалось избавлением. От чего? Они не знали...

Первый же час разлуки привел их в смятение. Почему они расстались так? Любовь не уменьшилась. Едва расставшись, они уже затосковали. Остались письма. Война и письма. В них они не таились. Он радуется предстоящей встрече, но сомнения не исчезли. Они не уменьшили радости, но они были...

— Иван, к чему эти фокусы?

Гирис ткнул пальцем на сержантские погоны Ивана, даже потянул их, пытаясь снять с гимнастерки. Иван придержал его за руку:

— Оставь! Успею, в общем... Это неважно.

Накануне прибыл приказ о присвоении им звания офицеров. Радовался и Поляков вместе со всеми, но погоны не поменял — не успел. На плечах Петра и Кости по две звездочки на золотистом фоне. Свои же Иван положил на дно чемодана, думая поменять их в дороге. Было похоже, впрочем, что ему все равно...

— С ним такое бывает, — махнул рукой Гирис.

До отхода поезда времени немного, машина ждет у проходной.

В вагоне Иван пристроился на нижней полке в углу и закрыл глаза, чувствуя нарастающую тревожную радость... Он хотел представить близкую встречу с Галей, но в памяти встала дальняя, первая...

Полюбив Галю, он еще больше укрепился в мысли, что женщина в жизни должна быть одна-единственная, только тогда жизнь будет осмысленной... На самом же деле жизнь оказалась несколько иной, и Иван скоро почувствовал, как пошатнулись его устои. Жена могла быть и другом, и противником, да еще злым противником.

...Деревянный город: улицы, похожие на деревенские, две церкви — огромные, из красного кирпича, с высокими колокольнями. Почему областные власти решили, что это город? Большое село, поселок. Иван шел к госпиталю, расположенному, как ему сказали, на противоположном краю города.

Пока война не тронула его. Удивительно — почти рядом с фронтом. Впрочем, ничего важного в нем нет: ни узловой станции, ни промышленности, ни воинских частей. Только церкви с колокольнями. Недалеко лес. Он окружал городишко почти со всех сторон. Город казался пустынным. Иван быстро шагал по деревянному тротуару и думал: до войны не очень жаловали областные начальники своим вниманием городишко. Стоит себе далеко от основных магистралей, и идет к нему только одна железнодорожная ветка, вытянувшаяся, как рукав, от основной линии, и жили здесь люди сотни лет (очень старые дома и церкви), может быть, горя не знали, довольствуясь малым. Все же пришла война и сюда. На улицах мелькают солдатские шинели. Большинство солдат с костылями. Город-госпиталь. Иван остановил солдата с перевязанной рукой, узнал, где госпиталь, и, между прочим, сказал:

— Любопытный лесной курорт. Не знал, что на Смоленщине есть такие.

Солдат взял предложенную Иваном папиросу, с наслаждением затянулся.

— В этом «лесном курорте» немцы хозяйничали неделю. Дома в поселке не тронули. Расстреляли всех евреев, просто так, по пути... Отобрали скот, птицу и отошли, так сказать, на новые рубежи. А дома не тронули. Сейчас ничего, налаживается вроде. Жители помаленьку стягиваются из лесов. Лесопильный заводишко тут есть, да по мелочи кое-что... Ну, бывай, сержант! Тут рукой подать.

...Не виделись почти два года... Большой срок... Разве большой? И что такое срок вообще? Час — тоже срок. За один час немцы успели расстрелять не одну сотню людей только вот в этом поселке. А это — годы и годы жизни. И каждый день на войне погибают тысячи, тысячи и тысячи...

Прошел мужчина, с трудом переставляя ноги на костылях. Вместо ног — протезы. Молодой, красивый. Теперь на всю жизнь рядом с ним постоянный спутник —

протезы... Многих смерть настигает и здесь, в тылу, в госпитале. Война гонится по пятам, и немногие уходят от нее. Уходят ли? Вот этот безногий человек уже никогда не будет на войне, но война всегда будет с ним...

Иван вспоминает сбитый «хейнкель» — два года назад, в училище. «Хейнкель» приволокли на брюхе к городку. Было это как вчера... Вот он, немецкий бомбардировщик, с вместительными бомболюками, с прекрасной радиоаппаратурой, с мощными двигателями и крупнокалиберными пулеметами. Каждая деталь самолета — смерть. И сбитый самолет дышал, казалось, смертью. Разведчик... Он летал на средних высотах над городами России без страха. Начало войны...

Иван шагал со скоростью сто двадцать шагов в минуту. Так ходили в строю в училище. Не видя часов, он мог отсчитывать сто двадцать шагов в одну минуту. Привычка.

Замелькали белые халаты во дворе госпиталя. Белые халаты и — на фоне их белизны — черные кирзовые сапоги.

В госпиталь его не пустили, а проводили в жарко натопленную комнатушку — тут же во дворе. Два года... одну минуту и сто двадцать шагов он мог отсчитать безошибочно...

Но сколько прошло времени сейчас, в этой комнате, в ожидании?

...Они смотрели друг на друга, не трогаясь с места, пока их не оставили одних. Галя все та же, и в белом халате он раньше ее видел, только не было сапог и блестящих медных пуговиц на груди. Исчезли два года, как и не было их... Она сделала шаг, два, провела рукой по его лицу, волосам, хотела что-то сказать, но вместо слов он услышал, как она всхлипнула, уткнувшись лицом в воротник его шинели.

— Ты не мог не приехать в последний день...

— Почему в последний?

Те же губы, щеки, глаза — все то же, только слез раньше не было.

— Уезжаем завтра. На передовую. Вот и будем вместе, мой летчик!

«Мой летчик»...

Когда зимняя ночь впустила рассвет и посветлели мутные окна, они очнулись от короткого сна — одновременно, боясь ослабить руки. Не было двух лет...

В тот же день машина увезла Галю на один из участков Западного фронта.

Иван на вокзале протиснулся в вагон, присел на полку и положил голову на руки. И только сейчас вспомнил о погонах офицера, так и оставшихся на дне чемодана.

9

Поляков вернулся на восемь дней раньше срока. Небывалый случай. Гирис с Костей встревожились. Что-то случилось. Но что? Гирис незлобиво язвил: «И погоны не помогли? Почему сбежал?» Иван загадочно улыбался. Тогда им стало ясно, что друг счастлив, и его молчание уже не казалось обидным. Придет время — сам расскажет обо всем. Как видно, в мыслях он еще с Галей и улыбается все еще ей. А когда узнал, что ему готовят, вовсе повеселел.

Не хватает моторов. Уже несколько «яков» стоят с обнаженными подмоторными рамами. Кто-то из инженеров предложил переставить мотор с «харрикейна». Габариты те же, охлаждается водой, и мощность приличная. Почему бы не попробовать? Опасно? Ну что ж! Летчики к этому готовы всегда...

Испытание поручили Полякову. Иван доволен.

Из всех людей на аэродроме, пожалуй, механики проявляли наибольший интерес к новому «гибриду», как они называли «як» с английским мотором. Они работали как черти, устанавливая мотор и проверяя чуть ли не каждую заклепку на самолете. В это же время упорно и настойчиво говорили всем и каждому, что когда-то летали в аэроклубах, называли довольно большую цифру налета на У-2. Документы утеряны. Война... Ходили в штаб, просили, доказывали, потом написали в Москву командующему. Командующий приказал: отобрать лучших — и в воздух.

Работа инструкторов усложнилась. Одно дело — переучивать летчиков-истребителей на новых типах, и совсем другое — начинать с азов. По пять-шесть часов налета в день. Сумасшедшая норма, да и нет, в сущности, нормы. Шум в ушах слышится даже ночью. Глаза от перегрузок красные. Болят мышцы.

Завтра будет видно, что представляют из себя механики. Если они действительно летали раньше, долг инструктора сделать из них истребителей, хотя бы при этом

пришлось втрое больше летать. Фронтам нужны летчики...

Когда Советская Армия гнала немцев из-под Москвы, думали: конец близок, и второй фронт тоже. Вместо второго фронта — «харрикейны», «киттихауки» и колбаса в коробках... Далеко до конца. Значит, не думать о нормах, впрочем, о них и не думали.

Шаронов и его друзья-бомбардировщики летают самостоятельно на «яках». Скоро провозные на воздушные бои. Четыре девушки закончили программу и уехали в женский полк, в действующую армию. Марина и Тося пока на месте. Они раньше не летали, поэтому для них программа другая.

Петр частенько ночью уходит, когда не очень холодно, на час-два. «Интересно, — думал Костя, — любовь у них или бум-бум... на время войны?» Петр дурашливый, порой кажется легкомысленным, но это видимость. Он честный парень и, кажется, влюбился по уши. Они подходят друг другу — Марина Краснова и Петр Гирис.

Тося последние дни задумчива, как кажется Косте, и никакого (почти никакого) внимания на него. Встречаются только па разборах полетов. «Почему она избегает меня?» Костя тоскует и злится.

Самолет У-2 из моды не вышел. Инструкторы использовали старенькую аэроклубовскую машину для маршрутных полетов, а теперь — для проверки техники пилотирования механиков. В эскадрилье их чертова дюжина. У Кости и Гириса по четыре человека. У Ивана группы нет. Поляков становится временно испытателем. Он вместе с механиками возится с «гибридом».

Первый полет Костя делал с Павловым. У Павлова энергичное лицо, внимательный взгляд. Заметно волнуется. Волнуются все. Первый полет может стать последним, если утеряны навыки...

— Управляйте самолетом, как умеете. Сто часов налета в прошлом не забываются. Только спокойнее — и будет порядок. Поехали!

— Есть!

Костя в первой кабине, Павлов в задней. Мотор фыркнул, выбросил из патрубков белый дым (застоялось масло в цилиндрах) и застрекотал, вращая винт. Винт поднял тоненькую струйку снега с земли. В морозном воз-

духе стук мотора сухой, лодочный. После истребителя — игрушка. Для Павлова тоже. Павлов — механик с истребителя. Он прекрасно умеет обращаться с моторами на земле, но на рулении очень резко, беспокойно и судорожно работает сектором газа. Недопустимо резко. Что это, нервы? Мотор огрызается и вздрагивает. Костя придержал сектор газа левой рукой (правая держит ручку управления).

— Легче... Зачем так?

Переговорное устройство, связывающее двух человек в кабинах, позволяет говорить, не повышая голоса.

— Понял, понял...

Костя мягко держит управление. С этого начинается инструктор. Нужно держать управление так, чтобы инициатива была в руках курсанта и в то же время быть готовым исправить ошибку немедленно, особенно на малой высоте, когда земля еще рядом. И так всегда, даже когда курсант уверенно пилотирует. Инструктору нужно знать не только как управляют самолетом, но и кто управляет им.

На разбеге поднимается хвост. Для этого ручка управления слегка отдается от себя. Капот самолета ложится на горизонт. Нужно вовремя поднять хвост и держать направление взлета.

Костя насторожился с самого начала разбега. Не придержи он резко отданную от себя ручку, винт разлетелся бы на куски, зацепившись о землю, и это в лучшем случае. Спрашивать или командовать на взлете нельзя: некогда. В конце разбега ручка плавно идет на себя — и самолет в воздухе. Горизонт — линия, обработанная тупым топором. По ней определяет курсант положение самолета в воздухе. Все это Павлов хорошо знал на земле. Можно предположить, что растерялся на взлете, забыл. Бывает такое, когда долго не летаешь, но сейчас самолет идет спокойно, набирая высоту. Капот — горизонт... Ручка в твоих руках, действуй!

— Возьмите управление. Первый разворот на высоте сто пятьдесят метров.

Костя отпустил ручку. Капот поплыл вверх, вниз... вверх, вниз.

— Не зажимай ручку! Вода потечет...

Земля далеко внизу. Если курсант с силой сжимает ручку, он перестает ее чувствовать. Косте знакомо такое. Время, когда курсант приходит в естественное состояние

и мышцы его рук и тела под действием воли сбрасывают с себя давящую на них силу, вполне определенно говорит о том, кто управляет самолетом и какова степень подготовленности летчика к полетам. Должны быть у Павлова навыки. Длительные перерывы в полетах не уничтожают их бесследно. Так уж устроена человеческая память. Можно забыть теоретические основы полета или устройство приборов; можно потерять глубинный глазомер, помогающий определить высоту до земли на посадке; можно потерять способность распределить внимание на приборы в полете; но нельзя забыть, как исправляются крены или как сделать разворот. Костя командует: разворот! Самолет резко вздрагивает и валится на крыло. Капот смотрит вниз. Винт бешено ревет, как бы роя землю... Костя медлит с исправлением ошибки. На истребителе не помедлишь, а на этом можно. Многое прощает умненький самолет с двумя рядами широких крыльев, но и его возможности не безграничны... Костя вывел самолет из беспорядочного падения.

Павлов не может управлять машиной, совершенно не может. Кстати, он больше и не пытается взять управление в свои руки, а в зеркало Костя видит, как он поднял очки на лоб и, не прячась от сильного встречного потока воздуха, тяжело, не мигая, только сощурив глаза, смотрит на землю. Костю поразило мрачное, беспомощное лицо механика, его слезящиеся глаза. Он начинал понимать...

— Надень очки и наблюдай за ориентирами!

Ни к чему Павлову смотреть за ориентирами. Жаль парня...

На земле отошли в сторону, закурили.

— Ну, честно? Летал?

Павлов смотрел на снег, потом поднял голову и раздраженно махнул рукой:

— Никогда...

У Кости мелькнула внезапная мысль:

— А твои друзья?

— Лишний вопрос, товарищ инструктор! Налет у нас одинаков...

— По сто часов в аэроклубе! — съязвил Костя.

Павлов молчал минуту, потом улыбнулся. Улыбка вызывающая и в то же время беспомощная...

— Мы должны летать, поймите! Конечно, если пожа-

луетесь, нас вышвырнут к чертовой матери. Но ведь вам от этого легче не будет!

— Что же вы предлагаете?

Молчал Павлов. Трудный вопрос, да и ненужный. Разве непонятно, чего хотят эти парни и на какую авантюру решились, чтобы стать летчиками! «Любопытно, что делает Гирис?» — подумал вдруг Костя.

— Забирай своих друзей — и на стоянку. Вечером поговорим.

— Товарищ инструктор...

В глазах немая мольба. Костя притронулся к рукаву его комбинезона:

— Вы думали, когда писали командующему, сколько надо времени, чтобы научить вас летать на боевых?

— Думали...

— Плохо думали. Мы не в училище.

— Товарищ инструктор... По крайней мере, не протестуйте. Полковник не враг нам. Поймет!

Павлов ушел, а Костя все еще стоял в раздумье. Ну и ну!

Он видел, как подрулил самолет Гириса, видел, как Гирис со злостью швырнул перчатку на плоскость. Его «летчик» сжался в кабине и не хотел вылезать. Костя поспешил к другу.

— Понимаешь, этот мальчик вздумал пошутить со мной. Он в авиации смыслит, как я в медицине. Самолет швырял так, что расчалки гудели, да еще в ручку вцепился, как клещ в задницу...

— Успокойся, Петро. Отойдем...

Механик не делал попытки вылезать из кабины и внешне выглядел спокойно, что еще больше злило Гириса.

— Что сидите? Может, штаны мокрые?

Механик невозмутимо ответил:

— Вот вы покурите, и мы опять в воздух. Одного полета маловато. Вспомнить надо...

— Это тебе маловато, а мне достаточно. Вылезай!

Костя потянул Гириса за рукав:

— Отойдем!

— Куда отойдем? Я хочу знать, что в этой башке!

Механик вдруг быстро отстегнул ремни, подтянулся на руках и одним махом легко спрыгнул на землю. Здоровый детина, пожалуй, покрупнее самого инструктора. Ничего себе «мальчик»!

— В этой башке немало, командир! Я третий год готовлю вам истребители. Мне в нем знаком каждый шпунтик-винтик. Я его сто раз перебирал своими руками...

Гирис не ожидал такой вспышки. Она была под стать его монументальной фигуре.

— Шпунтик-винтик еще не авиация.

— А что такое авиация? Для избранных?

— Авиация — это когда летают, ле-та-ют! Это греческое слово, и в переводе на русский язык...

— Плевал я на греков! Мне все равно, как бы эту штуку ни называли. — Он резко выбросил руку в направлении истребителя. — Мне летать надо, понимаете?

Отступил Гирис под таким натиском:

— Да вы летали когда-нибудь? Только честно!

— Летал, командир!

Костя решил вмешаться:

— Неправду говорите. Никто из вас никогда не летал.

— А я летал!

— За пассажира.

— Но за пассажира на двухместном истребителе. Не так уж все и трудно. Сами говорили: видеть сто посадок — все равно что самому сесть.

Гирис схватился за живот.

— Нет, ты подумай! Эта фигура мне только вчера говорила: по двадцать витков штопора делал на У-2. Садился чуть не с закрытыми глазами. Ну и ну!

Сейчас у механика взгляд, как у Павлова. Может, сговорились?

— Попросите за нас, командир! Война ведь...

— Там видно будет! — сдавался Гирис.

Два дня механики работали как звери, заискивающе поглядывая на инструкторов. Кабины истребителей блестели чистотой. Два томительных дня. И для инструкторов — тоже. Летчики не могут без уважения относиться к людям, желающим посвятить свою жизнь авиации. Замечательные ребята!

Вечерами сводки: Север в огне, Юг тоже. Украина, Белоруссия, Кавказ все еще у немцев. Далеко до конца войны...

Полковник говорил с Москвой. Там ответили: за подготовку двадцати летчиков фронту инструктору — орден. Обучение механиков начинать прямо с двухместного истребителя. Эксперимент.

10

Еще одного жильца принял Федор Федорыч в домике: Мухина Сергея. Накануне Костя тихонько попросил его установить койку Мухина подальше от них: вспомнился его лошадиный храп в землянке. Про иных говорят: замечательный парень, когда спит. Про Мухина этого не скажешь. Мухин — замечательный парень, когда не спит. У него в горле как бы два комплекта голосовых связок: ночной — для храпа, дневной — для пения. Любили слушать, как он поет. Чистый, густой, мягкий голос Мухина особенно задушевно звучал, когда он пел грустные украинские песни. Хорошо пел Мухин, особенно если перепадет одна-две чарки «фронтовых»... Тогда от «Очей темных, як нычка, ясных, як дэнь» вдруг озорно выводил: «Свари куму судака, чтобы юшка была...»

На боевых Мухину запретили летать врачи: что-то с сердцем. Мухин — дисциплинированный, удивительно спокойный человек. Может быть, именно эти качества натолкнули полковника на мысль сделать из него шеф-пилота начальника штаба, он же летчик связи, он же и летчик санитарной авиации; все это представлял собой единственный самолет У-2. Предшественник Мухина только что снят с летной работы и отправлен в наземные части: увлекся бреющим полетом и приволок на колесах метров сорок телеграфных проводов. При посадке сломал самолет. Долетался...

Ужинали в домике, чтобы лишний раз не встречаться с непогодой. Выпили по маленькой. Мухин пел песни. Забыли о домино, о книгах, о письмах. В домике светло и тепло благодаря заботам Федорыча. Сидели в нижних рубахах и слушали, подпевали и не сразу заметили, что к ночи ветер стих, покрепчал мороз и небо заискрилось ярко мерцающими звездами. Значит, с утра — предварительная подготовка к полетам, а с обеда — полеты.

Не спалось Косте. Всегда так: растревожишься чем-нибудь — и нет долго покоя. Тося... Эта худенькая девчонка все сильнее волнует его, особенно по ночам. Хочется, чтобы Тося обратила на него внимание, хочется, чтобы полюбила. И что бы Костя ни делал, он хочет, чтобы Тося оценила это, чтобы ласково посмотрела на него и улыбнулась.

Тося иногда улыбается Косте, и от этой улыбки, может быть, и не спится сейчас ему. Все-таки он не безраз-

личен ей. Костя замечает, как иногда Тося украдкой так поглядит на него, что голова кругом... А как ему хочется обнять ее! Костя даже вздрогнул, натянув под самый подбородок колючее одеяло.

Не спится Косте.

Хорошо Гирису. У него все ясно. И любовь для него — не новый этап. Все просто в его отношениях с Мариной. У него с Тосей не так, все не так, гораздо сложнее и непонятнее. Почему?

Не спится Косте.

Как давно он из дома... Как недавно он был совсем мальчишкой! А когда? Где грань между детством и юностью и когда кончилась, ушла юность? Может быть, вот сейчас, в этом военном городке, среди людей, которые старше его, и он обязан научить их летать? Или в этом небе, где он давно уже не гость, а хозяин? А может быть, когда пришла любовь? Сладкое томление охватило его и странно отозвалось во всем теле. «Тося, милая...»

Заснуть бы! Да разве уснешь! Мухин начинает ночные «песни», и они совсем не похожи на колыбельные. Гирис не проснется, а Иван Поляков открыл глаза. Еще несколько человек перевернулись на другой бок. Казалось, храп содрогал стены. Койка, на которой спал Иван, упиралась в промежуток между печкой и стеной. Койка Мухина — по другую сторону печи. К равномерному, ритмичному храпу в конце концов можно привыкнуть, но ведь это черт знает что! Хриплые рулады клокотали в горле Мухина непостижимой гаммой. Временами рев прекращался, но Костя знал, что за этим последует более мощный поток виртуозных рулад. Чтобы отвлечься, он попытался сравнить с чем-нибудь храп Мухина. Когда-то он слыхал, как кипит смола в котле. Не то. Слабовато. Если к этому добавить работу мотора на малых оборотах... Нужен еще соединительный звук, чтобы не было слишком резкого контраста... Скрипнула дверь, просунулась голова Федора Федорыча с заспанными встревоженными глазами. Голова довольно долго оставалась неподвижной в полутьме, затем исчезла. Было слышно, как Федор Федорыч плотно прикрыл дверь. Свет ночной лампочки позволял видеть злые глаза Ивана. Рядом с койкой Полякова — тумбочка и графин с водой. Иван приподнялся, налил в железную кружку воды, перегнулся через спинку койки и из-за печки плеснул воду на Мухина. Мухин вздрогнул, храп мгновенно прекратился. Насту-

пила блаженная тишина. Мухин с минуту тупо смотрел на потолок, провел рукой по лицу. «Дождь!» Повернулся на бок. Иван укрыл голову одеялом, надеясь уснуть... А Костя и не пытался. На этот раз Мухин начал издалека... Мотор увеличивал обороты, давал перебои, обрезал, захлебывался, рявкал на форсированном режиме... Иван отбросил одеяло. Из графина забулькала вода. Кружка на этот раз была полна до краев... Мухин приподнялся резко, испуганно, осмотрел потолок, утерся простыней, долго сидел молча, вглядываясь в глубину комнаты, и вдруг встал. Костя прикрыл глаза. Через минуту он почувствовал, как Сергей нагнулся над ним, всматриваясь. Костя замер и, как бы во сне, пошевелил губами. Потом Мухин осмотрел Ивана и Гириса. Обход других коек тоже ничего не дал. Сергей подошел к окну и посмотрел в небо, на звезды. Тихо. Слышно, как посапывает Гирис и как отстукивают время часы на руках. Мухин осторожно, как лунатик, подошел к своей койке и сидел несколько минут, о чем-то сосредоточенно думая. Голова его упала на грудь. Не в силах бороться со сном, прилег. Минута, две... Костя зажал рот, чтобы не взорваться смехом: Сергей начал просыпаться от собственного храпа и водил рукой по лицу. Иван тихонько подвинул графин на край тумбочки. Еще раз повторилась операция «дождь»: кто кого? Иван уже лил из графина. Мухин, боясь собственного сна, в кальсонах вышел в комнатушку Федора Федорыча, разбудил его:

— Дядя Федя!

— Чего тебе?

— Понимаешь, вода откуда-то! Черт ее знает!

— Откуда воде-то?

— Вот и я думаю.

Федор Федорыч свесил ноги с кровати, потряс головой, сбрасывая сон.

— Кто это у вас там как иерихонская труба?

— Ну ладно! Спи, спи, дядя Федя.

...Прояснилось ночью ненадолго. К утру небо заволокло низкими облаками. Ослабевший ветер уже не поднимал снег, а уплотнял его. Видимости нет, летать нельзя. Февраль в этих краях частенько показывает свою необузданную натуру. Настроение тяжелое. Фронтовики проклинали не только погоду. Жертвами их настроения

становились повара, интенданты, даже преподаватели. Занимались в классах по восемь-девять часов. Более сдержанны были молодые курсанты из бывших механиков. Они с жадностью поглощали все, что им читали на уроках: тактику, аэродинамику, метеорологию, — все то, о чем раньше они имели приблизительное понятие, оставшееся от ускоренного курса технического училища. Инструкторы занимались тоже. Изучали новые тактические приемы летчиков высокого класса. Кстати, эти приемы использовали и здесь в учебных воздушных боях. Учить всему, как на войне. Это уже не правило, а потребность.

Нелетный день. По-разному он воспринимается людьми войны. Ленинградцы в такой день избавлены от губительных бомбардировок с воздуха. Еще день жизни... Потоки машин с продовольствием пробиваются сквозь снег и лед по Дороге жизни к осажденному городу, не ожидая отвратительного гула сверху. Враг под Сталинградом пухнет с голоду, без надежды всматривается в мутное небо. Тихо в небе, а смерть смыкает круг плотнее...

Шахтеру не нужно настраивать себя накануне спуска под землю. Он всегда готов встретить любой день. Сменный машинист знает, что поведет состав, даже если небо будет молниями раскалываться на куски.

Танкисты, артиллеристы, пехота ежедневно, ежечасно вершат победу. Люди в тылу трудятся для фронта. И погода не мешает им. Только авиация молчит в нелетный день. Стоят в капонирах притихшие самолеты, механики сидят на стремянках, выискивая в моторе дефекты. Летчики торопят синоптиков, зло поглядывая на небо, прижавшее их к земле. И ничего не делается в нелетные дни, чтобы приблизить Великий день... Нелетный день — трудный, бессмысленный...

Случилось так, что впервые за все годы в авиации Костя остался весьма доволен сегодняшним нелетным днем. В клубе перед началом киносеанса Гирис и Иван приземлились на два свободных места, а Костя стоял, нерешительно оглядываясь. Петр рядом с Мариной (она держала в запасе два свободных места), Иван с краю. Тося сидела по другую сторону от Марины.

— Петр, сожмись! Разъелся на казенных харчах, — сказала Марина, заговорщически кивнув Косте, и сама прижалась к Гирису. Тося смотрела на белый экран с безучастным, скучающим видом.

— Вот это здорово! Барбос меж двух роз. — Косте

казалось, что у него молодецкий вид, а плоская шутка сказана кстати. Он даже не заметил ехидной улыбки Петра. Тося, видя его покрасневшее лицо, улыбнулась подбадривающе.

Костя осмелел и, усаживаясь между Тосей и Мариной, подшучивал над Гирисом:

— Снял бы, Петро, куртку. Без нее ты не больше двух мест займешь.

— Я занимаю места ровно столько, сколько должен занимать нормальный человек. — Петр сделал ударение на слове «нормальный» и, не поворачивая головы, искоса оглядел снизу до верху Костю.

— Мал золотник, да дорог, — перебил Иван Поляков, заступаясь за своего молодого друга, и, оглядев того и другого, добавил: — А вообще природа тут чего-то не предусмотрела.

— Я бы посоветовала вам разрешить этот вопрос на высшем уровне. Спросите каждый у своей женщины, кто для нее хорош: чи большой, чи маленький. — И, обернувшись к Тосе, Марина простодушно спросила: — А, Тося? Правильно я говорю? — Тося покраснела, взглянула на Костю, тут же отвернулась... На экране слово «Актриса» проплыло мимо сознания. Костя волновался, чувствуя рядом Тосю. «Дурак, мальчишка! — ругал он себя. — Пора быть как Гирис...» Костя натолкнулся на руку Тоси и сжал ее тихонько. На мгновение он испугался своего невольного порыва, готов был провалиться сквозь землю. Тося сначала попыталась было освободить свою руку, но не освободила. Никто не знает, как хорошо теперь Косте. Под его ладонью — ее ладонь. И ему кажется, что в этой ладони вся она, такая родная, близкая.

Рука его стала горячей и влажной, но отпустить руку Тоси не мог. Он почувствовал, что Тося тоже не хочет отнимать руки... Нет, отняла. Тихонько, осторожно, и так же тихонько подсунула другую... Костя замер...

Что же это такое? Была Таня Воронина в училище, и они даже целовались, но не было такой радости в сердце. Сейчас другое. Вот, оказывается, что такое счастье. А он думал, что счастье для него только в небе. Бывало, со страхом поднимался в воздух, потому что нужно было ему одному обуздать непокорного и опасного коня — самолет. С тем же страхом он бросал самолет в штопор и отсчитывал витки: один, два... пять, шесть... Нельзя было столько, но он отсчитывал, испытывал себя и свое сча-

стье. И когда в ровном полете скользил в небе после борьбы с самим собою, тогда было счастье. Сейчас вот эта девушка — счастье... Актриса пела свою «Карамболетту», но Костя и Тося не слышали ничего...

— Господи... половина картины! — Костя почувствовал Тосины губы у своего уха. Он не видел, что делалось на экране.

— Какая ты красивая. Хочу, чтобы вот так...

Тося зажала ему рот рукой:

— Хотя бы конец посмотрим...

Любит, любит... А может, так просто? Впечатлительность порождает недоверие даже к самому себе. У Кости это потому, что внешне он выглядит невзрачным. Ему бы рост и фигуру Гириса... Что поделаешь!

Такие мысли он скрывал даже от друга.

Тося тоже ничего не видит на экране, но она смелее его — хотя бы потому, что легко притянула его к себе и прикоснулась щекой к его щеке... На экране что-то пела актриса. К ней в приоткрытую дверь просунулась голова старухи... «Он что, всегда у вас так орать будет?» — спросила она. У актрисы попугай. Старуха думала, что попугай поет так громко. Взрыв смеха в зале. Марина подтолкнула Костю в бок, что-то шепнула Петру и засмеялась. Костя спустился на землю. Ему было неприятно от этого толчка. Он помрачнел, вдруг вспомнил чернявого летчика, улетевшего на фронт. Резко отпустил руку Тоси. Она взглянула на него с удивлением. Ее лицо было совсем бли ко. Косте стало стыдно, и он опять сжал Тосины пальцы...

11

Майор Пыльников выруливал для взлета на «горбатом черте». «Харрикейн» имел неприятную особенность: при рулении резкое торможение или большие обороты мотора тянут самолет на нос. Достаточно винту чиркнуть по земле (такое бывало) — и самолет тащили к ангару на ремонт. Избежать этого можно было только одним путем: при рулении на хвосте держать груз. Грузом в таких случаях был человек. Неизвестно, как в таких случаях поступали англичане, но в России в условиях заснеженного аэродрома ничего другого не придумаешь. Грузом на хвосте от стоянки до взлетной полосы бывали механики, курсанты, а порой и инструкторы. Человек садился верхом на фюзеляж у самого стабилизатора, спиной

к мотору, обнимая руками киль, и так гарцует до линии взлета.

Когда рулил комэск, на хвосте его «харрикейна» сидел Павлов. Струя от винта била по спине, по комбинезону. Павлов поднял воротник и вобрал голову в плечи: меньше дует. Комэск рулил, поднимая фонтаном снег. Он улетал на разведку погоды перед началом полетов. «Харрикейн» на взлетной. Пора Павлову освобождать хвост. Мотор увеличивает обороты. Павлов не думает соскакивать... Почему? Никто даже крикнуть не успел... «Харрикейн» рванулся с места, на разбеге тяжело поднял хвост и, набрав скорость, взмыл вверх. Павлов остался на фюзеляже. Много в авиации неожиданностей, но такая... Пожалуй, со времен братьев Райт это единственный, неповторимый, невероятный случай. Пока самолет набирал высоту, была видна фигура застывшего на хвосте Павлова. Летчики бросились к стартовому командному пункту. По радио руководитель полетов кричал:

— 01... 01!.. На хвосте человек! Вы взлетели с человеком на фюзеляже!

Таких слов в эфире еще не было. Если кто услышит посторонний — не сразу поймет.

Пауза. Тишина. Боялись даже переступить с ноги на ногу: скрипнет снег — и не услышишь радио. Только с высоты доносится ровный, чистый гул мотора. В приемнике слышно слабое потрескивание.

— 01... 01... повторяю: на хвосте человек. Крен на разворотах десять градусов. Скорость минимальная. Как понял?

Хриплый голос Пыльникова пробился сквозь рябоватую шторку радиоприемника:

— Захожу на посадку.

Держись, Павлов! Может быть, это невероятное не окажется трагичным. Успокаивали себя мыслью: комэск — отличный летчик. Ему трудно сейчас держать ручку управления: тяжелый хвост висит над бездной. Рули глубины плохо обтекаются: на пути человек. К счастью, мороз слабый. Потоки теплого южного воздуха пришли на мерзлую землю, поднялись на высоту и там таяли в инверсионной прослойке. Самолет, сделав круг над аэродромом, блинчиком, с очень маленьким креном (нельзя увеличить крен — свалится Павлов), снижался на посадку. Цепь из людей выстроилась на посадочной площадке по боковым границам. Санитарная машина с работающим

мотором тут же. Если Пыльников сядет плавно, на три точки, без толчков и «козлов»... кто знает...

Мотор на «харрикейне» хлюпает на малых оборотах. Большие сдуют Павлова или превратят в ледышку. До земли несколько метров. Еще минута безмолвия и неподвижности... Колеса завертелись на укатанном снегу. Умница, командир! Хвостовое колесо плавно опустилось вслед за передними. На пробеге Пыльников выключил мотор. «Харрикейн» остановился в центре поля.

Командир пулей вылетел из кабины, на ходу сбрасывая парашют. Подъехала санитарная машина. Пыльников потянул Павлова за унт, но тот обнял руками киль мертвой хваткой. Ноги его прилипли к фюзеляжу...

— На земле мы, на земле, друг! Открой же глаза...— Павлов не двигался. Казалось, он прирос к килю. Воротник закрывал голову. Тогда мягкий голос комэска оборвался в резкой, злой команде: — Слезай, говорю!

Павлов высунул голову из-под воротника, взглянул на людей, на землю, со страхом вверх. Посиневшие губы зашевелились, но не сразу он обрел дар речи.

— Руки вот... руки...

Пыльникова подсадили на фюзеляж, и он пробрался к стабилизатору, оторвал как будто припаянные к килю руки Павлова в меховых перчатках. Унты на ногах, комбинезон арктический...

Павлов наконец спрыгнул на снег, сделал несколько шагов от самолета. За ним следили, не двигаясь, не дыша. Еще шаг, еще... Руки как плети. Врач остановил его, повернул к себе лицом, потряс за плечи:

— Толкни меня, браток, толкни! Покрепче, ну!

Павлов осматривался кругом и, казалось, ничего не замечал. На губах по-прежнему бессмысленная улыбка. Врач продолжал настойчиво что-то требовать, указывая себе на грудь. Павлов кивнул головой один раз, другой — и... врач полетел в снег и шлепнулся на спину. У него комбинезон такой же, но возраст совсем не спортивный — под шестьдесят. Однако он бодро вскочил и шагнул к смущенному теперь Павлову.

— Извините, Михаил Васильевич, не рассчитал...— начал тот, но Михаил Васильевич обнял его, похлопывая по спине:

— Отошел, отошел! Молодчина!

Окружили Павлова толпой. Улыбка его уже осмысленная, он разминал руки, сгибая и разгибая их.

— Почему не слез с хвоста на взлетной? — спросил Пыльников требовательно, но не строго.

— Вы должны были опробовать мотор перед взлетом. На стоянке не опробовали ведь.

Пыльников замялся:

— Разве?

Летчики хмыкнули и тут же погасили улыбки. Сам он строго следил за тем, чтобы моторы опробовали на стоянке. Не все это делали. Ухарство и недисциплинированность. На разборах Пыльников употреблял более выразительное слово: глупость. А бывало, и наказывал.

— Три дня отдыха, а сейчас в санчасть. Так, что ли, Михаил Васильевич? — счел за лучшее закончить разговор командир.

— Да, конечно! Посмотреть надо, последить...

— Чего там следить! Товарищ майор, ради бога, не надо мне этих трех дней! Полный порядок, товарищ майор!

Действительно, Павлов окончательно пришел в себя.

— Иди, иди! Там увидим...

Вечером Костя и Гирис пришли к нему в санчасть. Павлов охотно рассказывал:

— Когда пролетали лес, хотелось спрыгнуть. Он казался рядом, рукой подать. Меня даже в жар на морозе бросило. А не спрыгнул только потому, что руки не пустили. Потом я начал бояться разворотов. Хотел обернуться к командиру, да голову повернуть было нельзя. При крене дуло в бок. Еще бы немного побольше крен — и «прощай молодость»! На земле я смотрел на вас, как баран на новые ворота, и никого не узнавал. Чудно както, даже память отшибло. Как в тумане. Но сейчас уже ничего. Ощупывали. Пару уколов всадили в одно место. Говорят, от нервов. Теперь я двужильный. Теперь мне только давай!

«Теперь только давай... — размышлял Костя, когда вышли из санчасти. — А не оставило ли это путешествие на его психике немного «того»? Не похоже. Возбужден — так это в порядке вещей. Сильный парень, в общем. Если придется, на фронте, да еще сознательно... Такие, как он, плюют смерти в лицо, идя на подвиг».

По пути Костя свернул к землянке, где жили девушки. Гирис бросил вдогонку:

— Что-то зачастил к девкам. Учти, они любят предупредительность, а не навязчивость.

— Иди к дьяволу!

Вход на половину девушек отдельный. Недавно пробили. Клыба постарался. Еще не дошел до крыльца, как заметил Тосю с Мариной. Тося, увидев Костю, отделилась от Марины, торопливо проговорила: «Я сейчас...» Марина приветливо помахала Косте рукой. Он ответил тем же.

— Мы в библиотеку, Костя, — сказала Тося, пряча глаза.

— А может быть...

— Нет, нет... я пойду, неудобно...

— Что неудобно?

— Ну, что мы вдвоем... Еще подумают...

— Пусть думают!

— Не надо...

Костя с удивлением посмотрел на девушку. На лице Тоси не было заметно радости от встречи, только смущение.

«Уйти, — мелькнуло у Кости, — я должен уйти! А что дальше? Нет, пусть объяснит». И решительно взял Тосю за руку.

— В чем дело? Почему ты сегодня...

— Нет, нет, Костя, не сейчас... Я пойду...

— Подожди. — Костя удерживал Тосю, пытавшуюся тихонько высвободить руку. — Хоть бы полчаса...

— Не могу сегодня...

— Не хочешь?

— Не могу.

— Может, другой кто?..

Костя запнулся, понимая, что говорит нелепость.

Тося резко выдернула руку.

— Ну знаешь ли! — В голосе недобрые нотки. Чужая, совсем чужая... И, как бы подтверждая это, Тося со злостью и обидой договорила: — Ты не имеешь права упрекать меня ни в чем.

— Я не хотел, прости... Но пойми, ты нужна мне.

Его виноватый вид тронул Тосю. Она сама взяла его за руку и, посмотрев в глаза, заговорила:

— Не обижайся. Я хотела обо всем сказать позже, все обдумав, но ты... Марина все увидела, и я ей сказала, что тебя... что мы... — совсем запуталась. — В общем, Марина мне рассказала все о себе и о Петре. Она такая сильная, но, если бы ты видел, как она плачет, потому что скоро им придется расстаться. Вот если и мы с тобой... Я не хочу так...

Тося совсем смутилась, покраснела, даже слезы блеснули в глазах...

Возможно, многое в их жизни пошло бы совсем иным путем, если бы Костя понял Тосю, если бы разбил ее сомнения, если бы... Костя не нашел ничего лучшего, как принять вид обиженного, оскорбленного в своих чувствах мужчины.

— До свидания, Тося! Мне приснился хороший сон. Не было того вечера... — И шагнул в темноту быстро, зло...

— Костя!

Костя не обернулся.

Они вдвоем. Костя и Гирис. В комнатушке Федора Федорыча режутся в карты, в «петуха». Этот «петух» как семечки: не лузгаешь — не хочется, начнешь — не бросишь. Если начальник штаба узнает — шкуру спустит. Впрочем, в домино тоже играют, и в шахматы. На любителя. В «петуха» любителей больше.

— Понимаешь... иногда думаю о жизни вообще. Чем больше живу, тем больше думаю, — говорил Костя, присев на койку Гириса и обхватив колени руками. Петр полулежал, сомкнув за головой руки. Кажется, лирически-философское настроение Кости передалось и ему, что с ним бывает не часто. — Помню — в ранней юности, на родине, рядом с нами жил сосед, наш дальний родственник. Ему было под пятьдесят. Он постоянно читал, и читал не только художественную литературу, но и философские трактаты. Почему-то нигде не работал и читал. Был молчалив, замкнут, но знал очень много. Прямо энциклопедический словарь. И мысли его (теперь-то я понимаю это) были любопытными и правильными. Но он больше ничего не делал. Ел, спал и читал. Летом уходил в лес и бродил там до осени. Построил себе теремок и жил отшельником. Так вот я думал уже тогда: зачем живет человек? Зачем он читает, если его ум и знания остаются при нем, как бы на замке? Я не в счет... Со мной он говорил о высоких материях, и я, ничего не понимая, был внимательнейшим слушателем. Я не придавал его словам слишком уж большого значения, потому что был просто мал. Теперь думаю об этом. Теперь для меня образ его мыслей имеет определенное значение. Тогда он уже высказывал мне мысль, которую я помню до сих пор: «Жизнь будет ставить перед тобой тысячи вопросов, будет окружать тебя заботами, неприятностями, может быть,

горем; тогда ищи забвения в природе — нет таких вопросов, на какие природа не дала бы ответа».

Гирис слушал. Костины горячие слова вызывали у него свои воспоминания:

— А я помню, в детстве днем ходил в школу, да еще в рваных штанах, а по утрам и вечерам чистил хлев, поливал огороды и убирал двор одному «трудовому» элементу. Был такой — Грумберг. В бывшей Лифляндской губернии. Потом ему дали коленом под зад. Но он был, и я был, и моя философия выражалась немногими словами: вовремя убрать... в хлеву, вовремя накормить скотину — иначе останусь без куска хлеба, пожрать, поспать. Поспать не всегда удавалось, поесть тоже. А ты: природа, природа... Слюнтяй твой сосед, да еще бездельник. Человек должен драться за жизнь и трудиться, а не искать забвения...

Гирис помрачнел. В глазах неестественный свинцовый блеск. Он появляется, когда Петр начинает злиться. Видно, насолил ему этот Грумберг. На всю жизнь. До сих пор помнит...

Костя не обижался за соседа. Поделом и соседу, и ему, Косте.

Гирис зло сплюнул, успокоился. Продолжал более ровно:

— Отец тоже батрачил... Его брат, старый коммунист. живший в России, помог нам перебраться к нему. Здесь я стал мечтать о полетах, и моя философия выражалась одним словом: летать. Позже к этому добавилось: быть человеком. Такое желание пришло не сразу. Говорят, что хороший человек получается тогда, когда его с детства учат всему хорошему, рассказывают, воспитывают, в общем. Ни черта подобного! Надо сначала горюшка хватить и узнать почем фунт лиха, а потом пожить среди хороших людей и поглядеть на них как следует. Вот тогда и появляется желание стать таким же. Вот и все. Сейчас нет времени философствовать. Война заставляет действовать. Вот и ты не раздумывай. Обучим своих механов — и на фронт.

Костя знал о трудном детстве Гириса. В своей жизни он не видел и половины того, что видел Петр. Иногда он завидовал ему, завидовал его энергии и способности вот так просто и верно делать выводы.

— Я не хочу тебя обидеть, Петр... Думаю, что с Ма-

риной ночами вы не в шахматы играете. А вдруг она любит, а ты в конце смоешься, оставив ее на бобах.

Петр необычно серьезно посмотрел на него, вздохнул.

— Люблю ее. И она любит «латыша лупастого». Это Марина меня величает так в минуты нежности. И о будущем мы думаем без сомнений, потому что любовь наша — на жизнь. Вот так-то, друг сердешный. — И уже с обычной шутливостью закончил: — Торопись... «Кто не любил, тот все равно что не жил».

«Да, Петька. Не баловала тебя жизнь. Когда меня кормили молоком, салом и яйцами, ты довольствовался куском хлеба, и то не всегда». Костя не сказал этого вслух, а только подумал: «Хороший ты человек, Петька!»

12

В большинстве случаев неожиданности в авиации только неприятные. Приземляется самолет и спокойно подруливает к стоянке — обычное явление, даже когда это происходит при необычных обстоятельствах, когда самолет идет на вынужденную из-за неисправности оборудования или мотора. Бывает, что плохая погода вынуждает прекратить полет. Все это воспринимается как обычное явление.

Но бывает и так...

Командир звена Коля Пестряков — один из тех ветеранов авиации, которые успели полетать на всех одномоторных машинах, имевших крылья и винт. Учить летать—его призвание. Учить летать—значит самому свободно владеть техникой вождения самолетов. Пестряков владел этим в совершенстве. Летчики, улетевшие отсюда первыми на фронт, — его ученики. Инструкторы, получившие право учить, — его ученики. Высокий, немного сутулый, с открытым светлым лицом и невозмутимым характером, он считал свое дело обычным, но вместе с тем внушал летчикам, что «не всякий может быть бухгалтером, тем более не всякий может летать».

— Есть у человека что-то от птицы, — говорил он, — что заставляет его мечтать о небе. Но если этого птичьего нет и ты можешь не летать, тогда лучше не летай. Найди ремесло, которое даст тебе возможность быть более полезным людям.

Если бы можно было определить это сразу, без проволочек, без трагедий! Если бы...

Они были вдвоем в самолете — командир звена и курсант. При заходе на посадку вспыхнул мотор. Пламя вырвалось из-под капотов, пробило защитную перегородку в передней кабине — в кабине инструктора. Парашют ни к чему: мала высота. Чтобы сбить пламя (единственное, что можно и нужно делать в таких крайне тяжелых случаях), Пестряков завалил самолет на крыло и начал скользить, круто снижаясь, приказав летчику во второй кабине следить за землей и выровнять самолет, когда земля будет рядом. Сам он этого сделать не мог: глаза опалило пламенем. Но у летчика второй кабины не только не было ничего птичьего, но и капля человеческого, что была в нем, исчезла в минуту страшной опасности. Он уперся руками в борта открытой кабины, бросив управление. В этот миг он уже был не человек. Удар о землю выбросил его из кабины. Огонь его не достал, а снег был мягким и глубоким. Пестряков остался под обломками сгоревшего самолета...

По законам военного времени человек судит человека за трусость на поле боя. Трибунал не стал его судить. Судили товарищи, и он молчал, не оправдывался, не защищался, будто все еще не мог осмыслить происшедшего. Он говорил, что мог бы посадить горящий самолет, но не сделал этого. Страх оказался сильнее рассудка. Он рассказал все. Поэтому и знали истинную причину катастрофы, поэтому и отказался судить его трибунал.

Живи! Твой прокурор — совесть. Может, ты и будешь полезным людям, но только не в авиации и не на войне. Панический страх и летчик — понятия несовместимые. Живи и пользуйся добротой людей из трибунала. Живи и попробуй осмыслить слово, которое тебе бросили в спину твои бывшие товарищи: сволочь!

Полковник говорил у гроба Коли Пестрякова. Речь командира мало походила на заупокойную:

— Продолжают поступать заявления от инструкторов с требованием отправить на фронт. Легкомыслие, мальчишество! Я не могу иначе расценивать подобный «патриотизм». Фронту нужны сотни, тысячи летчиков. Мы — часть фронта. Погибший офицер Пестряков только за год войны дал фронту более двадцати истребителей. Внушительная цифра! Один подготовил десятки. Я разделяю общую скорбь. Вы сами прекрасно понимаете, что гибель

его ничем не оправдана. Его можно было спасти и нужно было спасти, но тот, кто мог это сделать, — предал товарища, предал командира, а ведь он жил среди нас... Фронт не простит нам неоправданных потерь. Слишком много их там, оправданных. В это жестокое время не может быть ни одного советского человека, не проникнутого чувством личной ответственности за судьбу Родины. Коммунист Николай Пестряков был в этом образцом. Попрощаемся с ним по-солдатски...

Трижды вскидывались винтовки. Трескучие залпы всколыхнули уже по-весеннему влажный воздух.

...Шаронов в воздухе. Последний для него полет перед большой дорогой. Воздушный бой. Цель — истребитель. Шаронов в передней кабине двухместного истребителя. Костя во второй и не мешает Шаронову. «Размахался» Шаронов. Два самолета пытаются зайти друг другу в хвост. Два бывших бомбера проверяют себя. От этой проверки Косте тяжело. Он вспомнил первый полет на УТИ с Шароновым. Роли поменялись: самолеты падают вниз, и летчики плохо следят за скоростью. Когда самолет свечой уходит вверх, тогда долго-долго острый нос «яка» упирается в чистое небо. Летчики уходили из-под удара, петляли, виражили, бесцеремонно бросали истребители с крыла на крыло... Костю кидает в кабине, а то вдруг прижимает к сиденью, и тело становится чужим, удивительно тяжелым... Но тут же сиденье уходит вниз, а ремни давят на плечи. Когда управляешь сам, нет таких перегрузок. Они есть, но слабее ощутимы. Некогда... Костя не мешал Шаронову, потому что Шаронов давно уже не ищет крыльев. Он привык к крыльям истребителя, привык к одному мотору и к этой сумасшедшей скорости. Чудесная пора для инструктора: курсант не делает ошибок! Если бы не эти проклятые перегрузки... Сегодня устал Костя. Шестой полет в зону. У Шаронова — второй. У инструктора нет нормы. Костя устал, поэтому и шлет мысленно проклятие инерционным силам, выворачивающим душу наизнанку. Он мог бы придержать ручку на вертикальных маневрах и уменьшить эти перегрузки, но тогда Шаронов может подумать о другом... Пускай порезвится... Самолеты горкой уходят в высоту. Далека земля. Когда через борт смотришь на ее размалеванную плоскость, она как бы часть совсем другого мира. Хочется походить по этому миру, не чувствуя ужасной тяжести. На земле собственный вес неощутим, привычен, а в воздухе, особенно

на вираже, человек — стопудовая гиря. Если ухитришься посмотреть на себя в зеркало в такую минуту — увидишь чужое, обезображенное лицо с отвисшей кожей. Когда долго смотришь с воздуха на землю, приходит чувство одиночества. Земля далеко-далеко, земля неощутима, и поэтому летчика на большой высоте, кажется, ничто не связывает с ней. Закон тяготения миллионы лет приковывает человека к земле — и вдруг человек нарушил вечный закон! Многотонная масса упорно поднимается все выше, и, кажется, земля совсем не противится этому кощунству! Но это лишь кажется. Земля продолжает следить, а если что-то не так, закон немедленно вступает в силу. Порой земля наказывает страхом, как мать наказывает ребенка, убежавшего слишком далеко. Страх держит ребенка около матери. Пока нет достаточных сил, не вызывай слепо на бой природу...

Истребитель-«противник» промелькнул впереди, сверкнув на солнце. Прибавить полсотни километров к скорости —и цель будет атакована. Скорее бы... Шаронов угадал мысли инструктора, добавил газу и потянул ручку на себя. Мотор взревел, догнал цель, но запасы его мощности были израсходованы, и с этим человек не пожелал посчитаться вовремя. Костя все видел и понимал. Ему не нужно для этого прибора. Он привык чувствовать самолет. Крылья повисли в пространстве, как бы упершись в небо мотором. Ревущие лопасти винта беспомощны. Костя не мешает Шаронову. Высота большая, и незачем вмешиваться в управление. Больно глазам. Мотор задыхался, обессилев. Земля и ее законы пожирали скорость. Земля всесильна. Она подводит своего ребенка к краю пропасти и дает заглянуть в мрачную бездну. Один неверный шаг — и пропасть разинет пасть и сомкнет ее... Самолет висит, вздрагивая сердито, но все еще упрямо. Секунды... крылья качнулись последний раз, и шесть тонн рухнули вниз, подчиняясь только одному закону — закону Земли. Не просто падает самолет, а перебрасывается с крыла на крыло, вращаясь штопором. Земля с чудовищной силой манит к себе: крылья сделали неверный шаг в сторону пропасти. Будешь падать или уже достаточно опыта, чтобы увернуться от гипнотизирующего взгляда бездны?! Ну, ну... два витка, три... Земля отобрала скорость, но скорость вернется, если есть запас высоты. Костя не мешает Шаронову и молча следит за высотой. Нет больше усталости, нет перегрузок. Есть борь-

ба... Шаронов резко двигает педалью, отдает ручку от себя, к приборной доске, и самолет на мгновение застывает, но этого мгновения достаточно: еще одно движение рулями — и крылья уже не вращаются, а скользят спокойно, устойчиво над будто притихшей землей. Борьба закончена...

Самолет плавно коснулся колесами могучего тела земли. Отдых. Голова тяжелая, как у больного. Устал инструктор Коровин, но нельзя показывать усталость. Все же слаб человек. Костя снял парашют и положил руки на крыло. Хочется прилечь, кружится голова. Такого с ним еще не было раньше. Что это, результат трех летных дней подряд или болезнь? Летные дни были насыщены до предела. По пять часов в воздухе... Три раза по пять. Пятнадцать часов в воздухе за три дня! Да еще гибель Коли Пестрякова! Хоронили товарищей и раньше, и такие горестные события не вызывали болезненной реакции хотя бы потому, что в авиации твоя жизнь в большинстве случаев в твоих собственных руках.

Надо уметь встречать неожиданности. Летчик — профессия не обреченных.

А вот усталость... Хотя и существует норма налета на инструктора.

На Костю внимательно смотрел Шаронов и ждал замечаний. «Шприц» должен быть за непроизвольный срыв в штопор. Должен быть, но Костя не думал его ругать. Истребитель «противника» все же был атакован, и если это привело к штопору... Ну что ж, бывает. Выводил Шаронов сам, и выводил правильно.

Не мог Костя сделать замечания еще и по другой причине...

В памяти остался последний кадр: удивленное, почти испуганное лицо старого бомбера...

Очнулся Костя и окончательно осмыслил происшедшее в санитарной части под взглядом Михаила Васильевича. Силы вернулись к нему вместе с сознанием. Он уже не чувствовал усталости, только приятная слабость в теле и холодные капельки пота на лице. Костя встал.

— Ну, пройдемся, поглядим! Выглядишь молодчиной. Сколько налетали сегодня, молодой человек? Ну, жду ответа.

Каверзный вопрос, и задан с умыслом. Теперь врач знает наверняка: превысили всякие нормы. Слаб чело-

век. Михаил Васильевич, видимо, прочитал Костины мысли.

— Слаб. Да, да, слаб человек... Только его слабость совсем в другом. Больше не проведете. Доложу полковнику.

— Война, Михаил Васильевич!

— На фронте, молодой человек, делают по два, реже по три вылета в день. Там люди, видите ли, а здесь лошади, можно шесть, семь...

Костя заискивающе смотрел на врача.

— Не отстраняйте от полетов!

— Увидим, увидим! Подумать только — уже четвертый за два месяца!

Косте легче стало от мысли, что он не исключение. Были еще долетавшиеся до ручки. Из них одного списали с летной работы. Но он не в счет: сам попросил.

Врачи в таких случаях не возражают. Небо — не земля. Опора там — собственные силы.

Тревога не покидала Костю, пока он после медицинской комиссии в городе не увидел в документе: «случайность». Неделю отдыхать. Впрочем, слово «случайность» — штамп. За летчиками следят ежедневно, да и случайного в природе нет. Усталость не определишь прибором, а врачи, пока сам не скажешь, могут не понять сразу.

Костя возвращался в городок, наслаждаясь теплом весеннего солнца.

13

Внешне «як» с английским мотором ничем не отличался от своих собратьев. Мотор прикрыт капотами, с боков такие же патрубки. Винт тот же. Но каждому планеру — свой мотор. Конструкторы двигателей и самолетов работают в тесном содружестве. Иногда они идут на компромиссы. Чаще уступают моторостроители. Подобрать профиль крыла, придать самолету более совершенные аэродинамические формы, увеличить скорость и потолок, разместить оружие, полезный груз, горючее — проблема более сложная, чем создание двигателей.

Мощность двигателя и его габариты должны соответствовать планеру. Мотор «харрикейна» по своим

габаритам соответствует планеру, а мощность... Надо посмотреть в деле...

Поляков тщательно опробовал мотор на земле. В какой раз... Порядок. Потом имитировал взлет. Начинал разбег и, когда скорость была достаточна для взлета, убирал газ и заруливал обратно на стартовую дорожку. Сейчас он должен поднять машину, сделать полет по кругу и произвести посадку. Чего проще?! Если надежды инженеров оправдаются, союзники подбросят моторы и на фронтах уменьшится количество «безлошадных» летчиков.

Последний раз техники «ощупали» мотор. Последний перекур перед необычным экспериментом, зародившимся в учебном центре истребительной авиации. Представитель Москвы сам «пошуровал» газом. Порядок! Слово за летчиком.

По-разному волнуются перед сложным полетом. Одни часто позевывают, пытаясь сохранить на лице беспечность. Другие курят в уединении. Третьи острят и много травят, отвлекая себя от главного... Последние заметней: неестественно бегающие глаза выдают их с головой. Но все это не вызывает болезненных реакций. Летчик готов к полету, а что касается волнения... Оно пройдет, как только крылья окажутся в воздухе.

Человек будет занят сложной работой, когда все подчинено этой работе: голова, нервы, сердце, руки...

Иван курил, но не уединялся. Окружили его плотным кольцом в ожидании полковника. Командир сам будет руководить полетом с земли.

Гирис сказал Ивану:

— Фляга со спиртом будет ждать тебя под матрацем у Федора Федорыча. А вот это пока...

Петр сунул в руку Ивана маленького чертика из пластмассы. Когда надавишь на скрытую в голове чертика пипетку — раздвигаются кривые, уродливые ноги и льется тоненькая струйка.

— Уж не Марина ли подарила?

— Не угадал. Я хотел ей подарить эту уродину, да она не взяла. Говорит, обезьяна такая же, как ты.

— А мне-то зачем? Вроде талисмана?

— Не вроде, а талисман самый настоящий. Сейчас там спирт, можешь циркнуть себе маленько.

Иван засунул чертика в карман комбинезона.

— Может быть, и впрямь...

Кто-то из старых инструкторов рассказывал:

— Ерунда все эти талисманы. В прошлом году здесь был слушатель Лапин. Тоже хранил у себя талисман — слоненка. И летал и спал с ним. На первом самостоятельном полете при посадке разбил самолет. Когда нужно было выровнять машину перед землей — вспомнил про слоненка, хотел пощупать, в кармане ли он, и не успел выровнять... Крылья пополам, фюзеляж тоже. Хвостовой дутик нашли около землянок. Осталась только кабина с летчиком. Больше слоненка не брал с собой. Так-то...

Показалась квадратная фигура полковника. Папиросы побросали в импровизированную урну — железную бочку, стоявшую в «квадрате». Иван доложил, что к полету готов. Последние указания.

— Высота тысяча метров над аэродромом.

— Понял.

— Действуй.

Поляков неторопливо натянул парашют и так же неторопливо сел в кабину. С этой минуты он в полете. Таков Иван! Еще самолет на земле, а в мыслях он уже убирает шасси. И так продумывается элемент за элементом, с опережением. Впрочем, это свойственно каждому хорошему летчику.

Солнце выпрямило лучи. Потемневший снег блестел уже не позолотой, а серебром. Воздух прозрачен, но по горизонту кто-то провел грязной кистью. Мутный горизонт размыт предвестниками теплой погоды — слоистыми облаками. Над аэродромом — светлая голубизна.

Костя завидовал Ивану, но это чувство не было досадным. Сегодня Иван, а завтра он, Костя. Вся жизнь впереди.

— Доброго пути, друг!

Самолет на взлетной. Стартер выбросил флажок в сторону (своего рода семафор). По радио дублируют сигнал:

— Взлет разрешаю!

Тяжелый трехлопастный винт очертил сверкающий па солнце круг.

— Понял! Взлетаю!

Крылья осели ниже к земле, винт рвется вперед. Пока мотор не выйдет на большие обороты, летчик придерживает самолет на тормозах: сокращается раз-

бег и еще раз проверяется работа мотора перед тем, как уйти в воздух. Прыжок... Дутик повис в воздухе. Истребитель набирал скорость. Крыльям нужна скорость, как горючая жидкость мотору. Встречный ветер помогает мотору, крыльям. Самолет в воздухе... С этой минуты крылья повинуются двум силам: скорости и человеку. Мотор продолжает работать на повышенных оборотах. Это слышно на земле. Летчик по радио подтверждает: вынужден идти на максимале. Для сохранения скорости крылья требуют максимальных оборотов. Мотор не может долго работать на таком режиме. Вода не успевает охлаждать стенки цилиндров, а радиатор — воду. Растет температура выбивающегося из сил мотора, падает мощность. Успеть бы набрать высоту, подальше от земли! Сейчас земля — опасный противник. Человеку в кабине становится ясно: для обычного полета по кругу мотора не хватит. Самолет, плавно, осторожно разворачиваясь, с трудом набирает высоту. Пока набирает. Быстрее развернуться нельзя. Большой крен потребует дополнительной мощности мотора, а ее нет. Истребитель «ползком» набрал четыреста метров и жмется к аэродрому. Кипящая вода бурлит в трубопроводах, в радиаторе, между стенками цилиндров, в «рубашках». Мотор задыхается и грозит пожаром. Нет мощности, нет скорости. Остается земля. Если крылья направить к земле, спланировать, скорость можно сохранить без мотора, без винта, но для этого нужны высота и аэродром. Аэродром далеко в стороне, а высоты совсем немного. Стрелка прибора «температура воды» уперлась в стенку корпуса. Трубопровод... Он не распаялся. Он просто лопнул на изгибе, как пузырь. Кипящая вода вырвалась наружу и образовала облако пара. Пар окутал мотор, кабину. Вода залила стекла. Она не могла достать человека, но скрыла землю от глаз. Молчит мотор, и винт застыл на неподвижном валу. Летчик выключил мотор, спасая себя от пожара. Теперь нет неба: крылья, земля и человек. Человек и крылья в единоборстве с землей. Есть еще секунды...

Иван не видит стремительно вырастающей перед носом самолета земли. Тогда он открывает фонарь кабины и чуть высовывает голову. Пар ударил по очкам, обжег лицо. Плевать! Иван не чувствует ожога. Вода успела немного остыть. Земля, как пятнистое чудовище, раскрыла пасть. Иван круто развернулся перед этой пастью в сторону заснеженного куска, подальше от леса. Пар мет-

нулся в сторону, очистив на секунду воздух. Этой секунды для него оказалось достаточно. У самой земли самолет вышел из крена и тут же прижался фюзеляжем к снегу. Сначала не всей тяжестью, а тихонько, как бы пробуя прочность грунта. В нужный момент человек сохранил скорость для крыльев и способность управлять ими! Крылья держат фюзеляж, держат шесть тонн. Еще секунда, и уже не пар, а снег метнулся в стороны, вверх...

...Иван вылез из кабины и приложил к горячему лицу снег. Ничего страшного. Водичка кипела в моторе, а вырвавшись на холодный простор, уже не грозила увечьем. Она грозила смертью, как и земля, но человек оказался сильнее. Притихшие крылья распластались на снегу. Колеса в своих гнездах. Выскочи они из своих укрытий в воздухе перед посадкой — они бы тоже грозили смертью. Снег подтаял под мотором. Внутри мотора что-то продолжало бурлить, потрескивать. Мотор уже не интересовал Ивана. Самолет цел, и этому летчик был рад. Впрочем, слово «рад» не подходит. Трудно измерить глубину чувства, когда человек вновь обретает жизнь, которая должна была вот-вот ускользнуть, исчезнуть...

Иван курил, затягиваясь спокойно, через равные промежутки времени, и смотрел в сторону заснеженного, пушистого леса. Удивительная тишина! И вдруг Иван подумал, глядя на спокойный и величественный лес: жалко было бы нарушить его торжественную тишину взрывом и огнем. Лес так не похож на могилу! Да и все кругом напоминает о весне, о жизни...

Иван взглянул на часы и прикинул: полет длился три минуты. Три минуты! Он смотрел на часы и думал: три минуты — это вообще не время. Это жизнь!

Жизнь...

Долго сидел Иван Поляков на снегу, остывая вместе с мотором. Снег уже не таял под холодными капотами, закрывшими английский мотор. Хороший мотор, но не для наших самолетов. Бог с ним, с мотором!

На лыжах, запыхавшись, подошли полковник, Михаил Васильевич, летчики. Машины остались на дороге, ведущей в лес. Иван доложил:

— Слабоват «англичанин». Тяжела машина для мотора.

И никто не удивился некоторой фамильярности в обращении Ивана к командиру.

— Ну что ж, обойдемся.

Полковник хлопнул его по плечу. И этому не удивились. Полковник — летчик и знает, из какого отчаянно трудного положения вышел Иван Поляков победителем.

Когда командир отошел к самолету, Гирис шепнул Ивану:

— Не забудь, спирт у Федора Федорыча.

На этом прекратилась испытательская деятельность Полякова. Иван, казалось, не переживал ни печали, ни радости. Он снова ушел в себя, «прикрыв наглухо дверь» — по определению Кости. Вечерами он подолгу сидел в каморке Федора Федорыча. О чем они говорили? «Петух», домино, забавные истории уже не являлись для него источником хорошего настроения. Но он не чуждался товарищей. Когда пел Мухин, Иван задумчиво сидел, положив голову на руки. Когда выпивали по маленькой, он торопливо чокался и шел к Федору Федорычу, прихватив и ему стопку. Федор Федорыч рассказывал ему о довоенной жизни. Любил он говорить под хмельком, а Иван любил слушать. Бывало, что Костя с Гирисом присядут рядом, удивляясь Ивану: почему вдруг у него появилась такая философская настроенность? Раньше такого не замечалось в нем. Федор Федорыч — другое дело: возраст, да и поболтать не с кем...

Думал Костя: черт дернул его жену податься на фронт. Сидела бы с дочкой где-нибудь на Урале и не бередила бы душу Ивану. Не сомневался Костя в том, что тяжелое настроение Ивана — от неизвестности. Давно нет писем. Где жена? Где дочка?

Приказом полковника Поляков назначен командиром звена. В тот же день, когда был зачитан приказ, Иван что-то настрочил на листке бумаги и эту бумагу отнес в штаб. Звено не принял. Несколько дней находился в домике и знал только два пути: в столовую и в штаб. Вызывал его полковник дважды. Начальник политотдела тоже. Уже не было секретом, что Иван требовал отправки его на фронт. Ему отказывали. Тогда он написал в Москву командующему. Полковник не мог задержать рапорт.

Однажды, придя с полетов, увидели Ивана в чистой, отглаженной форме с полевыми погонами. И лицо его казалось таким же чистым и отглаженным, и в походке появилась стремительность, плохо сдерживаемое нетерпение. А утром Пыльников сказал перед строем: «Полякова на фронт на стажировку. На месяц».

Никто не сомневался, что Поляков уже никогда не вернется в центр. Останется в полку.

Пять бывших летчиков бомбардировочной авиации (в том числе Шаронов), а теперь летчики-истребители, под командованием Полякова вылетели чуть свет и взяли курс на юго-запад.

14

С отъездом Полякова Костя не мог сразу заполнить образовавшуюся в душе пустоту. Он видел, что Гирису тоже не хватает Ивана. Но Петр быстро распрямил плечи... «Каждому свое время. Успеем!» Но на этот раз Костя не очень доверял его оптимизму. Вечером говорил ему:

— Я думал до сих пор: все, что делается человеком, подчинено разуму и логике. Все закономерно. Все, что создается разумом, управляется им же. А добро и зло? Добро — логично. Добро — потребность души человеческой. Добро — в природе разумного существа. А как же зло?

Гирис прослушал эти сентенции о добре и зле, чертыхнулся:

— Летчик в роли евангелиста! Такого еще не бывало.

Утром следующего дня в учебный центр была доставлена па самолетах большая группа немецких солдат и офицеров. Ночь они проведут в отведенных для них землянках, а потом их повезут дальше. Где-то на берегу Волги лагерь для военнопленных.

— Не много ли чести для них жить на Волге? — Гирис зло сплюнул.

— Для них Волга сейчас хуже Сибири. На ее берегах вся армия Паулюса разбита в пух и прах,— возразил ему Костя.

Гирису и Косте захотелось взглянуть на пленных. Пленные — не зверинец. Просто так не войдешь. В землянке, куда их поместили, была пристройка для вещевого склада эскадрильи. Под видом необходимости быть на складе они решили заглянуть в землянку. Надели шинели вместо курток, почистили до блеска пуговицы, сапоги, «капусты» на фуражках: знай наших!.. Открыли дверь землянки. Теплый воздух ударил в лицо. Натопили здорово, нечего сказать! С десяток немецких солдат сидели на койках. При появлении русских офицеров встали, замерли. Костя смутился. Вообще-то

в любой армии так, но вот сейчас в их позах было что-то рабское и безвольное. И лица деревянные. И все же такая поза — почтительность с примесью страха. Вошли русские офицеры, и солдаты стоят как изваяния. Ну что ж, армия есть армия. Костя слегка подбросил подбородок кверху и хотел пройти по коридору, но Петр придержал его. Пауза длилась несколько секунд. Люди как люди. Ничего особенного. Один еще совсем щенок и стоит не шелохнувшись, пожирая глазами начальство. На пухлых губах простудные болячки. Усталые, худые, серые лица, впалые глаза и посиневшие губы, несмотря на жару в землянке. Прохватило в русских снегах. Френчи старенькие, но аккуратно подогнанные. Знаки различия на местах. Костя остановил взгляд на груди офицера, где висел Железный крест. Офицер стоял в стороне около продолговатого стола. На столе бумага, ручка и непроливашка. Офицер стоял в почтительной позе и тоже пристально смотрел на вошедших. Костя чувствовал себя не просто начальником. Они с Гирисом — это Россия, которая уже вовсю ломает хребет вот таким молодчикам... Впрочем, эти уже не молодчики.

Глаза немца внимательны, но в них нет собачьей угодливости, как у солдат. Скорее, наоборот... Пора пройти дальше, но Гирис продолжал стоять и бесцеремонно разглядывать всех по очереди, не спеша... Случилось совсем неожиданное, чего предусмотреть было невозможно... Четко отбивая шаг, немецкий офицер приблизился почти вплотную к Гирису (Костя уж очень невыгодно выглядел рядом с ним), поднял одну руку вверх перед самым носом Петра и крикнул по-немецки:

— Хайль Гитлер!

Костя растерянно взглянул на Гириса. Гирис невозмутимо сделал полшага к офицеру, взял его вытянутую руку в свою и опустил ее книзу. В голосе чугун, как и в его кулачище:

— Иди в... сволочь! Попался бы ты мне в другом месте...

Никто не посмел сесть, пока Гирис и Костя не прошли и не скрылись за противоположной дверью. Хотелось Косте обернуться и взглянуть на офицера, отпрянувшего в сторону под взглядом этого богатыря, но... черт с ним! Держится еще вера в фюрера.

...Недавно Марина Краснова была в штабе: печатала преподавателям конспекты. Когда не хватало рук, ее, как бывшего секретаря при командующем, приглашали на «прорыв». Там она и слышала разговор полковника с адъютантом эскадрильи старшим лейтенантом Бочкаревым. Марина не любила адъютанта. Слегка тронутое ветром, лицо его было нежным и бледным, серые глаза умны, но холодны. А рот слишком красиво очерчен. На губах выражение снисходительности, когда разговаривает с летчиками, и белозубая улыбка — в присутствии девушек. Опрятен до скрупулезности.

Словом, как говорила Марина, не мужчина, а облако в штанах.

Сейчас адъютант встревожен. Полковник редко вызывал офицеров на конфиденциальные разговоры. Он любил появляться в общежитии, в классах, на аэродроме внезапно, любил говорить так, чтобы все слышали. Даже наказывал порой при всех. И если вызывал к себе...

Марина навострила уши.

— По вашему приказанию явился!

Пауза.

— Являются привидения, старший лейтенант. Офицеры прибывают.

— Виноват!

— Когда окончили училище?

— В тридцать девятом, товарищ полковник.

— И долго летали?

— Два года.

(Подумать только! Марина и не знала, что адъютант был летчиком. Пожалуй, и в эскадрилье многие не знали.)

— Почему бросили?

Опять пауза. Голос Бочкарева стал тише. Марина не видела лица полковника. Любопытно, какое оно сейчас?

— Когда формировали учебно-тренировочный центр, назначили адъютантом эскадрильи.

— А вот тут написано (Марина услыхала шелест перевернутой странички — очевидно, из личного дела), что летали хорошо... Вывод сделан вашим непосредственным командиром. Это соответствует действительности?

— В какой-то степени, товарищ полковник, хотя... Однажды по своей небрежности я подломал на посадке

самолет, ну и... сами знаете: в авиации однажды вот так ошибешься, а потом трудно вернуть доверие.

— Не совсем согласен с этим. А как сейчас настроение?

Марина начала вспоминать: между собой инструкторы подшучивали над адъютантом. Здоров, молод, силен... И, имея такие данные, сидеть в каптерке с летными книжками и ведомостями! Марина знала: ни внешний вид, ни благожелательность, ни заигрывания не спасут летчика от злых шуток, если он, имея пилотское свидетельство, бросил летать. Не спасут от общего отчуждения, от недоверия и прямо-таки от неприязни. Тем более в войну. Не поэтому ли адъютант не распространялся в эскадрилье о своей прошлой специальности?

— Давно не летал, товарищ полковник!

— Группа механиков добралась до неба, да каким путем! Пошли на обман, чтобы летать и драться. Инструкторы летают ежедневно, не жалуясь на усталость. Не мне вам говорить об этом. Пора и вам в воздух. Как думаете?

«Многословен сегодня полковник», — подумала Марина.

— Можно попробовать. Я готов, товарищ полковник!

— Добро, старший лейтенант! Хорошо, что сами пришли к такому выводу. Дела сдадите Клыбе, а сами — в группу Коровина. Хороший инструктор, хороший летчик. Его механики скоро будут летать одни, а это, знаете ли, посложнее, чем вывезти вас, вернуть вам утраченные навыки.

— А потом?

— А что бы вы хотели?

— На фронт. Летать и драться буду, как подобает солдату.

— Хорошо, старший лейтенант, увидим. Свободны!

Марина хорошо знала, что такое «свободны» в устах полковника. После такого заключения всякие вопросы бессмысленны. Бочкарев осторожно прикрыл за собою дверь. В тот же вечер Марина рассказала Петру о решении полковника и, чуть поддразнивая, выразила сочувствие красивому адъютанту. Она, конечно, не ожидала, что Гирис так взорвется.

— Носитесь со своим адъютантом, как... — Петр нехорошо выругался.

— Что ты сказал?

— То и сказал! Моргнет он — каждая из вас готова в кусты... Дуры!

Марина отшатнулась от Петра. Губы ее дрогнули, на глазах появились злые слезы.

— Замолчи! — И, как бы потеряв вдруг голос, тихо, едва шевеля губами, добавила: — Уходи...

— Марина...

— Уходи, говорю!

Бывало, скандалили и раньше. Марина за словом в карман не лезла! Петр сдавался, даже если и не виноват был, но сейчас...

Она понимала: кричи сколько угодно, но не задевай самолюбия Петра.

И тут она всхлипнула. Проверенное средство самозащиты.

Гирис не выносил слез.

На этот раз буря прошла быстро.

Несколько примирительных слов — и Марина прижалась к Петру.

— Бочкарев на Тосю смотрит, как кот...

— Мне в пору за тобой уследить...

— Я о Косте. Он твой друг...

— Разберутся. В таких делах обходятся без посредников.

Костя и Петр по заданию адъютанта были в деревне. (Около сотни домов расположились на берегу реки в непосредственной близости от аэродрома.) Ходили взять разрешение на солому для матрацев.

Обратно шли не торопясь. По весенней, потемневшей дороге уже тяжело ходили сани: на поля вывозили навоз. В санях девушки, горластые молодухи. Мужиков почти нет. Солдаты хорошо знали деревню. Много хлопот она доставляла старшинам. Трудно удержать солдат в казарме. И они уходили, когда разрешали уходить, и уходили, когда не было такого разрешения, на часок-другой, благо и лес рядом... Похаживали и девчата к городку, когда парням улизнуть не удавалось. Встречи кончались скороспелыми свадьбами: командиры разрешали жениться, а порой и убеждали, чтобы избавить девчонку от неприятностей. Росла деревня.

— Говорят, во время больших войн мальчиков рождается вдвое больше, чем девочек. Отчего бы так?

Гирис усмехнулся:

— Ты что-то путаешь. Отчего им рождаться? Мужики на фронте.

— Не все же на фронте, а потом приезжают в отпуск, да и так. Мало ли как! Вон их сколько!

Ребятишки швырялись снежками, катались с горы на самодельных лыжах. Их крики и визг оживляли деревню, и война уходила на время, забывалась.

— Это довоенные, большие.

— Маленьких не меньше. После войны половина солдат нашего гарнизона в деревне останется.

Сани промчались рядом.

— Догоняйте, летчики! Не пожалеете...

Снежок угодил Гирису в голову. Костя поскользнулся на обочине и упал. Смех девчат звенел в весеннем воздухе. Сладко пощипывало сердце. Казалось, это жизнь звенит, бежит по дороге, где полозья саней оставили золотистый след. Косте все кажется светлым, удивительно прекрасным...

Гирис отряхнул шапку:

— Хорошо хоть не навозом!

— Сейчас в деревне навозом не разбрасываются. На вес золота...

На краю села стоял особняком домишко. Домишко небольшой, но с огромным двором, огороженным старым забором. Две березки росли во дворе, и дом казался спокойным, тихим. Дорога шла мимо домика. У калитки стояла старушка и пристально смотрела на проходивших офицеров. Теплый, ласковый взгляд, доброе морщинистое лицо.

— Сынки, у вас в сумках-то револьверы али пустые?

— Не пустые, бабушка! Люди мы военные.

— А можете вы мово борова пристрелить? Огромадный, черт. Одной мне не управиться.

Вот те на! Может, шутит? Да нет. Видно, нет мужика в доме.

— А чего ж! Можно.

— Сделайте таку милость, а уж дальше мы сами...

— Кто это мы?

— Девчата мои скоро придут. Опалить, освежевать сумеем, а вот заколоть — надо мужиков каких ни на есть просить да и самогонкой угощать. Жирно больно...

Костя в нерешительности потоптался на месте и, кося глазами па старуху, шепотом, чтобы та не услыхала, сказал Петру:

— Давай ты... Я что-то в этом деле... Никогда не приходилось убивать...

— А я только и делал в своей жизни, что резал да убивал, — чертыхнулся Гирис.

Старуха, подозрительно глядя на парней, кажется, стала догадываться, о чем те шепчутся, и в раздумье проговорила:

— Али стариков позвать?..

Тогда Гирис решительно сказал:

— Убьем твоего борова, бабка. Где он у тебя?

— Да вот тута же...

Во двор Петр вошел первым. Костя—за ним. Прикрыли калитку наглухо, вытащили пистолеты.

— Я первую, в голову. Ты для гарантии, если надо будет.

— Ладно.

В глубине двора сарай. Старуха открыла задвижку и припустилась бегом на крыльцо дома, за дверь. (Откуда столько прыти?) Косте показалось, что старуха испугалась чего-то.

Боров выскочил из узкой двери сарая и секунду ошалело осматривался кругом, очевидно оценивая обстановку. Удобная секунда была упущена. Гирис залюбовался здоровенным боровом. Монумент... Боров почувствовал недоброе, двумя прыжками подскочил к забору и ткнул его лбом. Дикий кабан — ни больше ни меньше! А может, и впрямь дикий? Забор местами в заплатах, но прочный. Надо думать, борову была известна его прочность. С разбегу он хотел еще раз ткнуть забор лбом, но раздался выстрел. Фонтанчик снега метнулся в ногах животного. Боров пригнул голову и с диким хрюканьем направился в сторону Гириса. Еще выстрел... Это Костя, водя дулом, нечаянно нажал на спуск. Спасительные березы. Гирис и Костя встали за стволы деревьев и выстрелили еще по разу. Боров остановился вдруг, мотнул головой (пуля оторвала ему ухо). Его маленькие глазки искрились бешенством. Еще секунда была упущена для прицельного огня. Кабан заметался по двору, выискивая удобное направление для атаки. Его намерения не вызывали сомнения: боров не спускал глаз с двух человек,

перепуганных не на шутку. О прицельной стрельбе не могло быть и речи.

— Стреляй же, Петька!

— Стреляй, стреляй... Еще старуху пристрелим. Спокойней надо...

Еще два выстрела. Боров казался неуязвимым. Перепуганная теперь уже в большей степени, чем стрелки, старуха выглядывала из-за двери, готовая захлопнуть ее, если боров, не дай бог...

Кабан ударился рылом в дерево, за которым стоял Гирис. На секунду опешил от удара. Гирис перемахнул через забор с ловкостью акробата. Косте ничего не оставалось делать, как последовать его примеру, благо березы росли почти у самого забора. Кабан был цел и невредим. Он опять рванулся к забору, ударил по доскам уже боком.

— Не дай бог пробьет, Петька! Конец тогда...

Выстрел... Опять мимо. На этот раз стреляли через щель забора. Боров взревел, ударил с удвоенной силой по забору. Отлетели доски, в образовавшуюся брешь кабан выскочил на улицу и с победным хрюканьем понесся по ней то галопом, то вприпрыжку и скрылся...

Гирис перебрался обратно во двор и с виноватым видом подошел к старухе.

Старуха все видела, стояла молча, глазами провожая кабана. Вздохнула:

— Придется мужиков каких-никаких просить... — Обернулась к Гирису и, видя пистолет в его руках, насмешливо и спокойно проговорила: — Спрячь ты свой пугач, сынок. От него только треск один.

Костя поспешно спрятал свой и вытащил папироску.

— Понимаешь, мать... пистолет — такое оружие, что даже по неподвижной цели не всегда...

— Неподвижной, неподвижной... А Гитлера как бить будете? Неужто как борова?

— Ну, ну, мать... ты не очень-то! У тебя не боров, а танк. Не берут его пули.

— В нем и пулек-то нет! Я все видела. Вы пульками весь двор утыкали, да вот ухо только... А Гитлер вам зад не подставит. Неподвижная...

Гирису не нравился такой разговор. Он изменил тактику.

— Может, еще чего, бабуся, сделать?

Подхалимский взгляд Гириса тронул старуху.

— Сегодня мужиков попрошу забить треклятого. Приходите свининки попробовать, через недельку и окорочек будет готов.

— Вы с кем живете, бабуся?

— А я ж говорила! Две внучки у меня, комсомолки. Только не вздумайте... Их обижать нельзя.

— Что ты, мать! Разве мы похожи на разбойников?

— Да нет, куда уж... Милости просим!

Когда дом скрылся из глаз, Костя вздохнул с облегчением.

— В деревне нам теперь делать нечего...

— Не пойдем к старухе. К черту ее свинину! По обойме израсходовали. Если бы автомат...

История с боровом неведомыми Косте и Гирису путями проникла в гарнизон. Костя представил себе, какими сочными деталями обрастет она, сколько домыслов, вымыслов... В таких случаях фантазия человека бывает удивительно богатой! Уж лучше бы самим рассказать — так сказать, тактический ход, — но Гирис категорически возразил. Очевидно, он думал о Марине. Авось пронесет...

Вечером на предварительной подготовке к полетам были не только инструкторы, но и курсанты с девушками. К концу занятий майор Пыльников как бы между прочим обратился к Гирису:

— Чего вы там в деревне натворили? Звонил в штаб председатель колхоза. Говорит, детей перепугали.

Гирис стоял застывший, каменный. Костя почувствовал, как немеют ноги. Девушки вопросительно смотрят на Гириса.

— Мы там... это самое... старуха одна, и у нее кабан. Попросила убить, а мы его выпустили...

— Почему стреляли?

— Так убить же просила!

— Ну и?..

— Жалко было...

— Кого? Кабана или старуху?

— Да кабана, будь он проклят!

Косте казалось, что смеялись даже ночью, во сне. Гирис шипел сквозь зубы:

— Чертова старуха!.. Попалась бы мне, ведьма!

В аэроклубе Тося летала на планере и прыгала с парашютом. Маринка только начинала учиться летать. Аэроклуб окончить не успели. Росли они, жили и работали в Москве: Тося — библиотекарем в том же аэроклубе, а Марина уже тогда носила в петличках военной формы два кубаря. Ведущая секретарь-машинистка в ведущем штабе. Судьба неплохо сделала, сдружив Тосю и Марину. Судьбе это было сделать совсем не трудно — хотя бы потому, что с первого дня войны они испытывали одно желание: быть там, где воюют. Еще потому, что обе молоды (Марина старше на три года) и смотрят на жизнь и людей широко открытыми глазами, в которых нет ни лукавства, ни хитрости — может быть, чуть-чуть кокетства все же есть, и лукавства тоже, но они этого не замечали. Подходили они друг другу как нельзя лучше, хотя Марина не только старше, но и крупнее, красивее, и характер у нее круче. Тося против нее незаметная, нешумливая, хотя многие говорили — очень миленькая. Первые дни войны взбудоражили их, но не испугали.

Главную роль в дальнейшем сыграла Марина. У Тоси не хватило бы духу. Начали с рапортов. Полгода выпрашивали направления в военное училище летчиков (где-то был женский полк истребителей, Марине это было хорошо известно). Отказы. Еще отказы. Потом... Спасибо командующему! Марина и раньше говорила Тосе: хороший дядечка. В штабе этого «хорошего дядечку» боялись как огня, да и где в авиации его не боялись!

Направили в учебный центр.

Учились летать с азов. Так велел командующий. Ну что ж! На У-2 они уже летают. Могут уехать в тот самый женский полк, о котором говорят на фронтах. Они завидовали подружкам. Те летали уже до войны, и не просто летали, а завоевывали спортивные рекорды в Осоавиахиме.

Тосе нравился упорный, настойчивый характер Марины. Она во всем соглашалась с ней... почти во всем. Однако это «почти» иногда давало трещину в их отношениях. Не понимала Тося подругу, когда та начинала разговор о любви, об отношениях между парнем и девушкой. Все у нее выходило очень просто, как-то удивительно буднично и неинтересно. Марина то с ожесточением, то в шутку — смотря по настроению — говорила, что все пар-

ни — дурни, только того и стоят, чтобы головы им крутить да дурачить их.

А тут как будто кто подменил привычную шумливую, иногда деланно разбитную подругу. Последнее время Марина часто задумчива, бывает угрюма, что совсем не похоже на нее. Кажется, латыш — не кукла. С ним не поиграешь. К такому выводу пришла Тося однажды, когда у Маринки вырвалось отчаянное: «Люблю, черта лупоглазого, понимаешь? Люблю!» Тося безотчетно обрадовалась такому признанию и простила Марине все ее грехи. А что делать с любовью ей самой, Тося не знала. Не было любви у нее к тому чернявому парню, улетевшему на фронт. Он говорил, что его могут убить на фронте. Она не понимала его. Могут убить и других, но другие молчат и не умоляют о любви. Он улетел, и она не ждет от него ничего. С адъютантом сложнее. Бочкарев к ней очень внимателен. Сначала она думала, что он к Марине похаживает, но когда услыхала от него: «Ничего не требую, просто люблю...» — растерялась. Бочкарев красив и с женщинами знает, как обращаться. Это она поняла больше женским инстинктом. «Ох, девушки, девушки! Вы полны прелести и неожиданности, как май месяц, как весна. А в мае теплый, ласковый ветерок постоянно меняет направление». Запомнила Тося слова адъютанта, запомнила и не раз слышанное «люблю», но оставалась совершенно спокойна. Однажды они целовались. У него нежная кожа на лице и мягкие вздрагивающие губы. Но когда она почувствовала его длинные, цепкие пальцы... «Ничего не требую...»

— Уходи, или ударю! Иди в город, поищи там!

А Маринке говорила в тот вечер со злостью: «Писала рапорты, умоляла, просила... неужели все для того, чтобы вот так проявить патриотизм?..» Тогда она и на Маринку накричала ни с того ни с сего. Долго та помнила Тосины слова, сказанные в запальчивости: «Я плевала на твою фронтовую любовь!»

Все же Марина сдалась первая, притянула Тосю к себе, а Тося, плача, по-детски размазывая слезы, рассказывала Марине, как Бочкарев говорил ей о жизни после войны. Юг, море, Крым, счастье... Рай, да и только! Здорово говорил! А Крым еще в руках немцев. Попробуй освободи его сначала, а потом мечтай... Вот Костя ни о чем таком не говорил. Он больше молчит и смотрит, и ей приятно от его влюбленных взглядов. Тогда в кино... Она

никогда раньше не испытывала такого чувства радости. И совсем не нужно было слов...

Костя больше не придет, он ничего не понял и обиделся, и Тося пыталась успокоить себя тем, что так и нужно. Стоит ли затягивать узелок, который заставит думать больше о благополучной жизни где-нибудь на юге, чем о войне. А может, она не права. Может, любовь — не помеха главному в их жизни сейчас...

Недавно в их комнату заскочил Гирис. Маринки не было.

— Скажи Марине, что сегодня и завтра меня не будет. Будем летать на высоту. Врач живет с нами в эти дни. Следит... Вот, погрызите вечерком! — неожиданно закончил он.

Тося ахнула. В кульке конфеты, самые настоящие «Мишки»! Она не видела их целую вечность. Бог знает, где только он мог их достать! Гирис убежал так же стремительно, как появился.

Тосе захотелось заплакать — неизвестно отчего. Она развернула одну, потом вторую конфету и рассматривала картинки. Сосновый лес и чудесное утро напоминали Подмосковье. Господи, сколько же счастья было тогда! А как они бегали по лесам к речке, как легко дышалось в кругу своих девчонок и мальчишек, в своем родном лесу! Он не такой, как на конфетных картинках, без медведей, ну и что же! А Москва... Москва была для нее целым миром. Ее миром. В Москве вмещалась вся земля, и ничего больше не нужно было. И это совсем не мало, это даже много... Тося все разворачивала «Мишки», и уже не лес, а Арбат перед глазами и его тонкие, узкие, такие старые, такие замечательные переулки.

А что, если сравнить несколько картинок? Неужели все одинаковые? Когда кончится война, они побегут с Маринкой на их заветную полянку. Тридцать минут на электричке, десять минут пешком по лесу. Они выскочат к речке Вонючке (паршивые ребята! И вовсе она не вонючка. Просто вода зеленоватая да лягушек много), сбросят с себя платья и долго-долго будут лежать на траве и смотреть в небо, а потом вдруг спохватятся — и бултых в воду...

Тося не слыхала, как открылась дверь.

— Ты что же это, а?

Тося открыла пошире влажные глаза. Маринка стояла в тумане, и туман никак не расходился. Маринка гля-

дела на пустой бумажный кулечек. Одна-единственная... Несколько картинок разложены на коленях.

Тося растерянно смотрела на них.

— Тоська, и тебе не стыдно? Откуда такая прелесть? Дай хоть одну...

Опомнилась Тося, как во сне, протянула ей конфету и вдруг уткнулась лицом в Маринкины колени.

— Ты чего, глупенькая? Это Костя, да?

— Нет.

Тося всхлипывала.

— Да расскажи толком, в чем дело. Поплачем вместе.

— Петр принес.

— Ну и что же?

— Нам принес, тебе, а я съела... печаянно. Так хотелось домой, хотя бы на денечек.

Марина смеялась, а Тося все никак не могла успокоиться. Только что побыла в своем детстве, только что счастье окружало ее...

— До чего же ты ребенок, Тоська!

— Маринка, милая! Попроси еще раз дядечку! Ведь на У-2 мы летаем. Уехать бы...

— Подумают, что испугались истребителя. Взялись за гуж, так не будем прикидываться слабачками. Это нас зимой придерживают, а летом налетаемся вдоволь и к осени...

У Маринки на минуту затуманился взгляд, но тут же она заулыбалась. Тося заметила промелькнувшую в глазах подруги тревогу.

— Гирис в командировку, как Поляков...

— Когда?

Тося подумала о Косте. Может быть, оба... но спросить не решилась. Марина возилась с чайником у плиты. Говорила она уже спокойно. Трудно дается ей такое спокойствие...

— Сегодня пришло письмо от жены Полякова. Беспокоится. Молчит Поляков, а в штабе не знают полевую почту Ивана. Костя и Гирис тоже ничего не знают.

...Утро следующего дня окончательно утвердило приход весны. Легкий морозец покрывает блестящей коркой снег на поле и дробит его на дорогах и тропках. Солнце еще косо посматривает на землю, пробиваясь сквозь высокую перистую облачность, но к полудню лучи его выпрямятся — и прослезятся крыши, снег плотнее при-

жмется к мерзлой еще земле; потемнеет, сморщится и забурлит под ним вешняя вода, умывая просыпающуюся землю.

Пока утро и мороз — летать. Скоро не взлетишь: колеса будут вязнуть в рыхлом, подтаявшем снегу. Пока утро и морозец — можно.

Истребители рассыпались в небе. Не хватает пространства над аэродромом: много самолетов. Весна командует: летать всем эскадрильям в одну смену. Эшелонируются самолеты по высотам: кто добивает воздушные бои, кто петляет, выполняя фигуры сложного пилотажа. Часть самолетов уходит далеко по маршрутам на часполтора. Несколько дней Костя с Бочкаревым на двухместном отрабатывали взлеты и посадки. Бочкарев умел летать, и перерыв для него не оказался губительным. Еще несколько полетов в зону на пилотаж — и Костя сдаст адъютанта в резерв или на фронт. Это его не касается. Бочкарева могут оставить инструктором — окончательно закрепить навыки, освоить новые типы машин.

Вышло последнее. Об этом полковник получил указания свыше. Бочкарев — инструктор... Ему поручили для начала обучать девушек маршрутным полетам на учебном самолете.

В районе аэродрома Марина и Тося летают самостоятельно, но по маршрутам — пока с инструктором.

Тося привычно набросила на себя парашют, защелкнула замки и уселась в задней кабине. Голова Бочкарева в темном шлеме видна в передней. На коленях у него планшет и карандаш. Взлет, набор высоты, скорость, отход от точки; первый отрезок маршрута, второй — и опять же скорость, высота, курс... Инструктор оценивает каждый элемент полета. Заключительный этап в первоначальном обучении. Казалось бы, ничего сложного: набери высоту, возьми курс по компасу, надави кнопку секундомера на часах и «топай», пока внизу не появится контрольный ориентир (какая-нибудь деревушка с церковью, или развилка дорог, или станция), и бери новый курс. Много их, деревушек, как много станций на железной дороге, — и на карте, и на земле много; они удивительно похожи друг на друга с высоты. На карте прямая темная линия, соединяющая два ориентира, не вызывает сомнений, а в воздухе меняется картина. Курс и время — еще не все. Ветры как сумасшедшие гуляют в пространстве где им вздумается, подчиняясь отнюдь не человеческим законам. Они

сбивают крылья с заданного курса и тащат их в сторону от контрольного ориентира. Надо бороться с ветром и следить за землей, сличая деревушку на карте с деревушкой внизу, на местности. Когда мала высота и земля уж очень быстро уходит назад — ни черта не поймешь, что на ней.

Пятнадцать минут в воздухе... Весна и здесь. Солнце нагревает стекло кабины, небо голубое-голубое, воздух чист и тоже кажется голубым. Земля в пятнах, как в рваных заплатах. Возвышенности без снега: солнце успело согнать. Много заплат, деревни теряются среди них, и не сразу узнаешь, где села, где пятна. А реки еще под снегом.

Курс, угол упреждения на ветер, время. Ручка управления в постоянном движении: болтает самолет. Весенние ветры — добрые и нежные на земле, в воздухе — злые и беспокойные. Порывы ветра бьют по крыльям, по фюзеляжу, по хвосту. Иногда самолет бросает вниз, как в яму. Новый вихрь ударяет по крыльям уже снизу, и крылья взмывают на прежнюю высоту. Стрелка компаса, как и ручка, в движении. Бочкарев прислонил голову к стенке фонаря и дремлет (или делает вид, что дремлет, чтобы подчеркнуть свое полное доверие курсанту и показать, что для него такой полет скучен и однообразен). А может быть, действительно пригрелся на солнышке?

Тосе это не нравится. Время, когда должен появиться контрольный ориентир, вышло, а ориентира — деревушки — нет и нет. Сказать инструктору? Увидеть его покровительственную улыбку и почувствовать, как ручка управления па время уходит из ее рук в более надежные? Ну нет! Не будет контрольного — и не надо. Тося берет новый курс, отсчитывает новое время и летит в сторону своего аэродрома. Двойка за выход на контрольный ориентир, а правильнее сказать, за невыход — обеспечена. Уж если разбираться по совести, да и по правилам, инструктор обязан предупредить ошибку и помочь, иначе какой смысл! Раз нет контрольного, значит, она не знает точно своего местонахождения и, разумеется, не знает, в чем ее ошибка.

Бочкарев продолжает дремать. Тридцать минут в воздухе. Внизу проплыли несколько сел. Но Тося была убеждена, что того пункта, что обозначен на карте жирным кружком, под самолетом не было. Дальше по пути должна быть железная дорога. Она выйдет на дорогу и по

пей определит величину отклонения хотя бы по времени. Величина сноса ей уже недоступна: она не узнает земли. Прошло еще несколько минут сравнительно спокойного полета. Впереди по курсу показался огромный массив леса. На карте много лесов, но по их маршруту не должно быть ни одного. А вот железная дорога должна быть, но ее нет. Страшное слово подкрадывалось издалека, сначала ощупью, и вдруг прочно засело в голове, не оставляя больше сомнений: «блудежка». Сейчас Тося думает не о Бочкареве, который предлагал ей Крым и отдельный номер в шикарной гостинице, а об инструкторе, в руках которого самолет вместе с ними обоими. В авиации страшны две неожиданности: пожар и потеря ориентировки. Тося знала об этом теоретически. При пожаре летчик знает, что делать: пытается погасить огонь и, если невозможно сбить пламя, прыгает с парашютом. А вот когда не знаешь, куда лететь и где самолет в данную минуту, и земля чужая, незнакомая — приходит отвратительное состояние, которое иногда определяется одним весьма выразительным словом: паника! И если вынужденная посадка, то как она закончится и что скажут на земле?

— Товарищ старший лейтенант...

Тося не узнавала своего голоса — он прозвучал откуда-то издалека. Бочкарев поднял голову, осмотрелся. Сначала лениво, не торопясь (Тося не видела его лица, но прекрасно представляла его сейчас), потом движения его головы стали быстрыми, беспокойными: вниз — в кабину на карту, опять вниз — на землю. На карту, на землю, на приборы...

— Когда прошли Демьяновку?

Значит, спал на самом деле. Тосе стало жутко. Демьяновка — деревня, контрольный ориентир, который они должны были пройти и который, в том-то и дело, не проходили. Тося солгала самым бессовестным образом, и это произошло совершенно неожиданно для нее самой:

— Двадцать минут назад...

Бочкарев как будто успокоился, на минуту, не больше.

— А железная дорога?

Вот поэтому, собственно, Тося и разбудила его. Она начинала злиться: глупый вопрос. Была бы железная дорога, плевала бы она и на Демьяновку, и на него, инструктора.

— Вот этого не знаю.

— Как это не знаешь? Растяпа...

Хорошо же, ладно! Она растяпа, но кто он, новоиспеченный инструктор? Тося чуть не плакала и от собственной беспомощности, и от грубого слова. Она умолкла, бросив управление, хотя и хотелось крикнуть ему: не меняй бесцельно курс! Если виражить и бросаться из стороны в сторону — запутаешься совсем, и компас не поможет.

Самолет снизился до двухсот метров, минут пять летал по краю села и выскочил в открытое поле. Нет железной дороги. Бочкарев развернул самолет к аэродрому, на курс, рассчитанный по карте. Если они отклонились слишком далеко от маршрута — курс не поможет. Надо отыскать что-нибудь знакомое на земле, но в таком состоянии, в каком они сейчас оба, и знакомое покажется чужим.

— Старший лейтенант! Наберите высоту! Что мы носимся как угорелые! — не выдержала Тося.

— Сиди уж, кукла, и молчи!

Но высоту он все же набрал. Послушался, и она почти простила ему очередную грубость.

Летели еще минут десять. Небо стало заволакивать рваными облаками. Потускнели краски на земле, и небо только в просветах голубело. Ветер стал порывистый, болтанка сильнее. Еще бы повыше — болтает меньше, — но туда нельзя: за облаками не будет видно земли. Лучше болтанка. Горючего на час, не больше. Далеко они не могли уйти. Самолет не скоростной, учебный, и вместительный бензиновый бак конструкторы предусмотрели, очевидно, вот на такой случай.

На аэродроме беспокоятся. Время их прилета вышло. Разумеется, там не предполагают потери ориентировки (в самолете инструктор), но о вынужденной думают. И правильно делают. Еще немного — и посадка неизбежна. Самолет, к счастью, на лыжах, а ровных мест хоть отбавляй. Странное дело — Тося успокоилась. Может быть, закономерно. В тяжелые минуты две противоположные силы в человеке начинают борьбу. Борьба длится недолго. В воздухе ничего долгим не бывает. Сначала беспокойство, волнение, страх. Эти чувства не подвластны разуму, но инстинкты отступают, и приходит осмысленность. Бочкарев метался в воздухе, пока не вернулся к нему здравый смысл. Вблизи какого-то села он выбрал ровную площадку и начал снижение.

— Берите управление и сажайте сами. Точка выравнивания — край деревни.

Вот этого Тося никак не ждала.

— Поняла!

Вспомнил! Вспомнил, что он инструктор! Тося с готовностью взяла управление. Хоть чем-нибудь реабилитировать себя. Внизу овраг. Увеличить обороты, подтянуть... Овраг позади. Впереди село — два ряда ровненьких домиков и чахлые деревца. Тося замечала все: неровность, кусты на оголенных кусочках земли, выемки, забитые мусором. Немного в стороне остановилась лошадь с повозкой. Человек задрал голову кверху; по улице деревни мчались мальчишки, размахивая руками. Тосе кажется, что она даже их крики слышит... Крылья прошумели совсем низко над домами. Деревня — сзади. Огороженные участки земли проплыли под лыжами. И вот оно, поле! Только бы не бугристая пашня под снегом. Тося убирает газ. Бочкарев не мешает ей — значит, она все делает правильно. Лыжи чиркнули по снегу, отошли от земли, как бы ощупывая поле, и заскользили без прыжков.

Хорошее поле! Надо думать, летом здесь гоняют в футбол...

Когда самолет остановился и Тося увидела спокойное, с хитринкой, лицо Бочкарева, подумала: не пропадешь с ним! Неприязни не стало, и только потому, что Бочкарев в таких условиях доверил ей посадку... И еще мысль: площадку он выбрал классическую.

— Порядок!

Винт хлюпал на малых оборотах. Тося осталась в кабине, а Бочкарев, закурив, пошел навстречу бежавшим от деревни людям. Узнать, что за деревня, найти ее на карте и проложить новый маршрут на аэродром. Далеко ли они? Хватит ли горючего?

Бочкарев разговорился с мальчишками и чему-то смеялся. Вот уж некстати! Какой может быть смех? Не пришлось бы плакать. Бочкарев посмотрел на нее и скрестил руки над головой, что означало: «выключи мотор». Тося щелкнула зажигание. Тишина. Очевидно, дело дрянь, лететь почему-то нельзя.

Ребята окружили самолет, и Бочкарев показывал, объяснял, разрешил им забраться на плоскость. Тося следила за мальчишками и охраняла самолет от их слишком активного любопытства. Ребячьи лица светились таким

восторгом, что Тося забыла все тревоги, связанные со злополучным полетом. И Бочкарев ей нравился. Он так умело разговаривал с ребятами. Никогда бы не подумала, что бывший адъютант, этот сладенький человечек, может быть не только хорошим летчиком, но и таким простым и искренним с ребятами.

— Ну а теперь вот что, герои! Марш к дороге, и смотреть оттуда, как мы взлетать будем, и чтобы ни один... понятно?

Подошли еще двое парней и девушка. Им тоже Бочкарев показал кабину и долго объяснял. Парни смотрели на Тосю, как на чудо: девчонка-летчик! И Тося была на седьмом небе. Потом парни увели мальчишек к дороге.

Только сейчас Тося вспомнила:

— Где мы?

Бочкарев ткнул пальцем в планшет:

— Юрьевка. До аэродрома пятнадцать километров. Мне простительно, ей-богу! Я недавно здесь летаю, но как же ты... Жаль, что улетать надо, а то бы...

— Что «а то бы»?

— Снял бы комбинезон и ремнем, ремнем...

— Ну, знаете ли...

— Я это еще успею. На аэродроме скажем, что отсоединились проводники к свечам двух цилиндров. Поняла?

— Не совсем.

— Чего ж тут непонятного? Не признаваться же в том, что в трех соснах, и даже не в трех, а в двух, заблудились.

— Только я виновата, оказывается! Сами спали...

— Хватит, поехали!

Самолет развернули против ветра. Мальчишки бежали за хвостом. Струя от винта бросала их назад, обдавая снежной пылью. Бочкарев дважды на бреющем прошелся над деревней и передал управление Тосе. Он знал, чем подкупить ее. Сначала вынужденной, когда она сама рассчитывала на посадку, а теперь как ни в чем не бывало: бери управление и иди домой. Только врать ей не хотелось. Доложить бы на земле, как было...

Курс рассчитан на глазок, без учета ветра. Соображай... По крайней мере, теперь он дремать не будет. Прежние страхи улетучились, и Тося находила в происшествии даже комические стороны. Вот уж о чем она расскажет Маринке с удовольствием! А Бочкарев в ее

глазах — другой. Она не знала, что он может быть таким. Совсем недавно, когда он не летал, а был штабистом, Тося видела в нем только блюстителя порядка, пропитанного параграфами устава, и слышала его громкий, требовательный голос. Даже когда говорил ей о любви, оставался адъютантом, избалованным блестящим офицером, не допускающим отказов. Он оставил ее после первого же неудачного натиска и сделал это потому, что был далеко не глуп. Еще бы! Видно, научился терпению и настойчивости. Нет, конечно, вряд ли он оставил мысль... И она угадывала это в его глазах, в поведении, в улыбке. Он смотрит на нее всегда с такой откровенностью, что Тося всякий раз стыдливо отворачивается. Ей кажется при этом, что его глаза как пальцы рук... Тося не замечала, что думает о Бочкареве много и с удовольствием. У него приятная улыбка. Почему раньше она казалась ей сладенькой? Дурацкое слово, совсем к нему не подходит. Видно, человека всегда лучше можно узнать в непринужденной, не скованной служебными рамками обстановке. «Ему больше идет быть летчиком, чем офицером штаба, — улыбнулась своим мыслям Тося.— А все-таки он мог бы быть со мной немного поласковей».

Вот и железная дорога. Рядом была. Две темные полоски ныряли в перелески, отрывались кусками и снова выскакивали, огибая овраги, упираясь в станции с высокими водонапорными башнями, местами образовывали полупетли и терялись на горизонте, в дымке. А вот нетающий дым повис над землей, и коробочки-вагоны, кажется, застыли на месте. Давно ли земля пугала, была чужой, почти враждебной, а вот сейчас все знакомо: и мост через реку с хорошо заметными пролетами, и село с двумя мельницами. Крылья одной лениво вращаются, и можно сосчитать обороты. Почерневшие дороги морщинками уходят от деревни. Между самолетом и землей как бы протянулась ниточка, и Тося чувствует эту ниточку, и еще гордость... Ей кажется, что она — обладательница легких, блестящих и бесшумных крыльев, хозяйка земли и неба, и что она всесильна, и вот так летала бы и летала без конца в голубом небе... И вдруг она подумала: зачем нужны истребители и бомбардировщики? Они врезаются в воздух и гудят, пугая людей, и гул их ужасен — это музыка смерти. А человеку жизнь нужна. Земле нужен мир, и небу — тоже.

Тося вела самолет над стройным парковым лесом,

дальше — поселок. Чистенькие домики, прямые улицы, ползущие машины, повозки. Дети на санках и лыжах, сверкающий на солнце снег... «Достаточно одной бомбы, и ничего этого не будет...» Тося поежилась от этой мысли, отпугнула ее от себя и внимательно смотрела на приближающийся город. Красив город с высоты: десятки труб, сотни огромных, покрашенных весной и солнцем зданий. Тося много раз видела город с воздуха (гораздо чаще, чем с земли) и вновь восхищалась им. Площади светлые-светлые, и улицы блестят лужицами, как серебром.

А вот и аэродром: черная буква «Т» и полосатая «колбаса» на шесте...

Только техник спросил, почему задержались. На аэродроме пусто. Солнце еще не успело растопить снег. Тогда почему кончили летать? Плохой признак. Что-то случилось. Бочкарев тоже обеспокоен. В авиации прекращаются полеты раньше времени в двух случаях: погода и катастрофа.

Солнце по-прежнему светило ярко, и легкий морозец продолжал держать в своих слабых объятиях повеселевшую землю, но тишина тревожная, необычная. Техник сказал: весь народ в клубе. Бочкарев и Тося поторопились туда же.

Строй на улице, перед клубом. На правом фланге — знамя. Перед строем — полковник, начальник политотдела. Тося успела услышать последнюю фразу: «...в памяти навечно!»

Когда строй рассыпался, Марина подала Тосе газету. Свежий номер, московский. Едва взглянув, Тося както помимо воли вздрогнула. С первой страницы на нее в упор глянул Иван. Такие близкие всем черты его лица! Он! Его портрет. Сердце заставила сжаться болью черная рамка... Под рамкой коротко, сухо, сжато: «Юнкерс», спасаясь от преследования советского истребителя, снизился до бреющего полета и продолжал лететь к железнодорожному узлу, где стояли эшелоны с войсками и техникой. Истребитель на большой скорости протаранил вражеский бомбардировщик... Погиб смертью храбрых!»

И еще строчки сбоку фотографии: «Старшему лейтенанту Полякову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза».

Только что ты смотрела на прекрасную землю с высоты, только что ты мечтала о мире, о голубом небе,

о весенней земле. Только что ты, Тося Катомина, была до ужаса девчонкой, мечтающей о любви и о всеобщей благодати...

Нет, небу сейчас нужны не хрупкие крылья птиц, а летающие пушки, снаряды, бомбы и люди... Такие, как Поляков. Не птицы нужны, а люди, умеющие побеждать, даже умирая...

16

Вот когда по-настоящему Костя почувствовал войну. Он ощутил ее как реальную, неотвратимую, враждебную силу. Нет Ивана. До сих пор он никогда не ставил себя и смерть рядом. Погибали товарищи и раньше, и он не считал это противоестественным. Костя при этом рассуждал вполне логично: в полете всегда борьба, и если человек готов к борьбе, значит, обстоятельства отступят и покорятся ему. Так он думал, имея в виду стихию. А сейчас впервые увидел добровольную смерть... ибо таран на бреющем полете — всегда смерть. Таран на бреющем — добровольное дело человека. Никто не мог приказать Ивану сделать это. Нет, это не азарт боя, не слепая злость, которая делает человека на какое-то время невменяемым. Достаточно знать Ивана, чтобы исключить подобное.

Косте трудно. Трудно потому, что он впервые мысленно поставил себя на место Полякова и впервые понял: он поступил бы точно так же. Трудно потому, что так поступить он не может... пока не может. Трудно еще и потому, что и Гирис... Один Костя...

Ничего не изменилось. Жизнь не остановилась ни на секунду. Ее не остановишь. Можно человека превратить в ничто, и для него все будет кончено. Но жизнь — это люди. Земля и люди. Они вечны.

Есть в природе такие цветы, которые растут незаметно, как бы стыдливо прячась от людских взоров, серенькие, с темными стебельками. Но вдруг вспыхивают яркими лепестками и горят, утверждая жизнь вечную. Скрытая энергия вырвалась наружу, взорвалась чудесными красками и нежнейшим запахом и погасла, оставив след в сердцах людей. Вот так и жизнь Ивана...

Гирис отправляется по его стопам и просится туда же, где он свалил бомбера. Он едет драться, он едет мстить. И тоже на месяц, на так называемую стажировку. Начальство поговаривает — не прекратить ли? Если

так будут вести себя все, в учебном центре не останется инструкторов. Обращаются к совести. Подумать только, совести! Человек всегда имеет право умереть, защищая Родину, но это не значит — умирать обязательно всем...

Петька, латыш! Ты ведь тоже можешь плюнуть смерти в лицо. Мне сейчас все равно, к кому обращаться — к богу или к черту. Если есть что-то высшее, от чего зависит твоя судьба, я прошу это высшее сохранить тебе жизнь!

...Костя наблюдал за Павловым. Бывший механик сегодня должен стать летчиком истребительной авиации. Первый самостоятельный полет на боевом самолете. Механики оправдали надежды. Инструкторам пришлось делать с ними вдвое больше взлетов и посадок. В воздухе, на пилотаже, было проще, но посадка — наиболее сложный элемент полета. Надо подойти к земле на минимальной скорости и высоте. Метр за метром определяется на глаз расстояние до земли. Ошибки недопустимы. Легким, точным и своевременным движением ручки самолет выравнивается у самой земли и отдается во власть колес. Если выравнивание произойдет на метр выше и крылья потеряют скорость, тогда разбитые части бесформенной машины отправят на свалку, а летчика в санитарную часть или...

Костя наблюдал за Павловым, понимая, что творится в душе парня. Кончились взлеты-посадки вдвоем с инструктором. Давай, друг, оправдывай свое назначение! Волнуешься? Закономерно. Летчики не привыкают ни к волнению, ни к страху. Они живут с этими чувствами, они привыкают жить с ними. Сейчас волнение, а будет и страх, если что случится с самолетом в воздухе — непредвиденное и опасное. Ты должен быть готов к борьбе. В небе нормальный полет делает человека властелином огромного пространства, и тогда сердце его поет вместе с мотором. Крылья твои и небо твое. Но бывает, что против тебя восстает все: небо, земля и крылья. Тогда держись! Не давай страху делать из тебя ничтожество. Что бы ни случилось в воздухе — борись, руководствуясь здравым смыслом, опытом и собственными силами, и уж если борьба невозможна — оставь самолет, спасайся на парашюте. Парашют доставит тебя на землю целым и невредимым, но и прыжок с парашютом требует силы и смелости.

Внешне Павлов спокоен, даже весел, остроумен, но он весь в полете, мысленно представляет себе все случаи, этапы, могущие быть неприятности... Хорошо, если в мыслях есть не только полет по большому кругу на скорости пятьсот километров в час, но и посадка в поле с неработающим мотором или уход на второй круг при неверном расчете на посадку...

Костя сказал Павлову напутственные слова:

— Постарайся забыть, что один. Ни пуха ни пера! Действуй!

— Есть!

Костя направился к радиостанции. Обычно инструктор сам усаживает своего ученика в кабину, проверяет включение многочисленных тумблеров, в десятый раз повторяет: «Повнимательней» — и уж потом к микрофону. Костя сознательно этого не делал. Курсант, по его убеждению, перед самостоятельным вылетом еще на земле должен почувствовать, что он один, даже на пути к самолету. Лучше по радио напомнить о главном.

Как себя чувствует летчик в кабине, Костя привык определять даже по запуску мотора, по рулению на взлетную полосу. Павлов в кабине снял перчатки и засунул их под лямки парашюта. Костя сам не любил перчаток в кабине. Они мешают чувствовать ручку управления, да и работе с тумблерами и рычагами мешают. Павлов перенял эту привычку у своего инструктора, и Косте оставалось только согласиться. В первом полете Павлов будет во многом подражать инструктору, даже на посадке. Во втором тоже, а потом у него появится свой профиль полета и посадки. У каждого свои способности, свои рефлексы, присущие только ему одному, и когда он начинает проявлять их, тогда в нем более отчетливо вырисовывается летчик. Часто это приводит к увеличению ошибок. Нужно вовремя сдерживать растущее желание блеснуть своим «я». Самолет не любит бахвальства. Слишком самоуверенного летчика самолет может наказать мгновенно, жестоко и без предупреждения!

Захлопнулся фонарь кабины. Очки на глазах. Винт сделал несколько судорожных оборотов. Патрубки выплюнули сгустки дыма, и мотор заработал ровно, весело. Колодок под колесами нет. Осторожно ощупывая дутиком землю, истребитель подрулил к взлетной.

— Прошу взлет!

«Не торопись поднимать хвост. Не давай резко газ...»

Нет, нет! Молчать. Лишняя опека вредна, как и излишняя доброта.

— Разрешаю!

Самолет побежал, дутик все слабее бил по земле и наконец повис в воздухе. Крылья набирали скорость. Гул мотора ровнее, тише, спокойнее. Еще немного... крылья в воздухе. За хвостом легкий дымный след. «Як» похож на снаряд. Небо закрыто грязно-синей облачностью с голубыми прожилками. На фоне облаков истребитель — как на картинке.

— Будем считать, еще один летчик есть. Или рано?

— Рано, товарищ майор.

Пыльников не отрывал взгляда от разворачивающегося в воздухе самолета.

— Спроси, почему молчит?

— Занят, не до радио. Разрешите подождать с вопросом?

— Как знаешь...

Обычно майор на полетах официален, а вот в таких случаях ко всем инструкторам обращается на «ты».

Высота тысяча метров. Истребитель сделал первый круг. Второй заход со снижением до пятисот. Во втором заходе Павлов увеличил скорость и, пройдя над стартом, лихо ушел вверх, крючком.

Начинается свое «я». Рановато...

— 09... ваша скорость?

Пауза. Павлов гасит скорость.

— Четыреста километров. Захожу на посадку!

Остыл немного, но радость полета продолжает бурлить в нем. Истребитель, плавно покачиваясь, заходит на посадку. Шасси выскочило из своих гнезд и стало прочно на замки. Но тормозные щитки на крыльях спрятаны, от этого скорость велика. При такой скорости посадка невозможна.

— Вы забыли щитки! На второй круг! Шасси не убирать!

Старый фронтовик, Пыльников напружинился, как самолет перед взлетом. Костя не отводил от себя микрофон. Мотор взревел, и крылья прошумели над стартом. Сейчас Павлов не властелин вселенной, а провинившийся мальчишка. При повторном заходе перед самым приземлением крылья заметно взмыли кверху. Павлов вовремя придержал их у земли. Два колеса и дутик коснулись укатанного снега одновременно. Классическая посадка.

Костя провел рукой по лицу.

— Ваше решение, товарищ майор?

Пыльников подумал, распрямил плечи.

Костя настороженно ждал. Не было задания Павлову проходить над стартом так низко и на такой скорости, да и лихой разворот над аэродромом (летчики называют его крючком) был неожиданным и дерзким.

— За крючок выговор — для памяти. И для потомства. А так пусть летает. Давай следующего.

— Есть!

...Вечером прощались с Гирисом. На женской половине Бочкарев, Гирис, Костя и Клыба. Клыбу называют «вечным студентом». Не клеится у него с полетами. Завершил две провозные программы с инструктором, а к самостоятельным полетам на истребителе не подошел.

Очевидно, Клыба побаивается истребителя, побаивается большой скорости и земли на посадке. Бывает такое. «Не всякий может быть бухгалтером...» Пыльников думает перевести его на легкий самолет к Мухину, да жаль расставаться с хорошим старшиной. Эскадрилья без Клыбы, по определению Гириса, все равно что колбаса без горчицы.

Клыба и сам понимает свою слабость, поэтому не упирается, отдавая свою судьбу в руки командира эскадрильи.

Пыльников тоже заглянул в комнату к девчатам. Марина и Тося суетятся около стола. На столе закуска на скорую руку и водка. Появление командира никого не смутило — наоборот, внесло оживление. Попросили хозяек закругляться с делами, предлагая свои услуги. Бочкарев, как всегда, аккуратно одет, чисто выбрит; его предупредительность к девушкам обращала на себя внимание. Стоял он недалеко от хлопотавшей Тоси, иногда что-то ей пододвигая, что-то принимая от нее, и без умолку говорил. Говорил, как видно, приятное: Тося улыбалась, смотрела ему в глаза, но украдкой все чаще оборачивалась в сторону Кости.

Костя чувствовал себя одиноко. Он ловил быстрые взгляды Тоси и каким-то внутренним чутьем угадывал, что Тося зовет его, что он нужен ей. Но подойти к ней, заговорить вот так же просто, как Бочкарев, он не мог, сам не понимая почему, хотя по-прежнему был убежден,

что в тот вечер в клубе он для нее был не безразличен, как и она для него. Что же случилось потом? Бочкарев? И как будто в ответ на его мысли, послышался смех Тоси. Костя глянул в ее сторону: Бочкарев не отходил от нее. Ладно! Не до них ему сейчас: на месяц уезжает друг, а ведь теперь месяц как год.

Стаканы налиты. Шумно сели за стол. Гирис в центре, рядом Марина. Она все такая же. Улыбка не сходит с ее лица, только в больших глазах тревога. Гирис поглядывал на нее нежно, чуть тоскливо.

Говорил Пыльников:

— Три наши эскадрильи подготовили полтысячи летчиков фронту. Много. И все же мало. Нужно вдвое, втрое больше. Техника есть, заводские аэродромы забиты самолетами, а летчиков по-прежнему маловато.— Пыльников повернул голову к Гирису. — Таран — прекрасная штука... была. Помню, в одном соединении под Курском погибло восемнадцать летчиков-истребителей. Когда не стало снарядов, били винтами, крыльями. Время было такое. Но если и дальше так-то... Добивать врага будет некому. Хватит слепых ударов! Уж если придется — то с разумом. Ковзун произвел несколько таранов — и ничего: жив, здоров, только глаз потерял. Вот так. Конечно, я понимаю, всякое на войне бывает, но ты знаешь, о чем я говорю...

Гирис, нахмурясь, ответил:

— Я не могу осуждать Полякова! Здесь — инструктор, а на фронте — боец.

— Не так меня понял. Поляков погиб геройски. К этому его вынудили обстоятельства. Не о нем сейчас речь. Инструктора сделать сложнее, чем просто летчика. Командировка тебе не на тот свет, а на учебу. Возвращайся, и будь здоров!

— Спасибо! Вернусь... постараюсь.

Выпили. Майор посмотрел на Марину и в тон Петру проговорил:

— Постарайся... — Опять глянул на нее, хитренько добавил:— Ждать будем!

Тревожно было на сердце у Марины. Но этого никто не видел: как и все, старательно сдирала шелуху с деликатеса — достали сухую воблу, как все, спорила, шумела, пела песни...

Но иногда среди всей этой суеты что-то словно толкнет ее, вскинет глаза — это Петр смотрит на нее, и столь-

ко в его взгляде любви, новой, не бушующей страстью, а тихой, проникновенной. Встретив ее взгляд, Гирис ей одной заметно улыбнется — и опять продолжает разговор с ребятами.

Клыба постучал вилкой о бутылку и нарочито серьезно, как на собрании, попросил:

— Прошу слова!

Все взглянули на него, увидели в его руках бутылку, зашумели громче:

— Дать, дать... — и потянулись к нему со стопками, стаканами.

Клыба разлил водку. Чокнулись с Гирисом.

— Спасибо, друзья! Когда будет трудно, вы будете рядом — и на земле и в воздухе. И вы не забывайте...— говорил Гирис серьезно, даже торжественно. — Давайте выпьем за солдатский оптимизм везде и всюду.

Гирис снял со стены гитару, тронул пальцами струны, гитара нежно отозвалась, и он, импровизируя себе аккомпанемент, речитативом, смотря на Марину, прочитал:

Когда наш писарь полковой
Возьмет мой список послужной
И отошлет его домой
В конверте с черною каймой,
Тогда ты горьких слез не лей,
Конверт тот изорви скорей.
Покойник в жизни весел был
И черных красок не любил.

Потом танцевали в красном уголке. За временем не следили. Завтра полетов нет: аэродром раскис окончательно. Пока не подсохнет — летать нельзя.

Лица раскраснелись, глаза светились радостью. Молодость есть молодость. Даже Марина отогнала свои тревоги и подтрунивала над Костей:

— Смотри, уведут у тебя курносую... — И кивнула на Тосю, танцевавшую с Бочкаревым.

Костя вспыхнул, но быстро справился со смущением и беспечно ответил:

— Поищем некурносых... таких, как ты.

Марина крикнула Петру:

— Гирис, требуется твоя помощь!

Петр отошел от летчиков, шагнул к Марине.

— Хотела смутить Костю. Люблю, когда он краснеет, но сегодня его ничем не проймешь...

Марина уже не думала о Косте, взяла Петра за ру-

ку. Гирис обнял ее... У Марины от этого гулко и больно отдалось в сердце: улетает! Они даже не заметили, как Костя отошел от них.

А Тося все танцевала с Бочкаревым.

«Это же неприлично, в конце концов!» — хотелось крикнуть Косте, но он понимал, как бы его подняли на смех при этом, и решил потихоньку уйти. Бросил взгляд на Тосю: Бочкарев красиво и бережно обнял ее в танце...

Уйти незаметно не удалось. У двери его остановила Тося.

— Костя, подождите... За что вы обижаетесь на меня?

И в юности Костя вспыхивал, когда задевали его самолюбие. Целый вечер они были в одной комнате, и за весь вечер она смогла подойти к нему только сейчас, в дверях. Костя смотрел на Тосю и старался увидеть ту, что была с ним в кино: те же глаза, те же губы (так хочется их поцеловать!), но вся она другая, и слова, которые пришли ему в голову, надо было удержать, но они были сказаны:

— Я не люблю цветы, которые растут у дороги.

Тося продолжала смотреть на него еще минуту, не понимая... Потом ее будто подменили, она вздрогнула, побледнела:

— Никогда не прощу этого!

Она не убежала, а отошла спокойно, только плечи слегка опустились. А Костя думал: лучше бы ударила...

Бочкарев с Клыбой в комнате допивали остатки вина. Тося молча убрала со стола.

— Хватит, мальчики! По домам.

Костя постоял у землянки, не зная, что делать, куда идти... Весна. Казалось, чистое небо излучает тепло. Звезды подмигивают земле, мерцая серебряными лучиками. Ветерок чуть-чуть покусывает кожу на лице. Тихо на земле, тихо и в небе.

Костя пошел к аэродрому, к капонирам. Ему захотелось помечтать, подумать. Потоки весеннего воздуха успокоили, но не исчезло чувство одиночества. За капониром — голоса, почти рядом с ним. Марина с Петром. Костя невольно прислушался.

— Береги себя, вернись! Не будет у меня жизни без тебя. Слышишь?

Марина плачет отчаянно, безудержно. Костя тихонько свернул с дорожки. В ушах все еще ее плачущий голос, поцелуи.

Костя хотел повернуть к землянке, увидеть Тосю. Может быть, извиниться... А вдруг Бочкарев еще там? До чего же ты слабак, Костя Коровин! А еще зовут тебя мастером высшего пилотажа...

— Где же кореш?

Очевидно, Бочкарев тоже мечтал, пока не натолкнулся на Костю. Костя обрадовался: Тося одна...

— А кореш прощается.

— Силен твой друг, лейтенант! Многие с большими погонами заходили в хвост к Красновой. Неуязвима.

— А Гирис в лоб заходил. Так вернее.

— Тогда чего же ты виражишь вокруг Катоминой?

— А может, я обороняюсь!

— Неподходящая это фигура даже в обороне.

— Не помочь ли хочешь?

— Да нет! Я попробую тоже в лоб.

— Желаю удачи!

— Не будем циниками, лейтенант. Девушки подали рапорт с просьбой отправить их в полк ночных бомбардировщиков, на У-2. Они своего добьются, я знаю.

Если бы не Бочкарев, Костя повернул бы обратно в землянку, к Тосе...

17

До войны завод делал мебель. Кому теперь нужны диваны! Сейчас истребителям прорубают вторые кабины для учебных целей. Просят помочь облетать. Необычное дело полковник поручил сначала Косте.

— Я готов, товарищ полковник!

— Действуйте!

Костя прикинул: завод рядом. На облет уйдет немного времени. Его курсанты не останутся бесконтрольными. А о том, что полеты будут на самолете с несколько измененной конструкцией, он подумал не сразу. Новый вариант двухместного истребителя сконструирован в Москве, а осуществлен здесь. Любопытно другое: мебель — и вдруг самолеты! А на кондитерской, поговаривают, снаряды делают. Конфетки, в общем...

Рано утром Костя улетел на завод. Маленький У-2 прострекотал над спящим городом. Пустой город в этот час. Даже на базаре никого. Высота красит город. Прямые, чистые улицы: ни грязи, ни выбоин, ни черных истоптанных панелей. И тишина. Костя летит бреющим.

С этой высоты заметишь кошку на дороге — так спокойно в утреннем прозрачном воздухе.

На заводе Костя не был, потому что завод — в двух километрах от собственного аэродрома, сделанного по требованию войны. К аэродрому ведет асфальтированная дорожка, по которой из цехов катят самолеты. На заводе был свой летчик-испытатель. Сбежал на фронт. Так часто говорят о людях, правдами и неправдами добившихся отправки на фронт хотя бы и в качестве стажера.

Костя осмотрел аэродром. Собственно, это даже не аэродром, а площадка, пригодная для взлета и посадки. Ошибок в расчете делать нельзя: места не хватит. Около небольшого ангара стоит новый самолет, поблескивая свежей полировкой. Молодцы мебельщики! Кончится война — и опять кресла с диванами...

Встретили Костю приветливо и по-деловому. Два часа ушло на изучение кабины. Инженер рассказал, что сделали с центровкой самолета и что изменилось в нем, когда появилась вторая кабина и дополнительный груз. Как будто ничего особенного. В испытательном полете в задней кабине вместо человека на сиденье будет мешок с песком весом восемьдесят килограммов. Одноместный истребитель подобного типа Костя уже давно освоил у себя и все же, когда вырулил на взлетную полосу, остро почувствовал: он первый летчик, которому предстоит поднять в воздух самолет, только что доставленный из цеха. Немножко тревожно и радостно. Мощный звездообразный мотор сотрясал воздух глухим, барабанным рокотом. Самолет легко оторвался от грунта и круто ушел вверх. Костя забыл о второй кабине. Самолет послушен, но чаще заставляет работать триммером рулей высоты, снимающим давление на ручку; вторая кабина несколько изменила центровку. Так должно быть. Передняя кабина у этого истребителя сшита по заказу: уютно и не очень тесно. Когда самолет теряет скорость, задирая нос, на передней кромке крыльев показываются «лопухи». Так летчики окрестили предкрылки. Они выравнивают потоки воздуха, обтекающие крылья, и позволяют «висеть» на малых скоростях. И поэтому самолет труднее ввести в штопор. Он не боится штопора. Для воздушного боя — прекрасная машина. Самолет слегка покачивается, как на волнах. Стоит увеличить скорость — и «лопухи» прижимаются к крыльям. Теперь лети хоть на максимальной — не выскочат.

Три тысячи, четыре, пять... На этой высоте надо проверить показания приборов, дать успокоиться мотору: пока самолет набирает высоту, мотор вводит в действие все свои лошадиные силы. Устает от больших оборотов. Следующий этап — максимальная скорость. Если и при этом машина будет вести себя прилично, по-человечески, тогда два комплекса фигур сложного пилотажа. И все. Конец на этом. Новый учебный истребитель будет готов к путешествию на военные аэродромы.

Костя выбирает хорошо заметный на горизонте ориентир, дает мотору полные обороты: пятьсот километров в час, шестьсот... Тело прижимает к сиденью. Порядок! На такой скорости всегда появляется желание потянуть ручку на себя: самолет круто уйдет вверх, потемнеет в глазах от сумасшедших перегрузок, кровь прильет к ногам, а сердце — умнейший автомат — будет регулировать потоки крови, задержит, притормозит... Сердце у человека хрупкое, нежное, чувствительное. Оно стучит громко, неровно, предупреждая о своих ограниченных возможностях. К счастью, перегрузки так же быстро проходят, как и появляются. Истребитель ложится носом на горизонт в спокойном полете. Самолет в твоих руках. Делай с ним что хочешь. Отличный запас скорости заставляет его повиноваться малейшему движению ручки. Пока запас есть...

Если все будет нормально, Костя займется любимым делом — фигурами. Летчика-истребителя не увлекает максимальная скорость, в горизонтальном полете он ее не ощущает. Что в ней толку в таком случае! Разумеется, речь идет не о боях, где скорость имеет особую цену...

Семьсот километров, семьсот пятьдесят... Еще немного. Можно опустить нос и попробовать со снижением наскрести лишних полсотни километров, но такая попытка — нарушение задания, да и ни к чему она. Винт вращается на пределе и дальше уже будет служить тормозом движению самолета. Пытаться в таком случае увеличить скорость бессмысленно. Самолет слегка задирает нос кверху — самовольно. Его одноместный собрат такого желания на большой скорости не испытывает. Значит, вторая кабина изменила аэродинамику самолета. Ручка становится тяжелой, но удержать ее можно. Костя уменьшает скорость, разворачивается и начинает думать о невидимых продольной и поперечной осях самолета. Вираж... Тонкие воздушные струи туго свитой веревкой

срываются с концов крыльев. Завихрения настолько значительны, что видны с земли. Ноги не оторвешь от пола кабины. Не хватает сил. Голова вдавливается в плечи. Глаза трудно держать открытыми. Земля, серая огромная заплатанная плоскость, уходит куда-то вверх. Тупой капот самолета режет ее надвое. Солнце бьет по кабине сбоку, почти снизу, бьет по глазам. Больно от таких ударов. Минутная передышка...

Переворот через крыло. Самолет падает. Знакомая скорость: семьсот. Ручка на себя. Капот упирается в небо и, вращаясь, описывает в нем воронку. Костя чувствует отвисшую челюсть и туго натянутую кожу лица. На веках свинцовые грузы... Петля, переворот, бочки... Хватит. Штопор... Держись, «лопухи»! Костя убирает обороты, задирает нос, теряет скорость. Крылья мелко дрожат. Потоки воздуха беспорядочно обтекают плоскости, фюзеляж, кабину. Тысячи воздушных фонтанчиков судорожно снуют по всему напряженному телу самолета. «Лопухи» выскакивают вперед. На время самолет как бы притих, успокоился. Он пытается образумить человека. Костя слышит, как защелкали предкрылки, предупреждая об опасности. Мотор слабо вращает винт, как ленивый и слабый ветер крылья мельницы. Сейчас винт — ничто. Только крылья и скорость. Двести километров, сто восемьдесят, сто пятьдесят... «Лопухи» дрожат вместе с крыльями. Они кричат: «Хватит! Наши возможности тоже ограничены...» Капот слабо пошатывается, крылья переваливаются из стороны в сторону, ища опоры. Опоры нет. Скорость падает. Сто тридцать... Костя чувствует каждый толчок фюзеляжа и лихорадочную дрожь крыльев. Дрожь передается и его телу, но не рукам. Рука держит ручку управления взятой на себя. Если ее отпустить, самолет не войдет в штопор. Человек начинает борьбу со своим творением. Предкрылки оправдывают данную им кличку: бьют «лопухами» по крыльям, нервничают. Самолет застыл на мгновение и вдруг рухнул вниз всей своей массой. Земля, вращающийся диск, притягивает как магнит... Неба нет, только земля. Два витка, три... Ручка пытается вырваться вперед! Ручка сейчас всесильна. Она — единственная сила в борьбе со штопором. Костя прочно держит ручку, прижимая ее к замку парашютных лямок на животе. Костя спокоен. Штопор давно перестал внушать ему страх. Страх был раньше, еще в школе...

Однажды на планере, взлетевшем с вершины большой горы, оборвался трос к рулю высоты. Хрупкие крылья взметнулись кверху. Вихрь восходящего потока положил планер почти на спину. Тогда был страх. Но тогда-то Костя и стал летчиком. У самого подножия горы он вывел планер из опасного положения, но предотвратить аварию не смог. Планер упал, а Костя с трудом выбрался из-под обломков. Превозмогая боль в позвоночнике, он смотрел в небо как победитель, как хозяин... Небо не испугало, утвердило его в решении летать...

Семь витков, восемь... пора. Ручка идет стремительно вперед, педаль — против вращения самолета. На одну секунду истребитель застыл в пространстве — как бы в нерешительности. Для человека этой секунды достаточно. Еще движение рулями—и самолет снова в спокойном полете.

Нет, не полет страшен и не штопор. В авиации страшна неожиданность. И летчик — это прежде всего способность противопоставить себя любым неожиданностям...

О том, что сорвало фонарь во второй кабине при выводе самолета из штопора, Костя узнал не сразу. Фюзеляж бросило в сторону, но с этим было бороться нетрудно. Крылья обрели на пикировании скорость и должны быть послушны, но они упрямятся, не выходят из пикирования. Тогда Костя понял, что сорвало не только фонарь, но и предкрылок с одной плоскости. Самолет продолжает падать неровно, судорожно. Высота тысяча метров, восемьсот. Сейчас главное — вывести самолет из пикирования. Пятьсот метров... Костя не видит земли, он и не хочет ее видеть, потому что боится земли. Земля грозит... Он берет ручку на себя и дает винту полные обороты. Мотор расколол свистящий воздух, оглушил небо и вырвал самолет из угла пикирования. Вот теперь терять скорость нельзя: земля рядом, предкрылка нет (уж лучше бы оба сорвались с кронштейнов).

Костя осторожно подвел самолет к посадочному курсу...

Встревоженные инженеры окружили его, едва он ступил на землю. Костя улыбнулся неожиданно для самого себя. После полета он всегда чувствовал приятное спокойствие, граничащее с радостью. Особенно остро сейчас, в эти минуты... Испытатель!

— Отлично! Все хорошо. Усилить крепление фонаря и предкрылок.

...Костя нашел их у могилы Коли Пестрякова. Примерно такой он и представлял себе жену Ивана, хотя она и мало похожа на свое фото, которое в редкую минуту откровенности показывал им Иван. На карточке она веселая, смеющаяся, с толстой косой, переброшенной на грудь, в светлом платье. Сейчас перед ним женщина с полевыми погонами капитана медицинской службы, нервно стряхивающая пепел папиросы в консервную банку. Тугой узел волос не скрывает редкой, но уже заметной седины. Тяжелый, грустный взгляд. Марина — рядом с ней. Видно, обо всем уже поговорили и сейчас молчали. Почему они решили, что могила Пестрякова — удобное место для беседы? Случайно? Или потому, что вот такой могилы у Ивана нет?.. У Ивана вообще никакой могилы нет. От этого хуже... Только не утешать... И он просто представился:

— Коровин.

Маленькая, подвижная рука, как у Тоси...

— Я хотела видеть вас, его друзей...

Не сдержать ей слез. Женщина остается женщиной, даже если она капитан.

Костя присел рядом.

— Мы сами не можем привыкнуть, что его нет. Из училища мы ехали на фронт, а попали сюда инструкторами. Он очень переживал разлуку с вами и мечтал о фронте...

Не очень последовательно говорил Костя, даже сумбурно, но, кажется, никто этого не замечал, даже он сам...

— Я знаю, он хотел на фронт, хотел...

Помолчали. Потом вдруг она как бы преобразилась, вскинула голову, посмотрела на Костю, и он не сказал бы, что этот взгляд был ему понятен: слезы, тоска, гнев и лихорадочное возбуждение. Она почти крикнула:

— Но ведь то, что он сделал, — самоубийство! Вы-то понимаете это?

— Мы называем это подвигом, Галина Алексеевна.

— Кому нужен такой подвиг? Мне? Его дочери?— Закрыв лицо руками, она уже не сдерживала слез.

Костя притронулся к ее плечу.

— Гирис, его друг, тоже уехал на фронт. Каждый месяц мы отправляем на фронт даже тех, кто больше нужен здесь. Война... Разве вам это непонятно? Вы же и сами...

— Я не о войне говорю. Вы знаете, о чем я говорю.

Марина укоризненно взглянула на Костю, хотела что-то сказать, но Костя продолжал несколько запальчиво, но почтительно, почти извиняюще.

— Я уверен, вы сами считаете, что его поступок — подвиг для вас, и для вашей дочери, и для того эшелона, вблизи которого он пошел на таран. Война, в общем, будь она проклята...

— Он обещал беречь себя... Я все понимаю, и все же... Это пройдет. Вы правы...

Голос ее уже тише, мягче. Марина обняла ее за плечи.

— Все... Жаль, что могилы его не знаю.

Она как бы распрямилась. Вот такая она, вероятно, там, у себя в госпитале. Женщина-солдат... Еще поплачет, только теперь уж одна.

— Найдем... После войны к нему будут ходить тысячи.

На могиле Коли Пестрякова поправили чуть поникшие цветы, постояли молча и тихо пошли к дороге.

Дойдя до своей землянки, Марина вдруг проговорила:

— Мы уезжаем, Костя! В полк.

— Петр знает об этом?

— Знает, но не думает, что так скоро. Заходи вечерком. Галина Алексеевна уезжает завтра.

— Пожалуй, мне будет трудно одному...

Костя сказал это, стараясь не показать своих истинных чувств, своего тяжелого настроения, которое овладело им внезапно, неожиданно. Он поторопился сказать Галине Алексеевне:

— Я не умею выразить вам своего сочувствия, но, поверьте, мне хотелось бы в вашей памяти остаться другом, другом Ивана... — И, чуть запнувшись от неуверенности, правильно ли его поймут, договорил: — Вашим другом...

Галина Алексеевна улыбнулась ему немножко смущенно:

— Всегда буду рада вам. Я немного раскисла, не обращайте внимания.

Косте подумалось: много их, вот таких женщин, оплакивают мужей, и они в своем горе похожи друг на друга.

Галина Алексеевна, не использовав отпуска до конца, возвращается в госпиталь, на фронт. Больше ехать ей некуда. Ни мужа, ни дочери, ни матери. Только война.

В домике Костя продолжал думать о ней, об Иване... Жизнь и смерть сейчас выражаются одним словом: война. Грань между ними понемногу стирается. Человек живет сегодня, думает жить завтра и много лет. Но он может умереть сегодня, может умереть завтра. И все-таки когда приходит смерть, трудно осмыслить, что нет человека и не будет его никогда! Косте трудно представить Ивана мертвым, как трудно представить мертвым себя.

Мысли Кости путаются... Перед ним проплывают лица Марины, Галины Алексеевны, Тоси... Даже мысль о Тосе не вызывает в нем прежних чувств. Девчата верно делают, что уезжают. Стоит ли тратить еще год, чтобы научиться летать на истребителях, когда У-2 воюют, те самые У-2, которые были предназначены для первоначального обучения летчиков и для сбрасывания листовок. Теперь они сбрасывают бомбы. В добрый путь, Марина! Не забыла ли ты из своего мешочка счастья отсыпать немножко на случай?.. Нет! У тебя не должно быть «случая» — ты любишь Петра. Добрый путь и тебе, Тося! Может быть, встретимся после войны. Интересно, какая будет эта встреча? Может быть... Так и не представил Костя, как же может быть... Уснул.

С рассветом Костя и Бочкарев заступили на боевое дежурство.

И здесь нет мирного неба. Установлена «боевая готовность» на истребителях днем и ночью. Дежурят инструкторы. В городе военные заводы. Дальше на восток — еще город на Волге, где «пекут» танки. Лакомый кусочек. Бомбардировщики дважды делали налет на город танкостроителей...

Посты ВНОС (пункты наблюдения) сообщили: два «хейнкеля» идут курсом к городу на Волге. Костя и Бочкарев на «яках» вылетели наперехват. Не стало мирного неба и здесь. Едва убрали шасси, у Кости мелькнула мысль: может быть, сейчас будет открыт счет расплаты за Ивана? Первый боевой вылет...

По радио передали: поднимают еще звено и отправляют к дальним рубежам перехвата. Как пойдут бомбардировщики — неизвестно. Они маневрируют. Они могут менять курс по своему усмотрению. Звено «киттихауков» пойдет к городу на Волге. Они могут летать долго, горючего вдоволь. «Яки» лишены такой возможности.

В ста километрах от аэродрома Костя с Бочкаревым натолкнулись на двух «хейнкелей». Разведчики. Бомберы, как видно, не рассчитывают на приличный заслон в тылу фронта: летят на высоте трех тысяч метров. Опасная для них высота. Так близко Костя видит их впервые. Широкие крылья, мощные моторы и еле заметный инверсионный след сзади. У них сильное вооружение и четыре человека в экипаже. Плевать! Бочкарев немного сзади от Кости и в стороне. Поймут ли они друг друга? «Держись, адъютант!» А вслух Костя скомандовал:

— Атака по головному с двух направлений! Бери на себя стрелков, а я — по моторам!

Легко сказать — по моторам. Мало двух истребителей для таких крепостей.

Костя не думал о страхе. Страха нет, но от волнения легкая дрожь в ногах, отчего вибрируют и педали. Может быть, это и есть страх?

— Понял! Атакую сверху.

Умница адъютант! Сверху сложнее, но и вернее.

— Ближе к хвосту! Там стрелки! — скомандовал Костя.

— Понял!

Второй бомбардировщик от первого в двух-трех километрах, газует на помощь. Не ждали истребителей, а то шли бы в плотном строю. Успеть атаковать первого, позже труднее. Расстояние от бомбардировщика Костя определил по сетке прицела. Километр. Жизнь длиною в километр. Жизнь длиною в три-четыре секунды! Скорости двух самолетов превращают километр в секунды. Огромен бомбер с крестом на фюзеляже...

Костя приник к прицелу. Бить только с близкой дистанции, наверняка. На левой плоскости его истребителя показалось рваное отверстие. Снаряд прошелся и по капоту, сорвав его с одной стороны мотора. «Сейчас, сейчас... Еще секунда — и пойдут снаряды с борта истребителя: оборот винта — снаряд, оборот — снаряд!..» — шептал Костя бессознательно, ожидая второй очереди бомбера.

Желтое брюхо бомбардировщика закрыло часть неба. Если открыть сию минуту огонь, можешь не попасть по кабине. Еще немного... Старенький прибор «Пионер» в кабине показывает крены и скольжение на развороте. Сейчас он уже ничего не показывает: разбит в куски. Метко бьют, сволочи! Пробито стекло фонаря. Костя не

чувствует встречного потока бешеного воздуха. Что делает Бочкарев? Мгновенный взгляд в сторону. Бочкарев выпустил длинную сверкающую нить снарядов. Вот потому-то не было второй очереди по самолету Кости с борта бомбардировщика: стрелки переключились на Бочкарева. Пора... Если еще промедлить секунду, истребитель не успеет отвернуть от бомбера, и тогда будет то, что сделал Иван... Палец утопил кнопку пулеметов. Бомбардировщик качнулся, взмыл кверху. Трассирующая дорожка скрылась в его фюзеляже, в моторах. Бомбардировщик перевалился на нос и тут же на спину...

Чтобы знать, что такое белое, надо видеть облака сверху. А чтобы знать черное, надо видеть горящий бомбардировщик. Если к черноте добавить огонь — увидишь ад. Бомбардировщик падал горящим чудовищем, колыхаясь в пространстве, и Костя с трудом верил, что это его работа. Встречный поток воздуха гнал к солнцу черную, зловещую дорожку дыма. Дым еще висит в небе. Он будет висеть, пока самолет не врежется в землю. Второй бомбардировщик круто развернулся на запад и скрылся за грядой облаков. Бочкарева нет... Вот когда пришел страх. Где он? Совсем рядом еще одна дорожка — узенькая, прощальная — разрезала небо надвое. Истребитель Бочкарева падал в огне. Работа стрелков бомбера, теперь уже покойников. От горящего истребителя отделился темный клубок. Белый гриб парашюта вспыхнул внизу и застыл в воздухе. Бочкарев... Нет страха. Он исчез, как и появился, только лицо мокрое. Жарко, несмотря на удары холодного воздуха. Слегка подташнивает, хочется прилечь на землю. Земля далеко еще. Бочкарев будет на ней раньше. Его истребитель с пустой кабиной нырнул под сгусток облаков, окрасив их сажей...

Костя поднял очки на лоб, на секунду прижался головой к холодному прицелу и с трудом развернул израненный, вздрагивающий «як» в сторону аэродрома.

18

Земля и небо Украины. Земля вспахана не плугом — снарядами, бомбами, порезана гусеницами, удобрена человеческими телами, кровью, пеплом. Небо гудит моторами, и в дымном воздухе не пение птиц, а пулеметный треск. Гирис видит войну собственными глазами. Если придерживаться буквы приказа, месяц, отпущенный ему

на стажировку, очень короткий: облет района, постепенный ввод в строй, в первых боях охрана, организованная товарищами. Так бывает в большинстве случаев, но с Гирисом было иначе.

Когда летчики увидели его в воздухе, буква приказа отступила. Умение летать чисто, грамотно, с особым, свойственным инструкторам почерком, гармонировало у него с дерзостью, стремительностью, внезапностью. Его не нужно было вводить в строй. Он давно в строю.

Летал Гирис на «лавочкине». Ему по душе был басовитый рокот мотора и способность самолета свечой уходить вверх, жадно пожирая высоту. Широкий капот закрывал часть неба впереди, но это не смущало его. Истребитель не ходит по прямой, у него другое назначение: крутись, ищи, находи и бей! Если тебя найдут первым — дорога одна: на тот свет.

Все же десять дней пребывания на фронте и для Гириса прошли почти впустую: несколько боевых вылетов на сопровождение своих бомбардировщиков и штурмовиков. И только. Противник не попадался. Враг осторожен. Война в такой фазе, что немцам не до бреющих полетов. Все чаще в небе стали появляться новые немецкие истребители — «фокке-вульфы». Самолеты напоминали «лавочкиных». Те же крылья, тот же широкий нос с мотором воздушного охлаждения и та же способность быстро набирать высоту. Летчики, дравшиеся с «фоккерами», говорили: хорошая машина, ничего не скажешь. Но на «лавочкине» сильнее мотор, и на вертикальном маневре он был господином. Гирису хотелось самому встретиться с «фоккером» и узнать, что же это за зверь и почему о нем так много говорят и пишут.

Такая возможность наконец представилась. Днем за облаками воздушная карусель продолжалась около десяти минут. Шесть «лавочкиных» и столько же «фоккеров». Сначала обе стороны присматривались осторожно, с хитрецой: виражи, боевые развороты на почтительном расстоянии друг от друга. Потом для Гириса началась настоящая стажировка. Отвратительное слово! В боях не стажируются. В боях дерутся. Слово «стажировка» пахнет чем-то мирным, автомобильным. Ну да черт с ним, с этим словом! Внизу Украина. Не «берги» и «бурги», а Украина, все еще занятая врагом. Попробуем боевую вертикаль. Держись, мотор! Твои раскаленные цилиндры охлаждает воздух украинского неба... Гирис напряг свое

крупное тело (тесна кабина, тесна), подвинул сектор газа вперед к упору и, подставив одному из «фоккеров» хвост, потащил его на высоту. «Фоккер» принял бой. Гирис завалил свой самолет на крыло, двинул педалью так, что «лопухи» захлопали по крылу. Не сбавляя газа, самолет пикировал, пока струи воздуха не образовали за крыльями воронки; тогда истребитель пошел круто вверх по восходящей спирали. В глазах от перегрузок появились знакомые зеленые жилки. Слаб «фоккер». Он побыл в прицеле одну секунду и, прошитый снарядами, перевернулся на спину и вошел в свое последнее пикирование. Второй «фоккер» ревел мотором и хотел пристроиться к его хвосту. Товарищи видели, предупредили по радио. У летчиков тоже есть шестое чувство, и все же спасибо хлопцам. Нужно повторить знакомый, уже испытанный маневр, но пикировать больше нельзя: «фоккер» начеку. Ну что ж... «Лавочкин» сделал две горизонтальные бочки. Выпущенная по его самолету первая очередь прошла мимо. Вторая может не пройти. Гирис резко ввел самолет в вираж. Этого немец предусмотреть не мог. На вираже самолет Гириса оказался сзади. И второй «фоккер» побыл в прицеле не более секунды. Пламя у него почему-то вырвалось из кабины. Где же у них бензиновый бак? Может быть, летчик сидит на нем? «Фоккер» горел в воздухе на высоте пяти тысяч метров. Вряд ли от него долетит что-нибудь до земли.

Бой кончился. Недосчитались и одного «лавочкина». Парашют не помог. Гирис не видел гибели летчика: видеть всю картину боя он еще не мог. Для этого нужно побыть в боях не один десяток раз.

После этого боя бывалые воздушные волки стали смотреть на него как на равного. В этом бою из трех сбитых «фоккеров» два — его, Гириса. Первый орден...

Гирис не мог толково объяснить, что он делал в воздухе, хотя и прекрасно отдавал отчет в каждом движении рулями. Самолет реагировал на его команды с быстротой его мысли. Но как объяснить на земле и вместе с тем узаконить новый, придуманный им тактический прием на новом, по существу, самолете? Надо еще летать и драться!

Летать и драться!..

Два дня затишья. Валялись на теплой земле под крыльями истребителей, рассказывали анекдоты, вспоминали девушек и тот далекий мир, который только теперь и на-

учились ценить по-настоящему. Вот уж поистине: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».

Пустые дни оттягивают возвращение того далекого мира и расхолаживают людей. Маринка... Он почти физически чувствует ее ласки, ее губы, ее горячие руки... Холодом повеяло от мысли, что Маринка в таком же пекле, как и он. Но ведь он мужчина, а она... И тут же усмехнулся. Дай бог другому мужчине быть таким, как его Маринка!

В такие тихие дни Гириса одолевают мрачные мысли. Не в его характере отлеживаться...

— Товарищ командир! У меня ограничено время пребывания у вас. Возьмите...

Командир не мог отказать смелому и настойчивому латышу, хотя на «свободную охоту» улетали только старые, опытные летчики. В таком полете нет определенного задания, определенного маршрута, высоты, курса. В самолетах полный запас горючего и боеприпасов. Цель полета — искать врага на земле и в небе. Где попадется. Бывает, что полет ограничивается разведкой. Значит, добыты сведения, необходимые наземному командованию. Тут уж не до боя!

Рискованны полеты на «свободную охоту», но всегда оправданны.

...В ста километрах от своей базы командир и его ведомый Гирис заметили признаки полевого аэродрома: по краям ровного поля пятна зелени — капониры. Ближе к лесу — яма для цистерны с горючим, прикрытая маскировочной сетью. Гирис не смог бы обнаружить немецкий аэродром, но командир летает с начала войны. Чтобы убедиться в своих предположениях, снизились до шестисот метров. Капониры прижаты к кустарникам; палатки и блиндажи прикрыты сетями. С высоты — мирная картина, и самолетов нет, а вот с бреющего заметишь даже тропинки. Еще немного ниже... Тишина. Мягкие тени от кучевых облаков покоятся на ровном поле. Они тоже маскируют.

А вот теперь видны тягачи и крылья «юнкерсов». В небе по-прежнему тишина.

— Приготовиться! Две атаки — и домой.

Зашли со стороны солнца и ударили по земле из всех пулеметов. С первого захода подожгли два бомбардировщика. Результаты второго захода остались неизвестными. На выходе из пикирования жерла пушек и стволы зенит-

ных установок с земли выплюнули тысячи пуль и снарядов. От них в небе — стеклянный дождь. Дождь сечет воздух, крылья, мотор. Командир почти прижался к земле, покачивая крыльями: за мной! Еще две-три секунды, и они вырвутся из огненного кольца...

Гирис не успел за ним — настолько быстро это произошло. Лишенный винта, мотор его истребителя развил бешеные обороты, выбрасывая в пустоту уже ненужную, последнюю мощность. Запах гари. Гирис ударил пальцем по лапке зажигания и выключил мотор. Иначе сгоришь еще в воздухе. Впереди земля со старой вспашкой. Самолет командира ураганом промчался на бреющем и скрылся за складками местности. Правильно. Командиру нужно уйти. Он приведет эскадрилью штурмовиков. Они не замедлят прийти сюда. Торопись, командир! Гирис слышал по радио его последние слова:

— Тяни к лесу и на восток. Найдем!

— Винт отбит, сажусь на фюзеляж. Не поминайте лихом...

Напрасно, черт возьми, он выбросил в эфир «не поминайте», но слово не воробей...

Металлическое брюхо фюзеляжа скользнуло сначала по кустарнику, затем вырвалось на поле и прижалось к пахоте, подняв тучу пыли и корней. Ремни впились в тело. Голова качнулась к прицелу. Шея стала железной.

Истребитель затих. Гирис отстегнул лямки парашюта, открыл фонарь и вылез на плоскость. «Жаль! Второго ордена не будет,— усмехнулся от собственной шутки.— Отстажировался, черт...» Вытащил из кармана гимнастерки удостоверение, выданное инструктору учебно-тренировочного центра, и хранящуюся между его листочками фотографию Марины, положил на сиденье в кабину. Орден и карточку кандидата в члены партии оставил в полку перед вылетом. Бежать нет смысла. Лес далеко. Видны две машины с немцами. Многовато для одного человека. В пистолете восемь пуль. Есть запасная обойма, но вряд ли ее успеешь вложить в пистолет.

Гирис осмотрелся. Все обычно: та же земля, своя земля. То же небо, свое небо, и сам ты тот же и можешь располагать собой, как угодно. Одного нет, и это меняет все: времени нет. До конца осталось не более пяти минут. До конца свободы, жизни и... стажировки. Сердце заколотилось гулко, больно. Молоточками бьет по вискам, по груди. Пять минут, когда можешь делать что хочешь.

Потом желания спрашивать не будут... Гирис выпустил две пули в баки с бензином. Баки протектированы, и пули застряли где-то в резиновых прокладках. Пулями их не возьмешь. Тогда он открыл крышку бака. Полчаса назад туда техник заливал горючее, и Гирис стоял рядом, готовясь к необычному для него полету. И последнему. Когда техник заправлял баки с горючим, было много времени. Сейчас его нет. Гирис поджег фотографию Марины и огненный язычок бросил в бак. Была мысль остаться в самолете. Исчезла... Он отбежал несколько метров и бросился на землю. Вовремя! Самолет вспыхнул и зашипел мощной ракетой, затем взорвался центральный бак, плоскости и хвост охватило огнем. Самолета нет, но летчик жив и здоров. Шесть пуль в пистолете и одна запасная обойма. Десятка два немецких касок в кузовах машин. Для одного больше чем достаточно...

Если бы не голубое небо Украины и не эта земля... Удивительно хочется жить! Вот так лечь на землю, раскинуть руки, широко открыть глаза и смотреть в небо, где собираются кучевые облака и висят над ним, как парашютный десант. И глубоко дышать, ни о чем не думать... А разве можно жить и ни о чем не думать? Нет, конечно. Человек не может не думать. Костя сказал бы, что и в сумасшедшем доме думают. Гирис криво ухмыльнулся: вот так кончается жизнь... «Нет, латыш, рано! Зачем умирать, когда ты здоров и молод? В боях не человек решает, жить ему или не жить, а пуля. Пока пули нет — поборемся». Вспомнил вдруг любимого поэта: «Все умрут, но смертный делом в человечестве бессмертен».

Немцы уже рядом. Он видит их впервые вот такими — вооруженными, с каменными лицами и деревянными фигурами. Такими они кажутся в кузовах машин.

Гирис вынул из пистолета обойму с шестью пулями и положил ее на землю. Вставил новую, где восемь. Прикрыться нечем. Горит фюзеляж, кабина... Марина подожгла самолет. Самолет своего латыша... Невеселая усмешка скользнула по его губам. Истребитель еще сослужит ему службу. От немецких машин Гирис загородился пламенем. Немцы не торопятся. Машины остановились, и немцы окружили костер. Гирис в западне. Огонь мешает видеть, прицелиться...

Гирис плохо слышал звуки выстрелов: они тонули в треске догорающего самолета. Он еще несколько раз нажал на спусковой крючок и бросил пистолет в огонь. Ко-

нец... Пуль нет, а дробить себе череп ни к чему. Глупо умирать, когда много сил и мысли последовательны, разумны. К нему пришло спокойствие. Он вытащил папиросу, сел на землю, обхватив колени руками. Они могут пройтись по нему очередью из автомата, но рук он не поднимет. Теперь плевал он на смерть!

Когда ему приказали встать, он встал. Ему приказали идти — он пошел, бросил себя одним махом в кузов машины. Немцы невозмутимы. На их лицах, пожалуй, больше любопытства, чем злости... Только жутко от мысли, что он беспомощен и что он в плену. Он не убил себя не из трусости. Он не убил себя, потому что умирать ему рано.

Его везут в сторону больших пожаров. Зарево от горящих «юнкерсов» сильнее солнца. Его работа, Гириса! А он чуть и не забыл... Ради того, чтобы видеть это, стоит жить! Новая внезапная мысль почти ошеломила его: совсем нетрудно бить немцев. Всего два самолета налетели на аэродром — и вон какой пожарище! Будь у него сейчас автомат, он один уложил бы не меньше двух десятков...

По пыльной проселочной дороге проехали мимо аэродрома. Там немцы высадились. В машине остались четверо автоматчиков в серых кителях. Обмундирование чистое, сапоги добротные, с толстой подошвой. Надо думать, люди из аэродромного обслуживания. Лица безмолвны. Обычные человеческие лица, ничего особенного. Когда он попробовал встать, чтобы стоя держаться руками за кузов машины и смотреть вдаль, на дорогу, его ударили в бок прикладом автомата, и он присел от боли и недоумения. Лица немцев уже не безучастны. Стрелять будут без предупреждения, это видно по их глазам, злым и настороженным. Все это вернуло Гириса к действительности. Последний час — будто сон, бред, кошмар. Все, что случилось в последний час: раздробленная втулка винта, посадка на фюзеляж в поле, поджог истребителя, направленные на него стволы автоматов,— все выплыло из тумана. Вот они, в касках, следят за каждым его движением. Они — это плен и, может быть, смерть. Друзья далеко, за линией фронта. Неужели конец? Страха нет, почти нет. Он не знает, что такое страх в обычном смысле этого слова. Что такое покорность — ему и в детстве было неизвестно. Вырос вольным человеком. Вот только злость колет в сердце да горячит кровь. Все еще чувствуется боль

от удара прикладом в бок. И он ничего не сделал, чтобы ответить... Такого не бывало в его жизни. Гирис хотел опять встать, но одумался, приказывая себе: «Держись, не разменивайся на мелочи! Держись...» Он вытащил папиросу. Прикурить нельзя: спички бросил у самолета. Прикусив мундштук, постукал пальцем о палец. Поймут, сволочи, что огонь нужен. Никто не шевельнулся. Гирис повторил жест почти перед носом рядом сидящего немца. Тот переглянулся с товарищами... Гирис видел только одно лицо, чувствуя, что от злости начинает терять рассудок. Немец сам зажег спичку. Гирис глубоко затянулся, глядя на него в упор. По тому, как тот отдернул руку и торопливо выбросил спичку за борт, он мог бы поклясться, что немец испугался его взгляда. Гирис жадно затягивался, чувствуя, как табак успокаивает нервы. Захотелось спать, и он закрыл глаза. Ничего не видеть: ни немцев, ни неба Украины, ни земли.

Почему он не застрелился? Говорили: лучше всего — дуло в рот и нажать на спусковой крючок. Даже выстрела не услышишь... Глупо! Застрелиться — значит покориться. Говорят, чтобы покончить с собой, нужно быть смелым и сильным человеком, с большой волей. Идиотство! Лежал бы он у сгоревшего самолета, и вот эти фрицы брезгливо ткнули бы его сапогами. Попробуй ткни его сейчас, когда он жив и силен. Хоть у одного, но будет проломлен череп. Застрелиться, повеситься, отравиться... Не смелым нужно быть, а трусливым ничтожеством. Уйти из жизни — значит уйти от борьбы...

Одной папиросы показалось мало. Гирис вытащил еще одну и хотел прикурить от старой, но не сделал этого. Выбросил окурок за борт, взял в рот новую и опять жестом попросил огня. Кажется, он начинает делать глупости: явно ищет причину, чтобы взорваться и освободиться от клокочущей в нем злобы. Он почувствовал нервную дрожь и пытался успокоить себя. Немец, опять чиркнув спичкой, слегка подергал уголком верхней губы... подморгнул. Или ему показалось? Пожалуй, нет.

Гирис прикрыл глаза. Десятка два немецких слов удержались в памяти после школы. Лень-матушка! Да и латышский забылся. Немцы болтали о чем-то, но у него не было особого желания прислушиваться к их словам. Единственное желание, которое становилось все более ощутимым,— спать, забыться...

Подъехали к большой усадьбе. Деревянный двухэтажный дом, окруженный зеленью и двумя рядами колючей проволоки. На воротах — конец доски с остатками слов «...рий» и там же, на куске фанеры,— фигура пионера с горном. Чуть в стороне — флаг со свастикой. Бывший детский санаторий или лагерь. Теперь, очевидно, штаб-квартира какого-нибудь фюрера. Совсем близко лес и большое село на бугре. Что же все-таки здесь такое теперь? Часовые безмолвны. Много часовых. На каждом шагу офицеры. Они не любопытны. На пленного русского летчика почти не смотрят. Значит, не впервые, привыкли.

Гириса провели по длинному коридору. Здесь когда-то выстраивались пионеры в ненастную погоду на свой сбор. Когда-то... Кажется, совсем недавно был здесь свой мир, а теперь вот этот, со свастикой и колючей проволокой...

В комнате, куда ввели Гириса, светло и просторно. Мебели почти никакой: стол и два стула. Спартанские наклонности у теперешнего хозяина кабинета. На изогнутом крючке, вбитом прямо в стену, фуражка с серебряным орлом, под которым блестит мертвая голова. Часть комнаты закрыта темной занавесью. Они вдвоем в кабинете — майор войск СС и старший лейтенант Гирис. Пожалуй, майору лет тридцать. На его френче между отворотами — рыцарский крест. Майор хорошо говорит по-русски.

— Прошу, лейтенант! Виноват... обер-лейтенант!

Майор указал на стул у стола. Вот сейчас, с улыбочкой, он показался Гирису еще моложе. Не скупятся на звания в СС Безукоризненная форма, волевое лицо, умные холодные глаза, тонкие губы.

— Благодарю!

Все же приятно слышать и говорить по-русски даже в таком месте. Пропадает чувство обреченности. Гирис сел. Ничто не предвещало борьбы. Щелкнула крышка портсигара в руках майора. Гирис подумал: «Совсем как в кино про шпионов».

— Вы русский?

— Русский.

«И вдруг скажет сейчас, и тоже как в кино: «А откуда у тебя такая латышская морда?»

— Фамилия?

— Гирис.

— Школа?

Гирис ответил.

— Меня интересует, где сейчас школа?

Майор по-прежнему улыбается — значит, разговор будет долгий. И борьба. Удивительно ясно работает голова!

— Господин майор! Задавайте вопросы, на которые солдат имеет право отвечать.

— В вашем уставе, обер, нет таких вопросов, на которые солдат имеет право отвечать. Даже то, что вы уже сказали, у вас расценивается как предательство. У ваших начальников нет чувства меры.

— Тогда давайте говорить о погоде или совсем...

— Я разговариваю не с солдатом, а с офицером. Вопросы, на которые вы не сможете отвечать, ответить буду я.

«Споткнулся все-таки в языке. Где он изучал русский? А главное, когда успел?»

Майор откинулся на спинку стула. Это не поза. Привычка. Здесь он бог и царь. Пустив кольцо дыма, как бы в раздумье, он продолжал:

— Одесса, Севастополь... Я был в России. Разумеется, до войны. У вас много было этих... «ишачков»... так вы их называли? (Гирис кивнул, согласившись.) Хорошие самолеты, но не для войны с нами. Детские игрушки...

— Что вы делали в России?

— Был в качестве представителя дружеского государства. Русские не захотели внять голосу разума.

Гирис подумал: «Может, ты меня считаешь за способного внять голосу разума?»

— Что же должны были сделать русские?

— Уважать силу, ум и решительность великой армии!

— Мы это и делаем! Прежде чем уничтожить армию Паулюса, им было предложено сложить оружие без боя. Вот где нужно было внять голосу разума...

— Вы не очень! Как это... не зарывайтесь! Великий философ Ленин говорил, что умен не тот, кто не делает ошибок...

— Вот, вот... Еще пару таких ошибок — и в этом доме снова будут пионеры.

Майор по-прежнему невозмутим, и на его губах все та же улыбка.

— Надеетесь на второй фронт? Или на наши ошибки?

— Пожалуй, теперь обойдемся и без второго фронта, хотя и он будет.

— Вы слишком самоуверенны. Эта самоуверенность вам дорого стоила в сорок первом, и это еще далеко не все... Не будет второго фронта. Американцы уже любуются

на японские флаги у себя на континенте, а англичанам в пору зализывать свои раны.

— У нас хватит собственных сил...

Гирис не смог продолжить. В руках майора бортовая карта с его сгоревшего истребителя. Вернее сказать, половина карты. Вторая половина сгорела. Карта лежала за алюминиевой стенкой у самого борта. Очевидно, выброшена взрывом и подобрана солдатами. На ней штамп войсковой части. А, черт с ней! Особых секретов она не содержит. Аэродромы меняются чаще, чем карты. Смутило Гириса совсем другое, и он слушал, с трудом сохраняя так нужное сейчас спокойствие.

— Ваша карта нам ни к чему, хотя я и рассчитывал увидеть на ней нечто новое. Мы и без карт достаточно знаем. В вашем полку было тридцать два, а стало двадцать семь офицеров-летчиков. Солдаты нас не интересуют. Итак, ваш полк?

Гирис молчал. Майор говорил правду...

— Прекрасно! Продолжу за вас: 321-й иап. В количестве летчиков я не ошибся?

— Не считал, господин майор.

Пожалуй, он не приплюсовал самого Гириса. И еще двух человек, погибших два дня назад. Вместе с Гирисом в полк прибыло трое. И все же осведомленность бесспорна...

— Фамилия командира?

Молчание.

— Заместителя?

Молчание.

— Из трех командиров эскадрилий осталось два. Их фамилии, звания?

Гирис смотрел себе под ноги. Что-то нужно ответить, потому что майор опять прав: командир эскадрильи капитан Недозоров погиб в воздушном бою через неделю после приезда Гириса в полк.

— Один старший лейтенант, другой лейтенант.

— Фамилии?

— Не помню.

— Чудесно. Старший лейтенант — Черников. Второй — майор Зарубин. Лейтенанта нет, вы ошиблись. Майор Зарубин летал с вами только что в паре и благополучно приземлился у себя на аэродроме, потеряв ведомого, то есть вас. За что его не похвалят, надо думать. Его ведомый первый раз в бою.

Да, конечно. Все так. Внешне Гирис оставался спокоен и не задавал себе наивного вопроса: откуда у майора такие сведения? Неплохо служит майор...

Майор отдернул занавеску. Огромная карта с десятками значков. Киев, Харьков, Днепр и очень хорошо знакомые Гирису лиманы под Одессой. Кончик карандаша указывал на крестик — аэродром, откуда сегодня утром они с командиром вылетели «на охоту».

— Вы рады за своего командира?

— Конечно. Для меня очень важно, что он жив и здоров и что на нашей карте тоже прибавился крестик — ваш аэродром.

— Сегодня приземлился, а завтра вряд ли. Советую быть откровенным. Нам многое известно.

— Но не все.

— Что, например? — Майор встал, прошелся по кабинету и остановился возле Гириса.

Да, он чувствует себя хозяином не только здесь, в пионерской комнате, на украинской земле, но и в Европе, и у себя в Германии. Разговаривает с Гирисом, присев на край стола. Бесцеремонность его становится показной.

— Что отсюда вы уберетесь раньше, чем вам хотелось бы. Может быть, сегодня...

— Сожалею, что не могу дать вам возможность видеть гибель собственного полка. Смерть придет отсюда, из-под земли. Вы не слыхали о таких аэродромах? — любезно осведомился он.— И так будет на всех фронтах...

Майор острым, испытующим взглядом буравил Гириса, и Гирис чувствовал это сверло. Значит, здесь что-то вроде полигона, наверху проволока, а внизу, под землей... Может быть, новые «фау»?

— Шила в мешке не утаишь,— не давая прямого ответа, усмехнулся Гирис.

— Я даю вам ровно сутки подумать, взвесить все «за» и «против». Нам известно, что вы не коммунист, известно, что и не русский. Если придете к разумному решению, получите право жить после победы по своему усмотрению.

— Только-то?

— Скоро вы убедитесь, что это совсем не мало.

— О чем я должен думать, что решить?

— Небольшая подготовка — и вы представитель великой армии у себя на родине. В Латвии.

Вон оно что! Гирис, твоя латышская фамилия храпит тебя от гибели. Держись! Рано умирать. До Риги ты не доедешь, а время подскажет, что делать.

Беззвучно вошел часовой. Гирис вышел с ним, взглянул на предзакатный диск солнца, на землю, огороженную колючей проволокой...

Хочется спать. В уме отсчитал семь деревянных ступенек в землянку. Когда-то у него была привычка: чтобы успокоиться, считать до десяти... Струйка света, падающая сверху, из отдушины. Запах земли и сырости. Кусок хлеба, консервы, горячая вода. Нет табака... Спать... Не идет сон. Майору известны даже фамилии летчиков, не говоря уже о самолетах. А с самолетами сейчас в полку трудно. Трое летчиков остались «безлошадными». Разумеется, и это известно немцам. Откуда? В кабинете такой вопрос не был столь мучительным...

19

Костя докладывал полковнику: «хейнкеля» они сбили вместе с Бочкаревым. Когда Бочкарева доставили на У-2 с места приземления, он сказал, что выпустил всего одну короткую очередь с большой дистанции, как было приказано ведущим, чтобы отвлечь стрелков на себя. Трасса пуль прошла сзади, мимо цели. Он это прекрасно видел. Его самого сбили тут же с борта бомбера. «Хейнкеля» поджег Коровин с близкой и очень рискованной дистанции, почти в упор.

— Он говорит неправду, товарищ полковник! Атаковали парой. Такую махину сбить одному не под силу.

— А в чем, собственно, дело? Оба так оба... «Хейнкеля» нет, и это главное.— Полковник улыбался широко, откровенно. Не часто он так...

Сложное чувство испытывал Костя к Бочкареву. Ему было приятно знать, что Бочкарев честен и бескорыстен и что он говорил правду: Костя бил по бомберу с такой близкой дистанции, что еще секунда... И сам Бочкарев едва цел остался. Думая об этом, Костя понимал, что летит к чертям настороженность в отношениях. И все же Костя не мог избавиться от неприятного вопроса: что руководило Бочкаревым, помимо бескорыстия и честности? А впрочем, не все ли равно? Все хорошо, что хорошо кончается...

Тося и Марина готовились в дорогу. Они уже видели перед собой боевые будни, готовились к ним, не зная определенно, что предстоит им на первых порах. Может слу-

читься, что до боевых вылетов еще далеко. По взаимной договоренности девушки уже составили экипаж: Краснова — летчик, Тося — штурман.

Много пишут о женском авиаполке. У-2 для немцев — самолет, который больно кусается по ночам. Сбить эту «фаперу», летающую со скоростью приличного автомобиля, не так-то просто. Ни один конструктор в Германии не задумывался над созданием прицелов, способных определить начало открытия огня по такому биплану. Даже не определить, а удержать его в прицеле хотя бы секунду. Прицелы рассчитаны на современные скорости...

Тося волновалась последние дни: уезжая, хотелось знать, что существует человек, который будет ждать, который любит и которого она любит, будет волноваться за него. Может быть, не так любит, как мечталось, но кто знает — вдруг это и есть настоящая... Костя честен, робок, только горд не в меру, но он ведь любит! Хотелось перед отъездом побыть с ним вдвоем, но Костя последнее время избегает встреч. Нельзя было встретиться еще и потому, что он и Бочкарев — герои дня. Подумает: «Вот когда...» А тут еще Маринка... Тося стала все чаще встречаться с Бочкаревым, но не упускала случая привлечь к себе внимание и Кости. Вот тогда-то Маринка и сказала: «Смотри, девочка, за двумя зайцами погонишься...» Ох уж эта Маринка! А вообще-то, пожалуй, она права. Опасная забава. Она понимала: Костя дороже. И Бочкарев ей нравился. Но он и Костя — совершенно разные люди. Бочкарев хитрый, он знает себе цену, умеет выжидать. И это понимала Тося своим женским чутьем. Но с ним ей бывает легко и весело. Но уж если говорить о любви, то только Костя...

И вдруг... все решилось само собой. Проклятая самоуверенность! Тося не сомневалась, что Костя любит, но каково же было ее изумление, когда она увидела, как только что приехавшая с вокзала девушка обнимала и целовала Костю и Костя обнимал и целовал ее. Тося стояла совсем недалеко и слышала их взволнованные голоса:

— Танюша, милая! Примчалась-таки! Ну и беспокойный же ты человек! Что делать будешь у нас?

— Укладчица парашютов. Сегодня же наряжусь в форму. Два месяца училась, а уговаривала больше. Костя, я буду твой парашют готовить. Можешь прыгать спокойно.

— Нет уж, уволь от прыжков.

— А ты знаешь, в училище новые самолеты, как у вас здесь. Гудят целый день, да так, что горы шатаются.

— Как же я рад тебе, Танюха!

— Господи, дай я тебя поцелую!

Они никого не стеснялись! Что для них проходящие мимо солдаты! А Тося стоит недалеко, и ей больно видеть это... Значит, она любила Костю, как Маринка своего Петра. Маринка страдает сейчас, но страдает от разлуки и неизвестности. Другие не видят этого, а Тося видит. Всего два письма... В настоящих боях еще не был... Любит, целует, обнимает... Больше нет писем...

Вечером к ней подошел Бочкарев. Они ушли по тропинке к лесу. Тося отвечала, спрашивала, но все еще видела черноволосую, смуглую девушку, обнимавшую Костю.

— Все дело в том, что я люблю тебя. Понимаю, что слова мои неубедительны, потому что говорю далеко не поэтично. Я долго думал... Ты мне нужна. Не хочу быть навязчивым, но говорю смело, потому что знаю: я небезразличен тебе.

— Война... до любви ли!

— Меня обмануть нельзя, и ты это знаешь. Себя ты тоже не обманешь. Пока шел выбор между мною и Коровиным, я молчал. Теперь молчать нет смысла. Я люблю тебя. И война тут вовсе ни при чем. Я хочу быть твоим мужем.

— Когда? Сейчас? — иронически спросила Тося.

— Да! — громко ответил Бочкарев, даже слишком громко.

Тося начинала бояться этого человека. Рассудок, уверенность, спокойствие... Все полетело к чертям! Она хотела повернуть обратно, но ей вдруг вспомнился вечер в клубе, в кино, с Костей... Лучше не вспоминать.

— Меня Коровин однажды назвал цветком, растущим у дороги. А ты как назовешь?

— Я не осуждаю его. Сказал в запальчивости. Хороший парень, но наивен, молод.

— Ты не отвечаешь на мой вопрос!

— Я считаю тебя женщиной, которую люблю.

— Ты хитрый и опасный человек, Игорь!

Как темно в лесу! Только что теплый воздух шел от земли, и вдруг — откуда ни возьмись — холодок! Тося поежилась и тут же почувствовала руки, обнявшие ее. Невольно прижалась, будто бы от холода. Ей хотелось бе-

жать от себя самой. Она сделала движение, чтобы повернуть обратно, выйти из этого кустарника, из этой ночи... Завтра начнется новая жизнь. Они уедут с Маринкой, и у нее будет достаточно времени, чтобы успокоиться. А разве сейчас она волнуется? Да и что такое Костя Коровин, на самом деле! Все изчезло, только немножко обидно...

— Мне холодно... — Она не видела Игоря, но почувствовала дрожь в его руках. Опять эти руки... она не может оторвать их от себя и... не хочет. Сухие прошлогодние листья шуршат, невидимые на темной земле...— Пойдем обратно, мне холодно!

— Люблю тебя, люблю... И ты любишь...

— Нет, нет... Игорь, пусти!

Она уже не пыталась выскользнуть из его объятий и не хотела этого...

...С радостным чувством Костя думал о Тане. Она привезла с собой кусочек светлого неба Азии, прохладу высоких гор и запах жарких степей. Так казалось ему. Будто вдруг раздвинулась завеса, и они, курсанты, едят виноград, арбузы, дыни, купаются в арыке, в горных речушках, валяются на желтой траве и смотрят, как корчится от злости и боли проколотая насквозь проволокой опасная фаланга, и им ничуть не жаль ее: ядовитая тварь. А потом полеты, полеты...

Ему легче оттого, что Таня рядом, и рядом тогда, когда случилось непонятное... Катомина не пожелала проститься с ним, и только Марина на секунду прижалась к нему и, плача, поцеловала. Она все время думает о пропавшем без вести Петре...

Если бы Косте сказали, что Гирис погиб, это было бы для него жестоким ударом, но он не был бы неожиданным. Но представить Петра Гириса пропавшим без вести...

Из четырех инструкторов, посланных на разные участки фронта, не вернулись двое — Поляков и Гирис. Полковник наложил вето на право стажироваться в боях. Костя понимал его: хорошие инструкторы в учебных частях на вес золота. А кроме того, и здесь не без жертв...

Инструктор Романович был одним из тех, кто летает без устали и учит летать хорошо и быстро. Но не всегда быстро бывает хорошо. В авиации такое правило прове-

рено печальными опытами. Эксперимент с механиками не обошелся без трагедии. В тот день солнце палило нещадно. В небе все зоны и высоты заняты самолетами. Небо гудело, и казалось — солнце гудит и неистово бьет в барабаны. На земле душно, пыльно, жарко. В воздухе прохладно, чисто, немного тревожно: очень много самолетов. Смотри в оба! Часть двухместных истребителей занимается черной работой: взлет, посадка. Полеты по кругу. В одном из них Романович с курсантом. Романович — парень веселый, красивый, неутомимый. Но и он устал. Пятнадцатый полет с курсантом. На взлете мотор «обрезал» сразу и окончательно. Бывает так. Очень жарко. Долго мотор работать без отдыха и осмотра не может. Здесь скорость опасна. Что-то нарушилось в бензосистеме. В самолете есть своя нервная система и своя система кровообращения. Когда отказывает мотор на взлете, садись прямо перед собой на фюзеляж. Летчики не сделали этого. Романович доверил курсанту принимать решение, и курсант развернулся на аэродром, чего делать было нельзя: не хватит высоты для разворота. Помешать развороту инструктор не смог, не успел. Самолет планировал на землянки, каптерки, на стоянку истребителей. Романович всетаки отвернул самолет от препятствий, крыло чиркнуло по земле, за ним мотор... Двухместный истребитель перевернулся на спину и на скорости двухсот километров в час пропахал землю кабинами и винтом на границе летного поля. Широкая огненная борозда быстро впитала в себя кровь двух человек...

Может быть, на этом месте после войны будет расти хлеб, и время уничтожит следы катастрофы. Земля, обильно удобренная кровью, будет пахнуть не пожаром и смертью, а спелыми колосьями. А пока еще два могильных холма...

Костя сделал в себе еще одно открытие: оказывается, человек может привыкнуть и не испытывать острой боли при виде гибели товарищей. Он уже не думал о том, оправданы жертвы или нет. Не в этом дело. Гибель Романовича и его ученика может быть оправдана и не оправдана — с какой точки зрения подойти к этому. Мотор не должен был отказывать (полковник жестоко наказал виновных в отказе мотора). Но отказ мотора — еще не смерть. Человек побеждает и в таком случае, но вот сейчас потерпел поражение. Почему? Нельзя в обгоревших кусках и безжизненных телах найти ответ на этот вопрос.

Они унесли с собой причину поражения. Самолет — несовершенный летательный аппарат. Его слабости известны, и человек с ними борется. Человек сильней, но и он несовершенен, и у него есть слабости, которые самолет не прощает.

Летчики рассуждали просто: устал. Не сработал вовремя «фитиль». А курсант не выработал в себе еще достаточных навыков в борьбе с самолетом при таких обстоятельствах...

Вечером того же дня, после похорон, Таня разыскала Костю. В сапогах, пилотке, из-под которой выбиваются волны черных кудрей, она не потеряла своей привлекательности.

— Смотри, Костя, если с тобой что случится...— Она посмотрела на Костю нежно, смущенно, потерлась лбом о его плечо, отвернулась, прикрыв глаза руками.

Костя смотрел на нее, и чувство жалости к обиженному ребенку охватило его. Как ребенка, захотелось погладить ее по голове, успокоить.

— Все в порядке, Танюха... будет все в порядке!

Таня быстро глянула на него. Лицо ее вдруг повзрослело, уголки губ дрогнули, обозначив легкие морщинки.

— Если с тобой что случится, я тебе этого никогда не прощу! — Она хотела пошутить, но не вышло — слезы застилали глаза.

Опять Костя подумал: как ребенок, и в училище она была такой. Обращается с ним как со своей собственностью. Впрочем, весь мир — ее собственность. «Ты вовремя приехала. Ты — судьба моя». Он не сказал этого, а только крепко сжал ее руку.

20

Мощные потоки холодного воздуха охлаждают мотор, сбивают температуру даже тогда, когда мотор дрожит от напряжения на полных оборотах. Человеку в кабине хуже: он охлаждает сам себя каплями пота при перегрузках. При этом температура за стеклом фонаря минус тридцать пять...

Костя провел рукой по лицу, смахнул капельки соленой влаги, не давая им осесть на ресницах.

Курсанты начинают показывать себя. УТИ побоку. Только истребители и бои. Инструкторы — тоже на истребителях. Последняя страница программы — свободный воздушный бой. Инструктор один, тогда как курсантов в

группе несколько. У инструктора единственный характер, и курсанты неплохо в нем разбираются. Курсантов несколько человек, столько же характеров, столько же воздушных боев в день, и все разные.

Костя сегодня пять раз в воздухе. Его очередной курсант взлетел с ним в паре. Набрали высоту три тысячи метров, разошлись в разные стороны, чтобы вслед за этим сойтись и на свободном маневре зайти «противнику» в хвост, атаковать его.

В воздухе пятый характер, и — Костя знает — трудный характер. Курсант Павлов дерзок, смел, прямо-таки нахален. Он не дает себя атаковать так просто. Если другим, более осторожным, Костя иногда подставляет себя под удар, чтобы летчик почувствовал в себе силу, то Павлов требует несколько других приемов. Его гусиная шея вращается, как на шарнирах. Он все видит и управляет самолетом с уверенностью старого наездника на строптивом коне. Павлов на истребителе хозяин. Он бросает самолет вверх, вниз, прикрывается солнцем, шапками кучевых облаков, доводит скорость на вертикальном маневре до критической...

Костя испытывает чувство затаенной гордости: Павлов — его ученик. Путешествие на хвосте «харрикейна» не оставило психической травмы. Оно как бы закалило его, приучило к воздуху, к небу.

Четыре воздушных боя были относительно спокойными. Курсанты действовали по заготовленной схеме и с оглядкой. Временами у них прорывалось свое, не записанное в инструкции, и они доводили скорость истребителя на боевом развороте до такой, при которой дрожат крылья вместе с приборной доской, но дальше этого пока не шло. Летчики постепенно набирались сил. Опыт, смелость и решительность в авиации приходят не сразу.

У Павлова нет чувства меры; он не признавал заготовленных схем и делал это не без логических соображений. Он делал то, что должен делать истребитель. Павлов управлял не только крыльями, но и летающими пушками. Особую ценность представляет не тот летчик, который прекрасно заучил сто известных тактических приемов в воздушном бою, а кто придумал сто первый.

Трудновато Косте. Он попробовал загнать Павлова на высоту и там подчинить себе молодого аса, но Павлов и на большой высоте не теряется, только, может быть, чаще утирает пот с лица. На пикировании он догнал Костин са-

молет и повисел у него на хвосте, Костя вынужден был стать в вираж...

Победили оба: Павлов — в воздушном бою с инструктором, а Костя — в обучении его. Бывшие механики к осени уйдут на фронт летчиками-истребителями. Таким, как Павлов, фронт будет рад. На смену им в учебный центр идут новые, и эти новые будут нервничать в ожидании своей очереди на полеты. Инструктор летает без нормы. Никто не планировал войну такой, какой она стала. Нельзя планировать количество атак в день, количество воздушных боев в день, количество смертей в день... Война продолжается. Сталинград свободен, но Ленинград еще в кольце, второго фронта нет. Земля и небо в огне...

— Разрешите получить замечания?

Что сказать ему? Похвалить? Павлов не очень нуждается в похвале. Он знает себе цену. Ругать? Не за что! В руках у него истребитель, требующий дерзости и отчаянной смелости. И то и другое у Павлова есть. Но в первом же бою его собьют. Не хватает рассудочности...

— Один на один уже давно не воюют. Бывает, что один с двумя, с тремя... Когда будешь в бою, думай, что враг не слабее. Кроме того, ведущий под твоей охраной. Взаимодействие в бою требует осмысленных маневров. Я потерял скорость и долго пикировал. На этом ты меня подловил. Правильно, но я один, и ты на пикировании потерял столько же времени. Недозволенная роскошь. В бою, пока будешь гнаться за одним, другой окажется проворней, и тогда...

Костя понимал Павлова и знал, о чем тот думает сейчас. Учебный бой не может быть зеркалом настоящего боя, да еще группового. Прочные навыки приобретаются там, где небо горит настоящим огнем...

21

Сколько помнит себя Гирис, он не страдал бессонницей. Спал всегда крепко, без тревог и волнений. Впервые он трудно засыпал здесь, в землянке. Забытье, а не сон.

Утром Гирис проделал несколько привычных физических упражнений, потряс тяжелой головой, напился холодной воды. Силы вернулись, но проклятые вопросы не давали успокоиться: бомбили ночью немецкий аэродром или нет? Где и как искали его? А может быть, мысленно похоронили стажера Гириса и поторопились об этом сообщить в учебный центр? Только бы не это.

Гирис прикинул в уме: если от немецкого аэродрома, который они обрабатывали вчера, взять курс на юго-запад и со скоростью пятьсот километров в час пролететь двенадцать—пятнадцать минут, долетишь вот до этой проклятой проволоки. Подземный гарнизон замаскирован для авиации. До черта зенитных и артиллерийских батарей, установок. Батареи в двух километрах от штаба охранного подразделения СС. Сюда нужно сначала штурмовиков для подавления огневых точек, а потом бомбардировщиков. Работы на пять-шесть минут, не больше... Ничего, ничего нельзя ему сделать...

Все тот же кабинет, куда доставил его все тот же автоматчик.

Сегодня в глазах майора злая усмешка. Он более официален. Хочется курить. Повинуясь этому желанию, Гирис попросил сигарету.

— Битте!

Сутки еще не прошли. Почему-то поторопился майор...

— Откуда прибыли в полк?

— Из училища.

— А точнее?

— Вы же знаете!

«Да, знает, хитрюга! Хотя до учебного центра тысячи километров».

— Если инструкторами пополняют потрепанные части, вам остается уповать только на господа бога. Мы подошли к концу первого действия...

В открывшуюся дверь кто-то вошел. Гирис умышленно не обернулся. Майор после минутной паузы почти крикнул:

— Ближе!

Тяжелые, неуверенные шаги...

— Еще ближе!

Майор становился грубым. Гирис посмотрел на вошедшего. Капитан Недозоров...

Он помнит: ведомый Недозорова докладывал после боя, что капитана подбили снарядом с земли. Так оно и было, но парашюта не заметили. Решили — погиб вместе с самолетом...

Гириса поразил вид капитана: исхудавший, с бессмысленным взглядом мутных, ничего не выражающих глаз. Мертвые глаза на еще живом лице. Одно плечо выше другого; капитан с трудом стоял на ногах; одна рука, висевшая, как плеть, вздрагивала. Гимнастерка — как мешок:

грязная, измятая, местами рваная, но погоны не содраны, хотя трудно уже было по ним узнать звание офицера. Жестоко били...

Зловещая пауза. Казалось, ей не будет конца.

— Вот ваши старые кадры полка, обер-лейтенант. Разумеется, вы его знаете?

Не было смысла отрицать.

— Здорово вы его отделали!

— Дрянь! Не стоит жалеть,— брезгливо поморщился майор.— Впрочем, мы многое знали и без него.

Недозоров посмотрел на Гириса умоляюще. Наконец-то ожили его глаза, и сколько же было муки в них...

— Подобрали... без сознания... — Это хрип, не голос.

— А потом? — вырвалось у Гириса.

— Не помню.

Капитан опустил голову. Гирис попросил еще сигарету. «Каким будет второе действие, майор?»

— Зачем же вы его так... Он рассказал вам все. Могли бы и его куда-нибудь...

— Не подходит. Слаб. Как говорят у вас, без взбалтывания к употреблению не подходит.

Майор кивнул часовому и, когда капитана увели, продолжал, обращаясь к Гирису:

— Его расстреляют, как солдата. Мы умеем ценить даже вот таких...— Майор взглянул на часы.— До конца суток — шесть часов двадцать минут. Двадцать минут беру на себя. Продолжайте думать.

Гириса увели, но не в землянку. За ворота, за колючую проволоку. У ворот грузовая машина с работающим мотором. Около — солдаты с автоматами. К машине, спотыкаясь, шел Недозоров. В двух шагах от нее остановился, сделал движение, чтобы обернуться, но не успел: конвойный сзади выстрелил ему в затылок из пистолета. Недозоров упал на бок, попытался встать и тут же повалился на спину, подгребая под себя руками землю. Пальцы, как крючки, судорожно дрожали, впивались в грязный, истоптанный сапогами песок и вдруг притихли, успокоились... Перед Гирисом мелькнуло искаженное страхом и болью лицо капитана.

Тело Недозорова подняли и бросили в кузов машины. Только тогда увели Гириса в подвал, где он провел прошлую ночь.

Гирис прислонился к сырым бревнам. Почему-то его тошнило. Трудно стоять. Подумал: пытали Недозорова

жестоко. Сколько же выстрадал человек! Вспомнил слова майора «кадры полка...» — и зло подумал: «Ни черта подобного! В этом твоя ошибка, фриц! По одному, по двум судишь обо всех. Если решили убить капитана, как собаку, значит, в главном он не уступил. Затравили, лишили сил. У него их было немного. И еще ошибка: не следовало мне показывать первое действие. Оно не сделает меня Недозоровым».

Бежать надо, хотя бы под пулями. Сейчас — немыслимо. При первом удобном случае...

Гирис постучал кулаком по стене, поднял голову кверху. Тоже бревна. Вроде бомбоубежища. Он успел заметить много ходов под землей, когда шли по коридору. Может быть, склад? А таинственное сверхсильное оружие — брехня? Все может быть. Гирис долго ходил из угла в угол по диагонали. Больше он не искал никаких решений. Думать, в сущности, уже не о чем. Все ясно как божий день. Бежать, и если умирать — то в драке.

Итак, ему отпущено часа два, не больше. Часы на руке, но он забыл их завести. К лучшему. В подобном состоянии человеку трудно следить за временем. Принесли поесть. Питание сносное, даже сырое яйцо. Он выпил его с удовольствием. В детстве ему приходилось таскать яйца прямо из гнезд и пить их где-нибудь за забором, чтобы не заметили... Подумать только, даже стакан вина! Это меню для него, конечно, составил майор. Его психологические этюды, не иначе. И обращаются с ним довольно вежливо, если не считать одного удара прикладом в бок. Своего рода тоже предупредительность.

Гирис присел на соломенный матрац и закрыл глаза. В темноте хуже. Он открыл их. Неплохо бы уснуть, но уснуть он не может. Так уж устроен человек: не слух, а нервы прислушиваются к каждому стуку в дверь.

Лучики света стали слабее. Время к вечеру. Все же ему удалось вздремнуть недолго...

Та же каска, тот же автомат, семь ступенек вверх и колючая проволока, а дойти до кабинета майора не успели: моторы бомбардировщиков вдруг разбудили небо. Знакомый густой бас дальних бомбардировщиков. Гирис хорошо их знал. Бомбардировщики военных лет. До войны таких не было. Неистовый гром зенитных батарей потряс воздух и землю. Их оказалось больше, чем он предполагал. И бьют они со стороны села. За селом лес. Кругом

войска, иначе зачем было ставить здесь такой заслон из автоматических зенитных установок...

Конвойный подтолкнул Гириса в спину. Пошли обратно. Гирис умышленно не торопился. Небо усыпано белыми парашютиками разрывов, неподвижных, медленно таявших. Он успел заметить и темные тела бомб, падающих на лес. Собственно, там не лес, а парковые деревья, посаженные рукой человека. Попробовал сосчитать бомбардировщиков. Много их в небе — трудно сосчитать...

Взрывы бомб он услыхал уже из подвала. Гром не утихал, а разрастался. Дрожали бревна в подземелье, дрожала земля. Очень жаль, если сюда ни одна не упадет... Летчики не знают, что делается вот здесь...

И вдруг все стихло. Надолго ли? Гириса не выводили наружу. Провели еще одним ходом, подержали где-то в тупике без света. Было ясно, что бомбы легли в районе леса и села. В цитадель майора — ни одной... Час или два они стояли в полумраке. Рядом множество шагов, и мелькает свет из раскрывающихся дверей. Конец бомбардировки. Слышались крикливые голоса офицеров...

Опять двор. В небе зенитные разрывы образовали множество дорожек, запятых, клякс... Исчезнут скоро, и украинское небо опять засветится голубизной.

...Майор сменил форму. На нем плащ с поясом.

— Капитан Недозоров, по сообщению нашей печати, преспокойно отбыл в Германию. Он сделал свое дело...

Голос майора вернул Гирису душевное равновесие. Он даже усмехнулся.

— У нас вашей печати верят не больше, чем вы сами. Пустое, пора менять пластинку, давно пора.

— Согласен. Печать всегда была политикой у разумных людей для неразумных! Ну, к делу! Вы подпишете вот эту бумагу — и в добрый путь. Примерная школа, прекрасные инструкторы. Даже в этом году вы сможете быть разведчиком немецкой армии.

— С моей латышской кровью? Может быть, офицером сделаете?

— Может быть. Все в ваших руках.

Очевидно, напряжение последних часов не прошло. Движения и слова майора резки, нетерпеливы. Молодой. За что он получил рыцарский крест?

— Господин майор! Где вы были еще в России, кроме Одессы?

Майор усмехнулся не без самодовольства. Одно воспо-

минание о довоенных годах, надо полагать, служит ему утешением.

— Рига, Ленинград, Москва. Конечно, как представитель посольства.

— Крест у вас за гастроли по России?

— Фронт, обер-лейтенант, фронт! И Россия тоже. Вам нравится наш высший орден?

— Очень. Символичен...

— Что вы хотите этим сказать?

— Крест, господин майор, в России олицетворяет две вещи: бога и могилу.

— Битте!

Майор подвинул лист бумаги к краю стола.

— Я не буду не только подписывать, но и читать.

— Тогда мы вас немножко...

— Отправите в Германию?

— И даже хуже. Пока начнем вот с этого...

Гирис заметил две фотографии в руках майора. На одной он, Гирис, берет сигарету из рук майора. На другой широко улыбается, разговаривает с майором. Гирис не помнит, чтобы вчера он улыбался так широко и искренне.

— Позвольте, я подпишу вам на память. Такой обычай в России — дарить друг другу карточки.

— Битте!

Фотографии остались в руках майора. Удар по виску оглушил Гириса, но он устоял на ногах, покачнувшись к стене. Он не видел и не слышал, как вошел человек... Психологические этюды закончены.

— Я уже говорил вам, майор, пора менять пластинку. Все это давно осточертело...

Второй удар отшвырнул Гириса к стене, в угол, к крючку, на котором фуражка с черепом... Силен, сволочь! Железный кулак, натренированный. У солдата квадратная фигура. Да и солдат ли это? Кого они используют для мокрых дел?

Страха нет. И ненавистью это чувство не назовешь. Что-то большее. Он переставал владеть собой. Даже не удивился собственному приглушенному стону. Глаза майора не мигали. Губы улыбались, и столько в этой улыбке унизительного спокойствия! Беспощадная улыбка! Шея майора уместилась бы в пальцах одной руки Петра, но дело во времени. Нет времени у латыша Гириса. Немного ему было отпущено, а сейчас, в эту минуту, он уже потерял способность мыслить, думать или что-то решать. Все

давно решено. Теперь он знает приемы, которые использует этот квадратный верзила для удара. В третий раз ударить ему не пришлось. Гирис качнулся всем телом и сжал пальцы своих рук на шее майора. Тонкая, хрупкая шея. Много ли ей надо, и такая ли шея нужна вот для этих кулачищ... Гирис слышал выстрел, но рук не разжал. И боли не было. Потом он услыхал второй выстрел...

Были еще, но других он уже не слышал. Живые руки, может быть, и выпустили бы свою жертву, но мертвые оставались еще долго на мертвой шее, чуть выше рыцарского креста...

22

Тревожное чувство растет, не покидает Костю. Забывает о нем только в воздухе, ненадолго... Прибыла партия новых самолетов, добавили инструкторов, с фронтов прилетают летчики и штурманы для переучивания. Домик инструкторов гудит вечерами, и Федор Федорыч умаялся со своими беспокойными жильцами. Почти ежедневные полеты.

Все это есть, но нет Гириса, Полякова... И Бочкарев грозится удрать на фронт после отъезда девчат. Видно, несладко ему тоже, замкнулся, притих.

Мухина поселили в каморку к Федору Федорычу. Старик привык к его храпу, и часто они «пели» вместе. Все и всё на своих местах, но Косте не по себе...

Еще день войны ушел в прошлое. Мягкие тени ложатся на землю. Притихло небо после полетов. Не заходя в столовую, Костя решительно направился к штабу. На пути землянка, где Таня возится с парашютами, раскладывает их по своим гнездышкам. Он мог бы зайти к ней, как делал это почти всегда, но сейчас прошагал мимо, прямо к штабу.

В приемной командира осмотрел себя и постучал в дверь кабинета полковника...

Полковник стоит у окна и внимательно смотрит на вошедшего Костю. Не удивленно, не строго, а внимательно. В кабинете и Пыльников.

Костя не ожидал встретить здесь своего командира эскадрильи.

— Товарищ полковник! Старший лейтенант Коровин... Разрешите обратиться с просьбой?

Полковник перевел взгляд на Пыльникова:

— Позволим ему, майор?

— Не имею понятия о его просьбе, товарищ полковник.

— Я знаю, о чем он хочет просить.

Полковник помолчал минуту. Костя ждал только одного слова — «говорите» и не дождался.

— Трудно без друзей?

Недаром инструкторы говорят, что полковник по призванию шкраб. Летчик и бывший полковой комиссар. Такие, как Костя, никогда не были для него загадкой.

— Трудно, товарищ полковник!

— Мне тоже трудно. У меня был друг. Десять лет служили и летали вместе. Первые удары войны приняли вместе. Потом меня — в учебный центр... Он был большой друг. Убит в сталинградском небе. Недавно узнал об этом. Я просил не дивизию, а полк, даже эскадрилью, только бы на фронт. Командующий наказал меня за политическую близорукость, а точнее — за просьбу, как ваша. Вот так, старшой...

— Вы один здесь, товарищ полковник, а нас...

— Мне не хочется наказывать вас. По крайней мере, в эту минуту. Как думаешь, майор?

Пыльников почему-то смутился, даже покраснел, как юноша. Почему? Неужели...

— Будем считать, что с просьбой не обращались,— значит, и наказывать не за что. Так как ты думаешь, майор? — повторил вопрос полковник.

— Да, да, конечно, товарищ полковник...

— Ну вот и хорошо! Свободны, Коровин! — Полковник протянул Косте руку, пристально глядя ему в глаза. — И вот еще что... доверительно. Наш центр представлен к награде орденом Отечественной войны. Войны, понимаете, Коровин?

Костя вышел и завернул за угол, постоял минуту. Пыльников тоже не задержался и прошел быстро и прямо, о чем-то сосредоточенно думая.

Костя медленно пошел по тропинке к аэродрому. Техники осматривали самолеты. Завтра опять в воздух. Взревели моторы дежурных истребителей — пробуют перед заступлением на ночное дежурство...

Костя прилег на талую землю и лежал до тех пор, пока ночь не зажгла первую звездочку.


ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
ПОВЕСТЬ





1

Прибор, установленный в салоне пассажиров, показывает высоту четыре тысячи метров. Курс — Север. Внизу проплывали темно-зеленые массивы таежных лесов. Пока земля не волновала остротой перемены, Николай смотрел вниз почти равнодушно, как на давно знакомое, привычное, но когда лес оборвался и под крылом раскинулась бесконечная равнина, земля стала как бы другим миром.

Север!

Сотни километров — тундра, тундра, серая, безмолвная, таинственная, скучная, и даже яркие лучи полярного солнца не меняют мрачного однообразия. Земля кажется неуютной, и не хотелось смотреть на нее, чужую, незнакомую, но Астахов смотрел долго, пристально, чтобы привыкнуть, и привыкнуть сразу...

Глухой голос соседа донесся словно бы издалека:

— Местами будет снег, потом море, плавающие льды. Если бы не ветры, они не так скоро начали бы плавать. Странно, не правда ли? Конец июня.

Речь его медлительна, но в словах уверенность, убежденность, спокойствие.

Не отвечая, Николай закрыл глаза и в воображении своем увидел другую землю, над которой летал много лет, близкую, понятную... На пестрой, изрезанной плоскости разбросаны села, леса. Вон там, в стороне, глубокий овраг, а рядом крестьянские домишки, водоем, дымы кост-

ров... Он так ясно представил себе все это, что открыл глаза... Нет, земля пустынна: ни домов, ни деревьев. Озера, сопки, голый камень, голая тундра. А вот и снег стелется, как дым в низинах, потемневший от солнца. Растает ли?

— Растает,— как бы угадывая мысли Астахова, говорит сосед. — С июлем трудно бороться даже Арктике. Ненадолго, но растает. Еще цветы увидишь. Камни, вечная мерзлота, но цветы самые настоящие.

Николай смотрел на землю и не видел ее. Уже не хотел видеть... Настроение стало вдруг отвратительным, а мысли тяжелыми, цепкими. Каждая минута уносит его все дальше от своих мест к холодному краю земли, вечно холодному... Слегка нагнул голову, взглянул в небо. Ясное, прозрачно-голубое, но и оно кажется здесь чужим и мертвым, как земля. С трудом доходил до сознания и смысл слов попутчика. Сосед, придвинувшись к Астахову, продолжал что-то рассказывать о Севере. Его оживленное лицо и приподнятое настроение были непонятны. Что хорошего в ветре, несущемся со скоростью тридцать метров в секунду, в пурге и снежных заносах? Может быть, и красив Север и его сияния в полярные ночи, но сейчас Астахову не хотелось и думать об этом. Думай не думай, а теперь это свое, по крайней мере должно стать своим. Здесь ему жить и работать долго, может быть, не один год.

Высота четыре тысячи метров... Трудно поверить, еще труднее почувствовать, представить тот страшный ветер, о котором говорил бывалый полярник: так спокоен воздух в арктическом небе. Все кажется неподвижным, застывшим, только моторы гудят, не меняя режима работы, да слегка дрожат концы крыльев. Астахов глядит туда, где небо сливается с тундрой. Горизонт резко очерчен, как на детской картинке, и это как-то успокоило его. Горизонт для летчика — спутник в полетах. Верный и нужный спутник. Он, как друг, успокаивает, и не только в кабине истребителя, но и на транспортном...

«Пройдет. И здесь люди. Когда старожилы шагали через эту незримую границу — тоже думали вот так. Потом привыкли, судя по настроению соседа. Может, не сразу. Сразу не привыкнешь...»

Попутчик Астахова умолк, вобрал голову в плечи и задремал.

Астахов продолжал думать уже спокойнее, и спокой-

ствие пришло вместе с воспоминаниями о совсем недавнем прошлом...

Давно ли кончилась война?! Столько было радости в сердце человека: мир! Хотелось хорошо пожить, отдохнуть тогда, в первые дни... только в первые. Многие из кадровых военных уехали по домам: одни по желанию, у других желания не спрашивали. Уходили на восток эшелоны и с демобилизованными солдатами. Не о темных военных ночах пели люди во фронтовых шинелях — пели о любви, о свадьбах, о счастливых встречах. Ехали строить, восстанавливать и жить, жить... Вид разрушенных городов, сожженных сел пробуждал желание сделать их лучше прежнего, красивее. Перегоняя истребители к центру России, Астахов мысленно прощался с ними, чувствуя тревогу за свою судьбу, за свое будущее, новое, еще не известное. Он отдыхал месяц, шатаясь по улицам немецкого города, и ему осточертел такой отдых. И на своей земле месяца оказалось вполне достаточно. Тогда он и его фронтовой друг решили — хватит! Такая жизнь не для них. Уходили на восток эшелоны, уходили солдаты домой, но не все. Армия оставалась. Армия перевооружалась... Наивными стали казаться мысли, что в армиях нет нужды. Не так просто решаются вопросы войны и мира. Война окончилась, верно, но мир не устроен или устроен не так, не прочно.

Потом отдел кадров: друга — в полк, а его, Астахова,— на годичные курсы. Учиться. Сначала такая перспектива его не радовала. Сесть за книги и год слушать лекции о тактике воздушных боев, о той тактике, которую сам создавал все годы войны. Подумал о сотнях других, которые рядом с ним, на учебе,— успокоился...

Вспомнил фронтовых друзей. Нет, не то слово: вспомнил. Он о них не забывал. О них забыть нельзя, и не нужно этого делать. Федор Михеев... Когда-то учились вместе, до войны, еще в аэроклубе, в военном училище тоже вместе, и воевали вместе. Такое не часто бывало в войну. Михеев прямо с фронта попал на один из авиационных заводов летчиком-испытателем.

Перед отъездом на курсы Астахов писал ему:

«Нисколько не удивился, узнав, что ты, монумент чертов, по-прежнему отчаянный человек. Испытатель! Сильно звучит! Для тебя всегда было все ясно, и ты никогда не мучился сомнениями. Такой был и я. Был. Не тревожься. Во мне не многое изменилось. Просто не могу

найти себе прочного пристанища. Год учебы. Нужно ли это мне сейчас? Иногда думаю, что да, нужно, хотя душа рвется к большому, настоящему делу. Очевидно, годы войны изменили наши наклонности и навсегда отобрали желание покоя. Друзья рассыпались по свету. Но как свежо все в памяти! Не думал я, что так тревожно будет на сердце. Ты спросишь: какого черта мне нужно? Летать! Мне нужно летать! Нам с тобой всегда это было нужно. В этом наша жизнь. Но тут же думаю: где летать? зачем? Мне говорят: учиться. А что дальше? Не о новой войне мечтаю (даже дико подумать об этом) и не о мести за погибших товарищей. Мечтаю о другом, большом и значительном. Пока не могу дать себе ясного отчета в своих желаниях. Еду на курсы, а там видно будет. Легкого для себя искать не буду.

В последнем письме ты спрашиваешь, не женился ли я. Нет, не женился. Была у меня первая любовь, в юности. Да ты ее хорошо знаешь, мою первую любовь,— Таню. Война развела нас, и правильно сделала. Таня все годы воевала в женском авиационном полку, где командиром у них был наш бывший начальник аэроклуба Фомин. В первый год войны он летал на истребителе. В одном из боев его изрядно исполосовали «мессеры», еле склеили в госпитале, а потом — в женский полк на наш старенький У-2. Так вот, теперь он муж Тани. Все закономерно, друг, и правильно. Фомин чудесный человек, под стать Тане, да еще Герой. Живут в городе, где прошла наша юность, где мы узнали другой мир: небо. И в этот мир нас с тобой ввел когда-то все тот же Фомин.

Встретимся когда-нибудь все вместе, чем черт не шутит!

А пока обнимаю. Студент Астахов».

Порой дни учебы были похожи на фронтовые будни: ни часа покоя, ни минуты лишнего сна. Может быть, поэтому Астахов быстрее, чем думал, вошел в новую для него жизнь. Будущее становилось почти ясным и, во всяком случае, не тревожило, как прежде. Осваивали реактивные истребители со сверхзвуковой скоростью. Такой истребитель в минувшую войну мог бы сделать больше, чем два десятка поршневых самолетов. Почти все полеты в стратосфере, о которой раньше летчики имели только теоретическое представление. И каждый понимал, что на этом техника не остановится, что год-два — и скорости еще возрастут, и высота тоже, и человек должен быть

сильнее. Занимались спортом. В свободные дни отдыхали на Волге. Маленький город на огромной реке был красив, уютен. Ходили рыбачить, купаться или просто смотреть на медленно ползущие баржи и сверкающие огнями теплоходы.

Конец учебы. Снова Москва, и вот он летит на Север, туда, куда, по существу, пожелал сам...

Что это? Если глядеть сверху на льдину, которая своей боковиной не отражает солнечного спектра, она обычна: пластина, как светлая заплата, на темной, слегка волнистой поверхности воды, а недалеко другая льдина изумительной расцветки: ярко-голубая, местами чуть розоватая. Цвет переливается на глазах, и видна не плоскость, а массивная толща цветастой глыбы, сверкающей рубином. Вот они, летние льдины полярных вод. Много их плавает, но с большой высоты они кажутся неподвижными, как море, как все кругом. Кое-где на льдинах резко бросающиеся в глаза темные пятна.

— Посмотри, друг, что за кляксы?

Сосед открыл глаза, равнодушно глянул вниз.

— Тюлени. Ближе к берегу будут медведи, но с высоты их не заметишь. Их и на земле не сразу заметишь. Тюлени хорошо видны. Загорают. Любят, лодыри, солнышко.

Астахов наблюдал за морем, не понимая, почему тюлени лодыри. Скоро ли берег? Взглянул на часы. Вечер. Около десяти часов. Ослепительно яркое солнце врывалось в иллюминаторы самолета, рассыпало светлые лучи по морю, окрашивало льды, заливало небо голубизной. Там, на родине, таким ярким оно могло быть только по утрам. Впереди по курсу самолета показалась земля и рваные облака внизу. Облака сгущались. Еще несколько минут полета — и крылья неожиданно окунулись в сырую мглу. Сквозь запотевшее стекло были видны очертания плоскостей. На кромке их появилась тонкая полоска льда. Винты моторов взревели, сбрасывая с лопастей лед. Все стало мрачным, тревожным. Ни одного проблеска, как в плотном тумане.

— Знакомая картина. На земле то же самое,— спокойно заметил сосед.

— Что-то быстро очень...

— Циклоны здесь врываются без стука. Сейчас экипажу жарко. Смотри в оба.

— А метеорология? Экипаж знал ведь о тумане в этом районе?

— Ерунда! Неуправляемые элементы. В одном им надо отдать справедливость: фронтовые разделы в Арктике их не обманывают, и силу ветра подскажут, и направление, а вот туманы и перепады давления для них в большинстве случаев темная штука. Путают. Кто знал, что в облаках будет такое обледенение? А знать надо. Стихийно в природе ничего не возникает. У наших «ветродуев» не хватает местного опыта, да и творческого подхода к делу нет.

— Я могу согласиться, что наука пока не совершенна...

— Это мягко выражаясь. Местные старики за сутки вперед подскажут не только начало пурги, но и ее конец.

— И туманы?

— Бывает, что и туманы. Смотри, что делается...

Самолет вошел в плотную моросящую облачность так внезапно, что всякие понятия о закономерности явлений стали как бы несуществующими, хотя, конечно, наука и знает причины столь разительных перемен. Посадка самолета в таких условиях производится почти вслепую. Сложно, опасно... Астахов подумал об экипаже. Сильные парни, надо думать. Пока самолет летел в хорошей погоде, профессия летчиков транспортных машин казалась ему тихой, спокойной, можно летать до седой бороды. Сейчас он думал иначе. Чертовски трудно летать в таких условиях! На истребителе будет посложнее. На истребителе экипажа нет, есть летчик, один, и на истребителе единственный двигатель вместо двух на транспортном.

Николай встал, прошел к переднему отсеку, приоткрыл дверь в кабину пилотов и взглянул издали на приборы. Самолет снижался. Приводные радиолокационные станции выводили тяжелую машину на посадочный курс. Приборы и только приборы. Николай протиснулся между штурманом и радистом и нагнулся к лицу командира корабля, с которым успел познакомиться еще до вылета из Архангельска:

— Скоро?

— Вышли на посадочный.

— Я постою рядом, если не возражаешь. Хочу знать, как вы заходите на посадку при этой свистопляске.

Губы летчика дрогнули в улыбке.

— Стой. Только не мешай технику выпустить шасси.

Колеса выскочили из своих гнезд и с легким толчком стали на замки. Высота сто метров. Земли пока нет. Пятьдесят... Впереди мелькнули отблески красных огней на посадочной полосе. Астахов с трудом определил момент выравнивания. Толчки. Скрип тормозов. Он невольно вздохнул, опять подумал: «На истребителе будет сложнее. И как же часто здесь эта прелесть? Вот чертова погода!»

— Неплохо для первого знакомства с Севером. Спасибо за доставку.

— Привыкай. Пока работают приборы и голова, Арктика не так уж и страшна.

Не раз Астахов потом вспоминал эти слова. Приборы и голова... Естественного горизонта нет. Есть приборы в кабине, и есть человек, умеющий «разговаривать» с ними.

На земле сыро. Порывы холодного, колючего ветра. Сумрак. Конец северного июня...

До поселка несколько километров берегом моря. Свирепые волны с шумом пенились, выбрасываясь на очень уж пологий берег. Холодные, угрюмые, они бились о камни и с глухим рокотом откатывались назад. Бывает ли море спокойным? Оно не манило, скорее отталкивало суровостью и холодом. Астахов не жалел, когда море скрывалось на повороте к поселку дважды. Потом он не видел его, но продолжал слышать, пока не оказались в поселке. Он с удовольствием всматривался в короткие улицы и немногочисленные дома. Будто из тьмы вырвались к свету. В центре поселка двухэтажное здание, самое большое в городке. Клуб. Очевидно, только что окончился сеанс: пестро одетая толпа выходила из широких дверей. В толпе были и шинели. Люди одеты, как глубокой осенью: пальто, куртки, свитера. Слышен смех. Все как будто на своих местах. Все ли?

Подъехали к длинному, барачного типа дому. Стены дома покрашены светлой краской. Гостиница. В одной половине летчики, в другой — инженерный состав. В комнатах по три человека. Тепло, уютно.

Астахова ждали. Познакомились просто, как знакомились в годы войны. Ягодников Степан Иванович, высокий, худощавый, с землистым лицом, заметны морщины под глазами и по краям бледных губ. Сидя на кровати, он читал книгу. На глазах очки. Это удивило Николая. У летчиков зрение не должно выходить из пределов норм. По-

жав Ягодникову руку, он не удержался от вопроса. Ягодников густым баском ответил:

— Легче будет привыкать к старости. Не за горами.— Но очки тут же снял. Очки для чтения только.

Другим соседом по комнате был Крутов Василий Васильевич, офицер с добрыми голубыми глазами и красивым пухлым ртом на чистом, свежем лице. Ягодников закрыл дверь на ключ, достал из ящика стола крупную, жирную рыбину. Привычные движения ножом — и отрезанные куски веером расположились на тарелке.

— Свежепросоленная. Ловим сами на озерах. Так сказать, первое удовольствие, которое получаешь в этой ледяной цитадели.

— А еще какие есть удовольствия?

— Поживешь — увидишь.

Пока Степан готовил закуску, Крутов поставил на стол бутылку со спиртом.

— Осталась от праздника. Нужна конспирация. Здесь это не поощряется.

Астахов улыбнулся: а где же поощряется?

— Не успел заметить, из какого тайника вы ее достали. Можно подумать, вы для меня ее сберегли.

— Второй день ждем. Еще бы немного...

— Трогательно, ничего не скажешь.

Астахов посмотрел на свою койку. Чистые простыни, краями подвернутые на новое одеяло. Его действительно ждали.

Подняли стаканы. Крутов постучал рукой по столу:

— Вот так здесь чокаются.

Расхваливали розового гольца, подсовывали Астахову лучшие куски. Присматривались к нему деликатно, незаметно. Вроде бы ничего мужик. После повторной стерлись взаимные прощупывания, заговорили, перебивая друг друга. Кстати и некстати говорил Степан об ушедшей молодости и что недалек день, когда ему скажут: «Ограниченно годен к нестроевой...» Дома, на юге, жена и сын. Когда говорил о них, лицо его становилось мягче, а глаза — светлее. И сам, казалось, молодел.

— Хорошая жена, и сын — сорванец парень, но славный. После войны год с ними жарился на юге, там, где и воевал. Теперь остываю. За плечами ночь на Севере. Полгода. Акклиматизировался...

— Сложная штука — прожить здесь ночь,— добавил Крутов. — Бывало, по трое суток не вылезали из хибар,

когда задует. Писем нет, газеты недельной давности, вода из снега. Кто поленился запастить продуктами до пурги, тому вовсе кисловато. А главное, без семей... С этим «стариком» в сутки по двадцать партий в шахматы играли... Он и пел, и кукарекал, и гавкал...

— Безыдейная игра. Преферанс куда лучше! — Степан чмокнул губами.

Крутов съехидничал:

— Игры, где нужно шевелить мозгами, он считает безыдейными.

— Что-то я не замечал, чтобы у тебя мозги очень уж шевелились.

— Все же я отучу тебя от этого дурацкого преферанса.

У Крутова жена с сыном живут под Ленинградом. О них он не распространялся, но, по словам Степана, писал им через день, даже когда письма отправить было нельзя из-за погоды: кроме самолета, других видов транспорта к этому «курорту» нет.

Другие летчики не старожилы здесь тоже. Исключение составлял командир, прибывший на Север два года назад. Вспоминали войну, знакомых фронтовиков.

В комнате жарко. В каждом доме — своя котельная. Шуруй, топи сколько влезет. Солдат, приставленный к котельной, и шурует вовсю, особенно на ночь.

Николай вышел на улицу. Пронизывающий до костей холод. Ветер дул с моря. В просветы туч над горизонтом проглядывало солнце. «Светит, но не греет». Старая детская загадка. Но это не луна. Полярный день. Солнце не заходит вовсе. Время — полночь.

Николай вернулся в комнату и потрогал руками батарею отопления: нестерпимо горячая. Крутов с Ягодниковым уже на койках. Как же ему уснуть? Николай долго ворочался с боку на бок. К тому же храп Ягодникова действовал на нервы.

— Не уснешь сразу. Так будет с неделю, потом привыкнешь.

Это сказал Крутов и, повернувшись на другой бок, уснул.

Север. Дикий, холодный, скалистый и яркий в полночь.

«Ну что ж, будем привыкать...» Астахов старался быстрее заснуть, но задремал только к утру.

— Приборы и самолет должны быть исправны при любых обстоятельствах. В нормальных условиях — ошибка, а здесь — преступление. Море, тундра, особенно зимой, в полярную ночь,— неподходящее место для приземления, и парашют здесь — подушка для летчика, а не средство спасения. В море больше пяти минут не проплаваешь, а в тундре не так просто найти человека, сам же не выберешься. Так что ушки на макушке на земле и в воздухе. Контроль, десять раз контроль! Доходит?

— Доходит, товарищ полковник!

Астахов слушал командира и по-озорному подумал, глядя на чрезмерно располневшего Ботова: если мне парашют не спасение, то как же тебе? Надо думать, весит около ста...

«Прекрасный человек. Душа. Но, кажется, отлетался. Грузен стал. Север не впрок пошел»,— говорили Николаю о командире части. Он и сам уже знал, что командир умный, энергичный, опытный летчик. Сегодня первый вылет за Полярным кругом — с ним, с полковником Ботовым. Первый полет в Арктике! Летчик тогда почувствует себя здесь как дома, когда полетает в полярном небе, увидит суровое море и землю с высоты, почувствует дыхание полюса, несущее ураганные ветры и плотные туманы. Чем дышит Арктика на земле, Астахов уже знал. В памяти посадка транспортного в «муру», в памяти первый день на аэродроме, где он был пока только гость. Небо было изрезано следами — восьмерками, оставленными истребителями на больших высотах. Белые ленты следов медленно расползались в небе, образуя размытую облачность. Внезапно рваные низкие облака подплыли к берегу со стороны моря, полчаса висели неподвижно, как бы упираясь в землю, затем хлынули к аэродрому. Подул ветер. Самолеты успели приземлиться до прихода арктического циклона. Только что небо было открытым, голубым, бескрайним, а воздух синим и легким, как вдруг за минуту все изменилось. Соленый воздух, намокший и серый, напоминал пропитанную влагой вату. Небо стало тяжелым, грузным, низким. Земля — как маленький островок, берега которого скрыты мутной пеленой. Природа Севера как бы торопилась показать себя, предупредить: смотри, со мною шутки плохи!

После взлета набрали высоту и ушли к морю. Шум

двигателя едва пробивался в кабину. Он таял там, за хвостом, где раскаленные газы, вырываясь из сопла реактивного двигателя, толкают истребитель вперед со скоростью звука. Море с высоты Астахов видел впервые. Темное на горизонте, оно словно бы поднималось вверх и, сливаясь с небом, окрашивало горизонт в свинцовый цвет. Море скрылось, когда пробили облака вверх, и все встало на свое место, заоблачная картина была Николаю знакома. Внизу — белые волны неподвижных облаков, вверху — голубоватое небо, хорошо видимый горизонт. Полет для Астахова трудностей не представлял. Обычный двухместный истребитель (командир в задней кабине), обычные приборы, хорошая погода. И когда пробили облака вниз — земля для него была уже знакома. Достаточно летчику взлететь и внимательно посмотреть на ориентиры, как они запомнятся навсегда. Аэродром — тем более. На этот раз погода не менялась весь день. Воздух был чист, спокоен. В Арктике бывает и так.

Вечером Астахов с Крутовым пошли в клуб. Степан остался дома. Не любил он шума и в клуб ходил редко, а что касается танцев... «Я и в молодости обходил их стороной».

Клуб был рядом, можно было идти без шинели.

В одном зале шел фильм, в другом танцевали под звуки примостившегося в углу небольшого духового оркестра. После пустынной, тихой улицы поселка клуб казался совсем другим миром, шумным, веселым, многолюдным.

— Мне говорили, что на Севере здорово пьют. Не видно что-то.

— Пьют. Только в клуб пьяными не ходят. Отучили. Сами люди отбили охоту. Выбрасывали по методу «Эй, ухнем!». Крыльцо высокое, сам видел. В общем, без милиции обходятся. Законы неписаные и очень полезные. Стихийно возникли, но прочны, как льды. Хочешь выпить? Пей дома, но в клуб не появляйся. Впрочем, помаленьку можно, с умом...

Высоко на стене ярко раскрашенные буквы: «КЛУБ ТВОЙ — БЕРЕГИ ЕГО».

— Убедительно, ничего не скажешь.

— Во всяком случае это лучше, чем «выполним и перевыполним...». Всему свое место.

Астахов поглядывал на танцующие пары, на молодых женщин, и чувство одиночества впервые так остро царапнуло сердце. Женщин он чуждался и, когда случалось зна-

комиться с ними, испытывал смущение и нерешительность. Так было и в ранней молодости. С годами эта слабость уменьшилась, но не исчезла совсем. Хотелось любви, ласки. Были у него случайные знакомства, но они не оставляли следа ни в памяти, ни в сердце.

Почему бы ему сейчас вот так просто, как все, не подойти, не пригласить девушку, ну, хотя бы вон ту, с которой несколько раз встретился взглядом? У нее тонкое, бледное лицо, слишком бледное. Или это отсвет от ярких настенных ламп? Танцевала она легко, чуть равнодушно. Так ему показалось. Он следил за ней, но, когда она оборачивалась в его сторону, быстро отводил глаза. Злился на себя, но отводил. Сначала Николай думал, что на него посматривают как на нового здесь человека (поселок как старая российская деревня: все на виду), а потом... Нет, эта девчушка начала волновать его. Он не мог сказать почему. На ней не было модного платья, скорее наоборот: слишком простенькое, не вечернее, во всяком случае, и вид у нее был скучающий, и танцевала она, немного склонив голову, без видимого вдохновения. Для Николая во всем этом была своеобразная прелесть. Она не была красивой, и все же он следил за ней и не мог не делать этого. Что в ней все-таки привлекало его? Умение так свободно держать себя в танце? Или ее равнодушие к партнеру? А может быть, ее внимание к нему, еще незнакомому ей человеку? Многие парни, гражданские и военные, в перерывах подходили к ней, смеялись, балагурили, а она нет-нет да и бросит на него взгляд и не спешит отводить глаза в сторону. Бог мой, сколько же у нее здесь знакомых! А глаза ее, большие, темные, чем-то напоминали глаза Тани, единственной в его жизни девчонки, которую когда-то любил. Немного прошло времени после этого «когда-то», всего шесть лет, но среди этих шести лет — четыре года войны, а эти годы как половина жизни. Нет той юношеской любви сейчас, давно нет, но Таня осталась для него другом на всю жизнь. Она осталась в памяти, как осталась в памяти юность и первая неповторимая любовь.

— Послушай, Вася,— обратился он к Крутову,— видишь, девушка с кудряшками? Вон та, хихикает с ребятами.

Тот вопросительно глянул на Николая, потом на девчонку.

— А, Полина!

— Отличная характеристика! Может быть, еще что-нибудь добавишь?

— Работает в медпункте. Говорят, был муж или любовник, черт их разберет, но уехал. Болтают, были еще, но утверждать боюсь. Ну, вот теперь все, что знаю. Остальное можешь узнать сам. Потанцуй. Ты холостяк, тебе можно.

— А женатым это противопоказано?

— Видишь ли, поселок маленький, а сплетен на целый город. Многие ожидают жен, ко многим приезжают на время. Потанцуешь с одной два-три вечера — и готово. Такое развезут, да еще с домыслами... Вот так, дорогой.

— Пожалуй, приглашу.

...Танцевали весь вечер. Астахов забыл про Крутова, а когда вспомнил, его уже не было: ушел домой. Не обиделся бы! Астахов провожал Полину домой.

По улице шли медленно. Полина молчала, поглядывая вперед. Иногда с легкой улыбкой бросала взгляд на него. Близость женщины и ласковое пожатие руки волновали Астахова. Было приятно чувствовать, что ты нравишься. Ему откровенно намекали на это. Не отвечать тем же он не мог. Ему нравилась Полина, и он не хотел уходить от нее.

Перешли овраг, вышли на гору. Длинный низкий дом.

— Я войду первая, а ты минутой позже. Соседи, сам знаешь.

Сам знаешь! Откуда ему знать? Была минута, когда он хотел уйти, но мысль — она будет ждать и что подумает о нем, если он не войдет,— толкнула его пойти за ней. И не только мысль...

Полина тихонько прикрыла дверь.

— Выпить хочешь?

Она испытующе смотрела на него.

— Хочу!

Астахов выпил, попробовал шутить. Полина выпила одну стопку спирта и больше не стала. Он не настаивал, желая, чтобы все быстрее кончилось.

Когда Николай почувствовал рядом женское тело, он вдруг понял, что не сдвинется с места. Стыд и отчаяние сжали бешено колотившееся сердце.

Он уткнулся лицом в подушку. Полина резко отодвинулась. Николай не видел, но представил злое, брезгливое лицо ее. В молчании прошло несколько минут. Николай попробовал успокоиться. Теперь уже не стыд, а злоба

на самого себя, на нее, так легко предлагавшую себя. Он рывком приподнялся. Полина сидела рядом и пристально смотрела ему в лицо. Он не заметил ни злости, ни усмешки. Ее лицо преобразилось: оно не было таким там, на танцах, и здесь до этого. В глазах мягкий свет, губы улыбались, и это была не усмешка и даже не сочувствие, а улыбка друга.

— Успокойся, милый...

Она провела рукой по его взлохмаченным волосам, осторожно притянула к себе. Голос ее был тихий, вздрагивающий. Николаю, казалось, что она вот-вот заплачет.

— Сначала я подумала, что ты избалован женщинами... Устал. Я ошиблась. Таких я не встречала, не знала, не видела. Хороший мой...— Она говорила, лаская, и смысл ее слов медленно доходил до сознания Астахова.

Ему стало лучше, спокойнее, и хотелось слушать ее долго и лежать вот так, прижавшись к ней.

— Не скрою, я знала мужчин. Я хотела любить, а любви нет, милый. Ты сам не знаешь, что наделал. Я хочу тебя и боюсь тебя.

У нее красивое лицо, красивое тело... Она говорила быстро и возбужденно, и он не сомневался в искренности ее слов. Какое-то чувство подсказывало ему, что она много страдала, что жизнь ее сложна и что в эту минуту она требует простой человеческой ласки. Ведь и он этого хотел, только она не знала. Теперь он успокаивал ее, целуя влажные от слез глаза, мягкие губы. Они вдруг стали совсем рядом и душой и телом. Он слышал стук ее сердца и верил ей, и уже ничего не пугало. Неизбежное стало желанным.

Астахов вернулся в общежитие, когда Крутов с Ягодниковым досматривали десятые сны. Он все еще чувствовал ее поцелуи, чувствовал ее тело, видел ее глаза... Он не переставал думать о ней, думать противоречиво. Что же это за женщина? Она целовала его искренне, не говорила, что любит, но так целовать можно только любимого, и ему хорошо от этой мысли. Но когда он думает, как легко, откровенно она предлагает себя,— на душе становится муторно. Вспомнит ли она завтра, как его зовут? Любовь? Какая, к черту, любовь, если, может быть, таким же образом завтра ее будет провожать другой!

Когда он уходил, она, как затравленный зверек, смотрела на него, прикрывая одеялом грудь...

— Придешь?

— Приду.

Тогда он верил: придет. А сейчас?

«Вот чем кончаются твои мечты о любви, настоящей, большой...»

И, когда засыпал, он продолжал думать о ней, видеть ее...

3

Этот час казался Николаю фронтовым, и он ощутил давно знакомое состояние напряженности, тревоги, ожидания, когда преобладает только одна мысль: противник где-то рядом и должен быть атакован. Всматриваясь в потемневшую синеву неба, он искал в этом необозримом пространстве маленькую точку, что должна возникнуть в небе. Самолет. Его нужно атаковать и сфотографировать. Минутами он забывал, что это не противник, а цель, выпущенная в стратосферу для проверки бдительности истребителей. Северный Ледовитый океан — нейтральные воды. Летай, пожалуйста, сколько хочешь, но, ради бога, не суйся к границам, а то будет драка. Так мысленно летчики обращаются к тем, кто взлетает с противоположного северного материка и которых легко нащупывают радиолокаторы. Где бы самолет ни летал, на земле его видят. Антенны ловят отраженные от самолетов сигналы и посылают их на экраны. За ним следят на земле операторы и штурманы на командных пунктах. Такие же сигналы идут и от истребителя, которого по радио наводят на цель. Учебные перехваты и бои. И истребитель уже не просто истребитель, а перехватчик. Небо по-прежнему под охраной, как земля. Эта охрана должна быть прочнее, чем она была в сорок первом.

Внизу светлые дорожки облаков. Истребитель Астахова в стратосфере. Небо стало темнее, видимость хуже. С такой высоты кажется, что и косые лучи солнца тоже где-то внизу. В небе два самолета, как затерявшиеся в океане лодчонки. В тяжелой машине несколько человек, им веселее. В истребителе один, и чувство одиночества вынуждает летчика чаще смотреть на часы. Скорее бы цель — бомбардировщик.

— Справа, впереди по курсу!

Команда с земли. Астахов приник к прицелу. Самолет покачивается в разреженной атмосфере: воздух здесь слишком слабая опора. Еще секунды — и широкие крылья бомбера заполнили кольцо прицела. Завертелась плен-

ка в кассете фотокинопулемета. За хвостом условного противника светлый след и вихрящийся поток раскаленного воздуха. Истребитель качнуло. Его зацепило потоком. «Близко. Пора выходить из атаки. Перевернет, дьявол!» Астахов бросил самолет вниз.

— Опасная дистанция, истребитель! Иди домой. Порядок! — говорил по радио кто-то из экипажа «противника». Астахов подумал: когда будет реальный противник, таких слов он не услышит. Домой...

Истребитель летел к расчетному месту, откуда курс на аэродром. Вот теперь действительно порядок. Еще пятнадцать минут, и под крыльями будет не зловещее северное море, а тундра и аэродром. Нет, оказывается, еще не все...

— Будьте внимательны! Заход по приборам, по схеме. С моря туман. Увеличьте скорость! — передали по радио с земли.

С моря туман! А как хорошо за облаками. Облака спокойные, ровные, без признаков шторма. Не верится, что так плохо внизу.

— Передайте горючее!

Уж если руководитель полетов открытым текстом запрашивает остаток горючего, внизу действительно плохо. Астахов давно в воздухе, горючего осталось мало. Ошибки в расчете на посадку допустить нельзя. Ни одной лишней минуты в воздухе! На земле он виден на экранах. За ним следят те же операторы, которые только что наводили его на цель. Включены посадочные огни. Они пробивают пока еще неплотный туман, указывая направление посадочной полосы. Их нужно увидеть вовремя. Астахов направил самолет вниз, в облачность. Начало болтать. Стрелки приборов дрожали вместе с самолетом. Земля рядом, но он ее не видит. Выполняя команду, Астахов подворачивает самолет в створ посадочной полосы. Хочется взглянуть на землю, но этого делать нельзя. Взгляд уйдет от приборов, и истребитель останется бесконтрольным. Без приборов невозможно определить положение самолета в облаках или в тумане. Этого не может делать и птица. Земля все ближе. Одно неверное движение — и столкновение с ней неизбежно. Земли не видно, и поэтому она пугает своей близостью. С каждым метром потерянной высоты ее чувствуешь напряженными нервами. Стрелки приборов дрожат, но не уходят от посадочных «нулей». Красные отблески забегали по фо-

нарю кабины, пробиваясь сквозь светлую мглу. Пора... Николай уменьшает обороты двигателя и переводит взгляд на землю. Приборы уже не нужны, они сделали свое дело, теперь только глаза человека и полоса. Она видна. Еще секунды — и колеса чиркнули по бетону.

Техник помог Астахову вылезти из кабины. Хорошо на земле, прочно, хотя и сыро, ветрено. Холод сквозь кожаную куртку проник до вспотевшего тела. Север!.. Море и тундра... «Ушки на макушке» — вспомнил Ботова. И все же хорошо на земле, хоть и холодно, тело легкое, будто невесомое. И в душе радость. Так бывает всегда после трудного полета.

—...Первый раз я вылетел на перехват цели, когда солнце освещало южную половину нашего шарика,— вспоминал Ягодников, когда вернулись с полетов. — Оно гуляло за горизонтом. Все же ничтожная часть света пробивалась, на час, не больше. Да и какой там свет! Ерунда! Сумерки. В тот день облаков не было. Одни звезды. Море и звезды, а когда вылетел и набрал высоту, только звезды, вверху и внизу, и не поймешь, где ярче. Они искололи море, мерцая тем же светом. Такая красота меня не устраивала. Я уткнулся в приборы. Без них перепутаешь все к чертям и будешь набирать высоту, падая... «Противник» прошумел мимо, и, как ни разрывались наводчики с земли, я так и не видел его: боялся оторвать взгляд от приборов. Это было мое первое знакомство с Севером. — Рассказывая, Степан продолжал выковыривать из очищенной картофелины пятна. После такой обработки от картошки не много оставалось. Что поделаешь, картофель доставляется раз в году ледоколом. Николай и Крутов чистили рыбу, не перебивали его. — Когда возвращался домой, в кабину брызнул свет. Он мелькал перед глазами, то пропадая, то сверкая, как в сказке, только тогда мне было не до сказок. Вверху, по идее, должно быть небо, но я не узнал его. Яркие, светлые полосы, сосульки, ленты, цветастые, причудливые, бешено прыгали, перескакивая с места на место. Такого и во сне не увидишь. Будто вселенная с ума сошла. В то время я испытывал то же самое, что испытывал в детстве, глядя на молнию, но мне было не по себе. Вспомнились фронтовые ночи, прожекторные поля... Говорят, ионосфера бушует где-то там, в преисподней. Может быть, теоретически, но мне это сияние показалось рядом, в кабине, на плоскостях, на приборах, и невозмож-

но было из него выбраться. Я был как в тисках. Хотелось облаков, укрыться в них, но не было ни одного облачка. Да при облачности и сияния, оказывается, нет. И все же такая свистопляска цветов имеет и хорошую особенность: сияние так же быстро пропадает, как и появляется. Работает, так сказать, с перерывами. Когда оно погасло, стало спокойнее. Ночь меня не пугает, а вот такие причуды выводят из равновесия. После и с земли я не мог, как все, смотреть на пожар небесный. Начнешь «ночевать» — увидишь,— добавил он, взглянув на Астахова.— Привыкай. Будет много любопытного, а туман — везде туман.

— И долго такое будет длиться?

— Может, час, может, день-два. Ветерок подует с востока, разгонит. Тебе до Полины дойти не помешает, во всяком случае. Тут все дело в инстинкте. — Крутов дернул плечом, пристраивая на плите сковороду с рыбой.

Крутов вовсе не был убежден, обидится Астахов на шпильку или ответит в том же духе. Что за парень?

— Больше рассчитываю на разум.

— Не подведет тебя... разум?

— В таких делах подводят инстинкты, а разум — вряд ли!

Несколько дней до этого в разговорах, подшучивая друг над другом, новые друзья Николая ни словом не обмолвились о Полине, но он знал, что рано или поздно заговорят. Это было естественно здесь, на краю земли, где желание дружбы, готовность к взаимным уступкам были заметны во всем, на земле и в воздухе, на аэродроме и на отдыхе, даже в приготовлении пищи и уборке комнаты. Когда новый человек становится вот таким образом психологически совместимым со всеми или, по крайней мере, с теми, с кем живет, — наступает следующая грань: дружба, а вместе с ней откровенность. Эту грань перешагнули Крутов с Ягодниковым. Различные по натуре, они чувствовали себя вместе прекрасно. Несколько по-разному оценивая Астахова, они, не сговариваясь, решили, что надо действовать, когда узнали о связи Николая с Полиной.

— Я не привык осуждать женщин, — грубовато, но наставительно говорил Степан.— Они для меня загадочны, в некотором отношении, конечно. Знаешь, многие отвратительно ведут себя... — Степан мельком глянул на разом помрачневшее лицо Астахова и поспешил продол-

жить: — И когда им попадается хороший человек, они ни черта не видят в нем хорошего, кроме, понимаешь... Зачем нужно было твоей Полине трезвонить по телефону, разыскивая тебя? И это через день знакомства! Пойми меня правильно, говорю как товарищ, так сказать, единомышленник.

Астахов молчал. И хотелось ему рассказать все, но не рано ли? Вряд ли поймут его. После первой встречи два дня он не видел Полину и, по существу, избегал ее, по крайней мере не искал. Встретились случайно (а может быть, и нет) на улице. Разве можно было обвинить ее в том, что тогда она, не скрывая, не кокетничая, подошла к нему, зло сверкнула глазами и выпалила одним духом: «Кобель, как все!..» — и хотела уйти. Он удержал ее. Она не заставила себя упрашивать, хотя он был твердо уверен, что, не удержи он ее в тот момент, она ушла бы навсегда. Не может он забыть ее плотно сжатых губ в ту минуту, недобрых глаз...

— Поступай как знаешь! — Не дождавшись ни слова от Астахова, Крутов грохнул сковородкой. — Ты холостяк, а Полина заметная баба, только ходит по поселку как голая. Ее видно насквозь.

— Кто же ее раздевает?! — Слова Астахова прозвучали неожиданно грубо. — Каждый смотрит не на платье, а что под платьем, но чтобы признаться в этом, шалишь! Неудобно, засмеют. Я не раздевал ее, она сама это сделала. И, по-моему, это честнее. Она не притворялась. Я мало знаю женщин. Можете осуждать меня, не возражаю.

Теперь молчали Крутов и Ягодников. Себе-то можно признаться, что Астахов прав хотя бы в том, что и они посматривают иной раз на Полину с тайным вожделением. Красива, черт... Лучше бы совсем их не было здесь, проклятых!

Степан, обжигая пальцы, тащил сковородку с жареной рыбой на стол.

— По нулям! Это хорошо. Считай, что все в порядке. Мне кажется, ты нас и мы тебя понимаем...

— Ты нас... я вас! Нам нечего делить. У вас семьи, а я один, поймите, один, черт возьми!

Вот чего бы он не хотел — этой дурацкой сентиментальности! Расчувствовался, да так, что Крутов удивленно дернул плечом.

— Ладно, не обижайся на нас. Чепуха все. Лучше

Полина в руках, чем... журавль в небе. В конце концов, есть два рода женщин... — И это говорил Крутов, скромный человек. Степану это бы больше шло. Крутов выглядел смущенным, а Степан застыл с вилкой в руке. Что-то не так. Опять провал. Астахов пристально посмотрел на них — и вдруг взрыв смеха. Смеялись долго. О Полине больше не говорили.

После ужина Астахов надел куртку.

— Я вернусь... «когда растает снег».

— Только не хлопай дверью и не топочи громко копытами. Разбудишь.

— Чтобы тебя разбудить — копыта не помогут. Гранату за окном разве что.

...Не испытывала Полина раньше такого странного и мучительного состояния: любовь и сомнения, желание счастья, простого женского счастья, и непрочность ее положения, ее жизни. Жизнь всегда казалась ей легкой, приятной, без всяких там драм и трагедий, а счастье... А что такое счастье? Оно кругом, рядом, позови только...

Однажды ей сказали: катишься по волнам, да еще от земли, от берега. Утонешь. Она смеялась: «Я хорошо плаваю!»

Сейчас она по-новому вдумывается в смысл этих слов. Двадцать восемь лет, а берега не видно.

Полина занялась постирушкой. Уже много вечеров подряд сидит дома. Утром на работу, с работы домой — и никуда больше. Не ходила даже на репетиции в клуб. За ней приходили, но она непонятно для всех говорила: «К шутам ваши пляски...» Ее пробовали уговаривать, но она слушала, молчала и не шла. И злилась на всех. Больше — на себя. За свое не так уж малое прошлое, беспорядочное, беспечное прошлое.

Бросила учиться, не закончив десятого класса, и в двадцать лет объездила чуть ли не полстраны. Деньги, средства... Ерунда. Зарабатывала сама, да родители иногда подкидывали, хотя она и не просила. На одном месте долго не сидела, не хотела, да и начальство не всегда понимало ее стремлений. Но куда, к чему она стремилась — не могла бы объяснить. Ко многому стремилась: все увидеть, все узнать, жить весело, независимо, быть свободной, вольной птицей. Родным писала, что в геологической партии. Обманывала с легкостью. Еще маленькой девочкой уразумела: можно обмануть, уличат — попроси прощения. Простят. Так и жила. Надоест ездить —

поживет дома, потом снова приносит путевку по призыву молодежи — и опять в дорогу: либо на строительство ГЭС, либо на строительство нового комсомольского города.

Не сказать, чтобы летала она по жизни этакой красивой бабочкой. Нет, работать умела, схватывала все новое на лету и не ленилась, зная, что белый хлеб в черной земле родится.

Война застала ее в Сибири на строительстве железной дороги. Она кинулась домой. Вдруг поняла: родители дороги ей, им плохо без нее, ей плохо без них — быть только вместе. До родного города не доехала: город захватили немцы. Она неожиданно осталась одна. Впервые узнала, что такое одиночество, страшное, непроходимое, непонятное. Что же теперь делать? Куда податься и зачем? Нет, нет, не падать духом. Одиночество ненадолго выбивало ее из привычной колеи, она и не давала разрастаться этому чувству. Люди, чужие, строгие и добрые, помогли ей. Она уехала с большим заводом на Дальний Восток.

Сергей тоже работал на этом заводе. Чудак! Ну можно ли было придавать серьезное значение любви в годы войны! «Фактически мы муж и жена, глупо думать о каких-то формальностях», — говорила она ему, когда он предлагал узаконить их отношения. Он не был согласен с ней. Добился отправки на фронт. Больше о нем не слыхала. Ей было жаль его, но она не упрекала себя. Она ему отдала все, что имела, но не могла рисковать свободой, а потом... это была не любовь. Она не знала, что такое любовь. Теперь это ей понятно, ох как понятно! Окончилась война. Родителей она не нашла. Сгинули. Подалась на Север, да еще на Крайний. Она думает: вернуть бы свои двадцать! Может быть, не рвала бы свою жизнь по кусочкам, и мысли не были бы так тягостны. Одна... Даже писем подруг не стало. Но они живут, и они счастливы, в этом у нее была обидная уверенность. Почему-то ей постоянно хотелось нового, необычного, и новых людей, и новых мест. Она хотела, чтобы и солнце когда-нибудь разом засветило бы по-новому. Еще год назад, сидя в самолете, который увозил ее на Север, она почувствовала, что «колеса скрипят», но отступать было поздно, да и не в ее характере. На Севере ей предложили медпункт какого-то оленеводческого колхоза. Единственная прочная специальность: в годы войны окончила

курсы медсестер и работала в госпитале таежного города. Ехать к ненцам она не решилась. Почувствовала возраст: молодость уходила. Срок по договору можно было отработать и здесь. Так и осталась в поселке, где много своих людей.

Все чаще появлялась мысль о замужестве, но теперь этого никто ей не предлагал, хотя по-прежнему не было недостатка в ласковых, умоляющих словах, обещаниях. Они начинали злить ее. Она не привыкла быть одна, а когда это случилось, пришел страх ожидания чего-то еще не осознанного до конца. Полина подбирала подруг, которые не торопились уходить от нее, но у них в конце концов складывалась своя жизнь, она опять оказывалась лишней. Так было и с мужчинами...

Новое, не изведанное раньше, пришло неожиданно, всколыхнуло душу, и жизнь стала запутаннее, сложнее. Увидела Астахова, и как кто в сердце кольнул. В тот первый вечер хотела убежать от него и не могла. Хотела убежать от себя — но от себя не убежишь...

После бродила по поселку, и желание видеть его было нестерпимым. Потом поняла: он избегает встреч. Она уже не думала о замужестве, нет. Она хотела быть с ним хотя бы немного, хотя бы немного настоящего, осмысленного счастья...

Николай вернулся, и с каждой встречей она теряла голову. Ее чувство становилось острее. Все преобразилось: жизнь, думы, настроение, и если бы только не мысль, что все может кончиться, как бывало... Тогда жизнь для нее потеряет всякое значение. Вот и сейчас он войдет, она обнимет его, заласкает, разгладит морщины на его лбу, и опять счастье.

Она чуть не вскрикнула, услышав стук в дверь, но, когда Николай вошел, нашла в себе силы остаться на месте и быть спокойной, насколько могла. Молча и настороженно они глядели друг на друга.

Почему у него такой взгляд? Сомнение или, что еще хуже, равнодушие? Тогда зачем он пришел?

Но обида не успела дойти до сознания. Николай обнял ее, прильнув лицом к ее плечу. В этом его движении такая — словно детская — растерянность, которую он пытается скрыть, что Полина поняла: ему трудно. И тут же подумала: «А мне? И мне трудно, но я сильнее, и любовь моя сильнее, и я буду защищать и свою, и его любовь».

— Я ненадолго... — Николай смутился. Полина молча слушала. — Пойми меня правильно, — уже решительнее продолжал он, слегка отстраняя ее от себя. — Я никогда не спрошу тебя о твоем прошлом, но в поселке болтают черт-те что. Ты должна отойти от тех, кого знала раньше. Так лучше для меня... для нас. Пройдет какое-то время, и языки приутихнут, и товарищи привыкнут.

— Какое дело твоим товарищам! — Полина сама не ожидала, что обида вдруг с такой яростью прорвется наружу. Нервы ее были напряжены до предела. — Разве они знают, что я люблю тебя? Тебе стыдно признаться им в своих чувствах ко мне? Ты даже стыдишься и мне лишний раз сказать об этом!

— Поля, я люблю тебя!

— Спасибо. Так, значит, товарищи... Поэтому ты и сейчас ненадолго. Чего ты еще хочешь?

— Я говорил.

— Я сделаю так, как ты хочешь. Меня больше не увидят, разве что в бане и на работе. — В последней фразе — злая ирония.— Еще чего?

Николай замялся, заметив воинственные огоньки в глазах Полины. Он не хотел скандала.

— Я помогу тебе, — сказала Полина, отойдя от Николая к окну.— Ты не придешь ко мне неделю, две, может быть, месяц. Так лучше. Может, и любви-то нет? Делай как знаешь, — очень спокойно заключила она.

Если бы Астахов знал сейчас, о чем думает эта женщина! Полина еле сдерживала себя, чтобы не броситься к нему. «Неужели уйдет? Не пущу! Милый, ты нужен мне. Только бы не заплакать».

— Вчера тот парень, с полярной станции... Он слишком вольно держит себя с тобой. Пойми, это не ревность...

А ведь он не хотел говорить об этом, не хотел...

— У меня с этим парнем не могло быть ничего ни раньше, ни теперь тем более. Пойми, не могло быть...

Николай не знал, как продолжить разговор, чем заполнить угрожающую паузу. Полина продолжала стоять у окна. Плечи ее вздрагивали. Не сдержалась все-таки, заплакала. Николай сел на стул. Ему захотелось уйти. Уйти?! Нет. Подумал о другом: почему ее прошлое не волновало его до такой степени раньше и только сейчас он думает о нем с тоской и неприязнью? Любовь к Полине и ненависть к ее прошлому переплелись и породили

в нем мучительное чувство. С радостью он уехал бы с ней куда угодно, еще дальше на север, к полюсу, только бы избавить и себя и ее от наглых глаз.

Николай сидя смотрел в пол, боясь поднять глаза на Полину. От его решимости поговорить с ней начистоту, с которой шел сюда, не осталось и следа. И знал он, что поступает с ней сейчас не по-мужски: она-то при чем! В самом деле, сидит дома, в своей клетушке, и ждет, ждет его, и вот он пришел... Но сделанного обратно не вернешь. И избавиться от ревности он не может так просто. Да, да, самой настоящей ревности, хотя и боится признаться ей в этом... Сидел, думал, не замечая, что Полина давно смотрит на него с тоской и нежностью.

— Коля, я понимаю, о чем ты думаешь. Уходи. Придешь, когда можно будет, когда найдешь нужным.

— Полина...

— Очень прошу тебя: уходи.

— Я останусь.

Николай встал и притянул ее к себе. Она не отстранилась.

— Я люблю тебя, но ты должен уйти сейчас.

Полина поцеловала его порывисто и нежно. Провела рукой по лицу и подтолкнула к двери.

Астахов вышел. По пути в общежитие он пытался привести в порядок неразбериху в мыслях. Она любит его, в этом он не сомневался. В последние дни он дважды заходил в поликлинику, где работала Полина. Там она смущалась, разговаривая с ним в приемной на виду у всех, но и не скрывала радости. Тогда все было на своих местах, но, когда он оставался один, ее прошлая жизнь не давала покоя. Он представлял того, который уехал... Почему она не уехала с ним? Хуже всего, что Николай не может задать такого вопроса Полине, а она не делала попытки рассказать об этом. Ему хотелось знать правду, но только не от нее, а как-нибудь случайно, и чтобы эта правда была бы не очень жестокой. А собственно, какую правду он хочет знать? Разве Полина не вольна была поступать так, как хотелось ей? Она не бесхарактерная женщина, и вряд ли ее можно было бросить, скорее наоборот. Значит, любви не было. И это как-то успокаивало. Нет, не стоит копаться в прошлом. Подсознательно он чувствовал, что несправедлив к Полине. Тогда он готов был оправдывать ее и осуждать себя. Вот как сейчас, например...

Была минута, когда он чуть не вернулся к ней, но, постояв немного, пошел дальше.

Туман оседал на лице холодными каплями. Дома серой массой вырисовывались в белой гуще. Лампочки на столбах превратились в размытые светлые пятна. Скользкие мелкие камни шуршали под ногами, нарушая тишину белой полярной ночи.

Николай осторожно приоткрыл дверь комнаты. Товарищи спали. Под одеялом, чувствуя приятную теплоту, он прислушался к шуму усиливающегося ветра: если туман разгонит — завтра полеты.

4

Впервые за год Фомин остался один, без Тани. Он знал, что так будет. Разве могло быть иначе? Конечно, нет. Для нее и для него тоже. Родной город, уютная квартира... Существенная и необходимая деталь жизни, но это еще не жизнь. Война кончилась, на земле тихо, и небо чистое. Нет, не тихо на земле. Отстраиваются города, обновляются села. Немного нужно было времени, чтобы привыкли люди к войне, когда она началась, еще меньше потребовалось, чтобы привыкнуть к миру. Но война рядом, совсем рядом, почти в каждой семье. Война в висящих на стенах портретах в траурных рамках, в бессонных ночах одиноких женщин, в их слезах, которые они проливают украдкой, оставаясь один на один с погибшим. Война в больных сердцах инвалидов, невольно ждущих внезапной смерти, в госпиталях и больницах; война в искалеченных детских душах, остро соприкоснувшихся с разрушениями и смертью. Сколько же нужно времени, чтобы забылось... Нет, не забудется! Мир может быть долгим, но четыре года останутся в памяти людей, переживших войну, вечно, пока живут.

И Фомин видит, чувствует эту войну, вчерашнюю. И она будет всегда с ним, особенно сейчас, когда нет Тани. Его берегут, сочувственно берегут. В конце войны он был списан подчистую. Лежал в госпитале полгода. Опять смерть прошла мимо, а он видел ее, видел не однажды... Когда боль в сердце была острой, продолжительной, от которой терялось сознание, тогда смерть казалась ему избавлением. И все же желание жить никогда не ослабевало, наоборот, росло с каждым уходящим днем, и это желание было настолько сильным и целебным, что

пребывание его в госпитале не затянулось. Он вернулся к жизни, но уже никогда не вернется в строй. Отставка. Пенсия и Звезда Героя. Награду ему принесли в госпиталь. Это было в мае сорок пятого.

Просторная палата с высоким потолком, кресла, диваны, мелькание белых халатов. Госпиталь в Сокольниках как дом отдыха, если бы не бинты и не запах... За широкими окнами яркий, весенний свет, зелень парковых деревьев, отдаленный шум города. Кто мог двигаться, пришли сами: с перевязанными руками, на костылях, с обожженными лицами или без внешних признаков увечья, но слабые, бледные, исхудавшие. Кто не мог — того привезли сестры на колясках. Жертвы войны. В тот весенний день жизнь казалась настолько прекрасной, что даже люди, стонущие от боли, находили в себе силы думать — не все потеряно и нельзя жить так, будто ты уже мертв. Жизнь и смерть непримиримы. Жизнь сильнее, а когда смерть придет... Черт с ней, рано или поздно, а когда-нибудь надо. Но в тот день думали только о жизни.

Фомин устроился в кресле, вытянув больную ногу: в кость, ниже колена, вставлен металлический стержень. Он останется там навсегда, он будет напоминать о войне каждый день.

Вошли врачи госпиталя, офицеры, генерал армии. Генерал не вызывал, а подходил сам и вручал ордена. К груди Фомина, на пижаму, он прикрепил звезду, горевшую желтым пламенем. Фомин, как мальчишка, шмыгнул носом...

Потом юг, курортный городок. Горы и море. Он любил вечерами бродить по набережной, прислушиваться к ритмичному шелесту волн, любил укрыться на скамейке за зеленью и мечтать. Иногда накатывалась тоска, тогда он спешил на берег, к самой воде, и молча смотрел в море, огромное, синее, ласковое. Подумал однажды: чтобы разговаривать с морем, надо уметь молчать. Море ему стало другом, и оно казалось ему тоже одиноким, рвущимся на живую землю, к людям, к свету, к жизни. Так проходили часы. Он уходил опять на набережную, видел влюбленных и думал о своей любви.

Она пришла, и это случилось неожиданно. Поздно вечером, хромая, он шел в свой корпус. Массивная дверь не успела захлопнуться, как она обняла его, усадила на диван. Тесно прижавшись, они сидели счастливые, и Фоми-

ну казалось, что весь мир теперь принадлежит ему, мир и счастье. Как долго тебя не было, счастье!

— Ты ждал меня?

— Нет. Скорее всего нет. И в то же время я жил тобой. Я не верю, что ты здесь, рядом, милая...

— Хочешь не хочешь, а придется поверить. Я искала тебя и нашла. Я люблю тебя.

— Таня, мне сорок... Я старше тебя намного, к тому же болен. Я инвалид, Таня!

Таня зажала ему рот рукой.

— Прекрати, слышишь! Хватит того, что ты сделал: сбежал от меня. Я тебе этого не прощу. Поцелуй меня.

...Сейчас, думая о Тане, он не тревогу испытывал, а что-то другое, более сложное. Боязнь, что счастье оборвется? Малодушие? Может быть, немного того и другого. Он вспоминает ее улыбку, чуть заметные складки в уголках губ, тепло ее рук — и ему хорошо. Когда она рядом, сомнений нет и ни одной дурной мысли; когда ее нет, его мучает вопрос: что ее удерживает с ним — любовь или жалость? Однажды она настойчиво, в категорической форме напомнила ему о необходимости больше быть на воздухе, следить за собой, за своим сердцем, а когда он обнял ее, она сделала слабую попытку отстраниться... Или ему показалось, что она отстраняется? Может быть, болезненная впечатлительность делала его чуть-чуть эгоистом и он ничего не значащим вещам придавал значительность? Целый год они, по существу, отдыхали, медленно, насколько позволяла нога, бродили по горам, забирались в густую южную зелень, загорали под жарким солнцем или уплывали в море на лодке. О годах войны говорили редко, хотя многое напоминало о ней. Когда раздевались, он видел глубокий шрам под ее грудью, чуть ниже сердца. Сорок четвертый... На своем маленьком У-2, подбитые зенитками, сели на лес. Самолет сожгли, а сами, вдвоем с подругой-штурманом, перебрались через линию фронта. Тогда-то осколок снаряда и нашел Таню. Фомин на самолете вывез их в тыл, в госпиталь. Вовремя... Его тело, еще по-юношески подвижное, в нескольких местах тоже хранило следы операций и ран.

Им было хорошо вдвоем. А потом пришло неизбежное. Он должен был привыкать к тому, что сказала как-то Таня:

— Буду летать на транспортном, но ты не беспокойся. Учиться здесь, на месте, понимаешь?

Да, он понимал. Она должна жить, и он должен жить, но как?

Таня летала вторым пилотом на пассажирском самолете, по два-три дня не бывала дома. Фомин уходил к друзьям, ловил рыбу или отвечал на письма, в которых неизменно вспоминался фронт, и ждал. Ожидание было трудным. Пробовал просить работы в местных организациях, связанных хотя бы косвенно с авиацией, но врачи неумолимо исключали всякую возможность не только работать в авиации, но и вообще работать. Были встречи со школьниками, президиум на торжественных собраниях... Это не могло продолжаться бесконечно. Сорок лет. Выглядит он старше. Под глазами морщины, голова седая, захлебывающиеся, неровные удары сердца... Таня получила диплом летчика гражданской авиации и впервые улетела в глубь страны. «Приготовься жить по формуле, товарищ майор в отставке: ожидание — встреча — короткое счастье — ожидание». Пусть будет так, как хочет она, как должно быть. После войны она нашла его — значит, любила...

Фомин начал злиться: сам настраивается не на ту волну. Все по-прежнему. Их любовь испытана временем, войной. Надо найти дело и не превращаться в нытика. В его возрасте непростительно делать ошибки, пора отказаться от иллюзий. Еще немного — и она будет опять дома. Они уедут в луга, в деревню. Кроме того... Да, да, все тот же Василий Зиновьевич и его шутки... «Плохо видеть мужа один раз в месяц, но еще хуже видеть его каждый день. Крепись...» «Я и креплюсь, друг мой, креплюсь...»

Так успокаивал себя бывший летчик. Но отделаться от неприятного чувства, когда он думал о пилотском свидетельстве в руках жены, все же не мог. Когда-то он радовался появлению нового летчика. И Таня получила право на вождение самолета в аэроклубе, еще до войны, из его рук. Тогда не было мысли о бесцельности существования. А теперь... теперь он научился вести себя так, что даже Таня обманывалась, веря в его душевное равновесие.

Несколько дней Фомин бродил по загородному лесу, подолгу сидел на берегу реки, прислушивался к голосам природы и думал, что никогда раньше не слыхал этих голосов, не видел по-настоящему ни весны, ни лета. Годы пролетели в труде, в заботах, в войне, и всегда он торопился: до войны вместе с товарищами, работавшими в

аэроклубах, спешил подготовить для страны сто пятьдесят тысяч летчиков спортивной авиации, в войну спешил к победе, и бои, бои, бои... И вот отдых. Делай что хочешь. Ни обязанностей, ни забот. Если не потерял способности мечтать — мечтай. Если хочешь творить — твори. Мысленно он несколько раз повторял это слово: твори! Да, да! Именно твори! Его не устраивает такой отдых. Всю жизнь он был беспокойным человеком, таким и будет, пока дышит. Как это раньше он не подумал об этом! Желание делать совсем необычное было внезапным, навязчивым и прочным. Не пропадет ли? Нет. У него хватит терпения и настойчивости хватит; вот если знаний будет маловато — будет учиться. С книгами у него дружба не терялась. Да и раньше никогда он не бросал начатого, каким бы оно трудным ни было.

Фомин ощущал прилив свежих сил. Таня часто присылала короткие письма. Вчера из Горького, сегодня из Казани, а завтра — откуда-нибудь с Урала. Приличная скорость у их самолета!

Два дня он ходил по комнате, раздумывая, плохо спал, больше обычного принимал бром. Два раза пропустил сроки явки к врачу, но это уже мало беспокоило, да и сердце стало стучать ровнее, не так часто кололо в груди, вот только сон по-прежнему тревожный. Ерунда! Его настойчиво звали в аэроклуб, побыть на полетах, поговорить с людьми, в тот самый аэроклуб, которым он руководил много лет назад.

Ему самому хотелось к людям.

Утром за ним прислали машину. Прихрамывая, в сопровождении одного из инструкторов Фомин ходил по классам, осматривал макеты планеров, самолетов. Внешне все как будто выглядело по-старому, но учебный процесс стал более четким, руководили аэроклубом бывшие кадровые офицеры, они и внесли новые порядки, свои привычки, близкие к армейским условиям, и верно сделали: война закончилась не так уж давно, а мир не устроен...

— Расскажите поподробнее о новых реактивных истребителях.

Просьба курсанта поставила его в тупик. Что рассказать? Фомин говорил о теории Циолковского, объяснял, как умел, принцип реактивной тяги и чувствовал, что курсанты и сами об этом прекрасно осведомлены.

Проводили его тепло, но Фомин был удручен и доса-

довал на самого себя. Отстал. Пришел к молодежи, они хотят все знать, заглядывают в будущее, строят его, и они вправе требовать много от тебя, Фомин. А что ты им дал сегодня? Рассказал, как погибали друзья, как дрались не на жизнь, а на смерть! Как ковалась победа! Но жизнь идет вперед, и надо говорить не только об этом, но и о том, что делается сегодня, что будет завтра...

Читай, Фомин, читай! Ты должен знать больше, чем знают твои дети, и не только о войне. Тебя еще не раз позовут, и они тебе нужны больше, чем ты им, люди! Немыслимо жить без людей.

5

Дорога на аэродром петляла по тундре, огибая мелкие озера, каменные глыбы, болотные низины — ни одной ровной площадки. Не дай бог, вынужденная, посадить машину негде. Степан и Астахов, сидя в автобусе рядом, смотрели в окно и думали об одном и том же: неуютная земелька.

— Лучше снег, чем эта сырость и камни. Зимой, надо думать, смотреть приятней.

Степан помедлил с ответом. Последнее время он часто бывал задумчив. Особенно это было заметно накануне полетов. Николай замечал эту перемену, но спросить Степана пока не решался. И сейчас Ягодников отвечал неохотно, растягивая слова, как бы не договаривая:

— Зимой хуже. Ночь, мгла. Все под снегом... Как могила.

Трудно было Астахову разобраться в его настроении. В гостинице Степан был весел, остроумен, а на аэродроме его как бы подменили.

— И все же хочется посмотреть зиму в этой «кухне погоды».

— Увидишь. Недолго осталось ждать.

Стояли устойчивые дни с мягким, прозрачным светом. Хорошо просматривался горизонт, сопки. Море спокойно. Редкая погода в Арктике. Но уже заметно кончался полярный день. Солнце опускалось все ниже, и, когда скрывалось за горизонт, воздух тускнел, земля покрывалась мрачной тенью. Скоро спрячется надолго, почти на полгода.

— Николай, ты когда кончил воевать?

Астахов удивленно взглянул на Ягодникова:

— Чего это тебе вдруг?

— Так. Собираюсь писать мемуары. Сейчас это модно. И название придумал: «Отзвуки прошлого».

— Брось, старик! Рано.

— Хочется пожить там, в прошлом...

— К черту! В прошлом война. К черту! Хватит.

— Зачем же мы едем на аэродром?

Астахов усмехнулся. Он умышленно не обращал внимания на легкую раздраженность Степана, сквозившую в его тоне. Опять не в духе...

— Американцев на Аляске больше, чем у нас тараканов.

— Они там тоже не на увеселительной прогулке... — Степан попросил у Астахова папиросу, но курить не стал, смял ее, приоткрыл окно и выбросил. — Север. Короткий и удобный путь к нашим городам.

— Сейчас путь измеряется не расстоянием. Войны не будет, Степан. Может быть, в будущем, когда вырастет новое поколение, не знающее войны.

— И это не мир. Не война, но и не мир. Бочка с порохом.

— Стоит ли в армии говорить о мире, старик! Мы военные люди, а военные обязаны уметь воевать, а не хлеб сеять. Да вот учить этих мальчиков. — Астахов кивнул на летчиков, недавно прибывших на Север.

— Пожалуй, ты прав. Только эти мальчики скоро старикам нос утрут. Мы стареем.

— И в этом случае нам спасибо.

В кабине Астахов плотно подтянул к телу привязные ремни, надел кислородную маску, запустил двигатель. Поурчав немного, турбина засвистела на больших оборотах. Хорош новый истребитель! Сквозь стекло кабины можно видеть все кругом, и вверху и внизу.

Астахов испытывал легкое волнение, как всегда перед полетом. Он отпустил тормоза и вырулил на взлетную полосу.

— Прошу взлет!

— Разрешаю!

Турбина ударила раскаленным газом по бетону. Минута — и самолет набирает высоту. Облаков пока не видно, они далеко, где-то над морем. Они уже не беспокоят летчика. Приборы на этой «ракете» позволяют летать в облаках, за облаками, где угодно, только с ними, с приборами, нельзя терять дружбу: их нужно постоянно видеть и понимать. Но бывает и так...

Установив курс полета в сторону моря к первому поворотному пункту, Астахов взглянул на землю. Стрелка компаса смотрит на север, но нос истребителя направлен на северо-запад. Это направление он определил по земным ориентирам, пока еще не закрытым облаками. Причина такого явного несоответствия могла быть только одна: компас невыверен, неисправен. Маршрут полета был ему знаком. Пользуясь часами и радиостанцией, он продолжал лететь по примерному курсу, набирая высоту. Была мысль вернуться на аэродром, но он не сделал этого. Степан тоже в воздухе и летит к месту встречи с ним на маршруте. Если встреча не состоится, полет будет бесцельным. Кроме того, в полете можно ориентироваться по другим приборам, да и за самолетом следят с земли по радиолокатору. В крайнем случае, прилетит домой в паре с Ягодниковым.

Под крыльями появились облака. Плотные, с темноватым оттенком, они закрывали землю на север, запад и восток. Истребитель в стратосфере. Стекла кабины покрылись инеем: за кабпной пятьдесят пять градусов ниже нуля. Горячий воздух от двигателя быстро остывает, холод проникает к ногам. По радио передали первый поворотный. Астахов повернул самолет на приводную радиостанцию, установленную на аэродроме и посылавшую свои импульсы на стрелку одного из приборов в кабине. О неисправности компаса он на землю не сообщил, иначе прикажут прекратить задание.

Ягодникова по радио наводили на истребитель Астахова. Выполняя команды, Степан на высоте двенадцать тысяч метров оглядывал воздух в поисках светлого силуэта «противника». Астахов где-то рядом. Его нужно обнаружить и атаковать. Степану хотелось по-фронтовому подойти к истребителю Астахова, незаметно, и красивым броском сверху атаковать с близкой дистанции... Стрелка прибора скорости дрожит около тысячи километров в час. На такой скорости на такой высоте маневрировать трудно, очень трудно. Светящееся кольцо прицела висит в небе, в пространстве перед глазами. Стреловидные крылья показались впереди. Не ошиблись наводчики, вот он... Степан уменьшил скорость, чтобы не проскочить цель, и приник к прицелу. Он готов был нажать на кнопку фотокинопулемета, радуясь победе, но истребитель Астахова взмыл кверху, перевалился на нос и, оставляя за хвостом белый след от работающего на малых оборотах

двигателя, вошел почти в отвесное пикирование. «Раньше заметил. Не упустить бы!» Степан бросил и свой самолет вниз, за Астаховым: атаковать первым! Когда скорость достигла угрожающего предела, Степан, морщась от острой боли в ушах и чувствуя, как дрожит самолет, потянул ручку от себя. Астахов то же самое сделал секундой раньше. Истребитель Ягодникова сзади. Стрелять рано: большая дальность. Эта дальность будет определена по фотопленке на земле, и от этого будет зависеть оценка всего полета. Степан увеличил мощность двигателя, сокращая расстояние. Он знал: Астахов видит его в перископе. Что он еще придумает, чтобы выйти из-под удара? Астахов теряет скорость, валится на крыло и вновь бросается вниз. Степан—за ним. По радио требовали сообщить действия и обстановку. Летчики не имели права без задания снижаться до малых высот, не имели права и отклоняться от маршрута. Степан не думал, что Астахов будет действовать столь безрассудно, и сам поддался азарту... Внизу облачность. Истребители неслись навстречу рваным клочьям, застилавшим море. Степан вновь приник к прицелу. Хватит ли высоты? И вдруг понял: Астахов не даст себя атаковать, даже если придется уйти под облака. Риск неоправданный, но он пойдет на него. Там море. Астахов мало летал над ним, тем более на такой высоте, а облачность низкая. Предупредить по радио — значит передать на землю о нарушении задания. Ботов шкуру спустит. И все же Степан передал, когда увидел, что истребитель Астахова уменьшил угол пикирования и скрылся в облаках.

— Будь внимателен! Иду за тобой.

Почему он решил идти за ним? Это противоречило здравому смыслу, не говоря уже о правилах полетов, запрещающих без надобности отклоняться от задания. Самолеты уже не видны на экранах радиолокаторов. Прекратилась и радиосвязь: мала высота, и они далеко от аэродрома. Степан искал Астахова не для атаки. Может быть, ему нужна будет помощь. Досадовал на себя: зачем затеяли этот дурацкий бой?

Степан установил скорость и вошел в облака. Темная серая масса окутала самолет, только стрелки приборов блестят голубоватым огоньком. Восемьсот метров. Облака остались выше. Внизу море. Ему казалось, он слышит шум волн.

— Где находишься? Передай курс,

Ответ Астахова усилил тревогу:

— Курса не знаю. Не работает компас. Иду на привод!

— Понял!

Напряжение уменьшилось, когда он заметил над морем истребитель. Сверху казалось, что он касается волн. Море неспокойное, волнистое. Степан пристроился к самолету Астахова и передал по радио:

— Пошли вверх!

— Красотища какая!

— Немедленно вверх! Иначе уйду один. — Степан начинал злиться. Что нужно этому вояке?

— Понял. Идем в паре.

Набрав высоту, установили связь с аэродромом. В эфире раздавался тревожный голос руководителя полетов. Астахов передал:

— Идем домой. Сообщите удаление.

— Удаление семьдесят. Вам посадка!

Астахов приземлился первым, зарулил на стоянку. Никого, кроме техника. Не торопясь Николай подошел к командному пункту, присел на скамью, закурил. Ему не хотелось сейчас видеть командира, но Ботов подошел сам. Его маленькие глазки сверкали гневом. Астахов встал, доложил:

— Задание выполнили!

Он не думал, что в этой грузной фигуре может быть столько злости и вместе с тем выдержки. После утомительно долгой паузы Астахов услыхал слова, смутившие его. Была бы куда лучше ругань, разговор на басах, но ни того, ни другого. Не ожидал он такой реакции. Не мог ожидать...

— Я просил Москву дать мне заместителя, способного воспитывать, учить. Мне недолго осталось носить эту форму. Очень жаль, что мою просьбу не поняли.

Ушел командир. Ни слова больше. Астахов сидел и курил. Подошел Степан, но и он не присел рядом, а, растягивая слова, что было признаком явного волнения в нем, проговорил:

— И все же это не война. Думаю, что сегодня ты был бо́льшим дураком, чем я. По крайней мере, теперь буду знать, с кем имею дело.

И тоже ушел. Астахов остался один... «И все же это не война». «Верно, не война, — раздраженно думал он.— На фронте было проще: быстрее узнавали друг друга и,

если что было не так, рубили сразу, сплеча. Все подчинялось одному закону: победить». Так было, и это «было» прошло, и сейчас ему непонятна размеренная и планомерная жизнь летчиков, стремившихся прежде всего следовать букве закона, инструкции. Затишье. Нет больше отчаянных порывов, стремительных и опасных полетов в тыл врага, после которых не разговоры на басах, а радость от сознания собственной силы, победы, радость, толкавшая на новые подвиги. Сейчас летчики порой легкомысленны, не очень охотно слушают о войне, и это бесило Астахова, он не сдерживал себя в разговоре с ними, порой был груб, и люди с ним держали себя как-то настороженно. Он даже не знает, когда это началось. Сразу как-то... А теперь и командир, и Ягодников. Они имеют право поступать с ним так, как поступили только что, но молодежь, не нюхавшая пороху, не видавшая огненного неба, эти стригуны... Впрочем, напрасно и Ботов вот так... Лучше бы обругал или наказал, без этих психологических этюдов. Подумать только, о войне «старики» чаще говорят между собой, потому что видели, как иногда многозначительно переглядывались и улыбались недавние курсанты, теперь летчики-истребители, услыхав слова: «А помнишь...» И слушали больше из уважения к рангу, а не к опыту или хотя бы возрасту, черт возьми!

Он хорошо помнит, как в детстве, когда взрослые начинали: «А бывало...» — сидел и не дыша слушал рассказы отца, стариков охотников, усваивал суровые законы тайги, учился у них, старался не ударить лицом в грязь, когда вырос: ходил с ними на медведя, при сорокаградусном морозе грелся у костра, бил без промаха белку, не портя шкурки...

Многих учителей-охотников недосчитался Николай после войны, приехав домой, к отцу. Мало изменился отец за шесть лет, пока не видел его. Все такой же, чуть сутуловатый, высокий старик. Серые глаза под мохнатыми, почти сросшимися на переносице бровями смотрят остро, без старческого прищура; редкая улыбка открывала крепкие зубы. Суровый, таежный человек отец, но сдал, когда увидел на пихтовом крыльце сына, — закашлял, засморкался, и Николай сделал вид, что не заметил слез. Тетка совсем голову потеряла от радости: охала, ахала, плакала, смеялась до тех пор, пока отец не прикрикнул весело: «А ну, осуши болото и, что есть в печи, на стол тащи!»

Тетка, в противоположность отцу, изменилась. Стала меньше ростом, ходила маленькими, семенящими шажками; гладко зачесанные волосы потеряли и блеск и густоту. Суетливо бегала от стола к погребу и обратно. Потрогала рукой ордена па груди племянника: «Господи, сколько ж их! Да красивые какие... Вот бы увидела сестра-покойница, мать-то твоя...»

И еще он помнит... После занятий в школе вдвоем с товарищем шли домой. По пути затеяли борьбу. Трава была скользкая после дождя. Оба упали, и товарищ при падении повредил ногу. Николай тащил его на спине, выбиваясь из сил, почти две версты. А когда донес его до дому, тот обвинил его в умышленной подножке. Несправедливость сначала удивила Николая, потом возмутила. Предатель... Они боролись, как всегда. Зачем была нужна эта ложь, жалоба отцу, в школу? И взрослые не только возмущались «поступком» Николая, но и настроили против него детей. Началось самое мучительное: с ним не разговаривали. Один. Он слышал: так надо. Это исправит ребенка. От чего исправит? Что он сделал? В школу больше не ходил, скрываясь днями в тайге, пока его силой не привели и не посадили за парту. Мальчишки держались в стороне, а девочки с любопытством поглядывали на него исподлобья. Кажется, только они сочувствовали ему. Отца не было, он ушел на много дней в тайгу. Хотел бежать к нему, но его убедили, что отец поступит с ним еще хуже, и держали чуть ли не под замком. Случилось так, что как раз в это время приехала тетка. Тогда он заплакал, и плач был похож на крик. Тетка, не скрывая возмущения, грубоватым басом отчитывала вернувшегося из лесу отца, не оставила и родителей слабовольного паренька: «Таежные вахлаки! Нашли забаву — издеваться над мальчишкой, который ни в чем не виноват. Воспитывайте лучше своего Гришеньку (к тому времени нога у него поправилась). Таких слюнтяев учить надо, и палкой, палкой, чтоб не брехал! А ну, позовите его!» Ей не посмели возражать. Привели испуганного Гришу. Тетка глядела ему прямо в глаза: «Говори, нарочно он тебя? Только не ври». Гриша всхлипывал, но выдавил из себя: «Мы баловались... Я нечаянно». Дома отец, обняв Николая и взъерошив его волосы, говорил: «Извини, сын. Попутали меня чертовы бабы, да и некогда было разбираться».

Потом вспомнил себя инструктором в аэроклубе. Он

всегда пользовался уважением у летчиков... Нелепо получилось. Ну что ж, поделом! Он виноват сам. Зачем нужен был этот риск? Ботов... Хороший урок он ему преподал. Чертовски трудно одному, хотя бы день...

6

Командир экипажа наклонился к уху Родионовой:

— Запомните ориентиры. Тридцать минут над Волгой.

Таня мягко держалась за штурвал правого управления самолетом, поглядывала на землю, прислушивалась к радиосигналам, к шуму моторов. Впервые она в таком продолжительном полете летчиком гражданской авиации. Таня видела, когда проходила пассажирским салоном,— многие провожали ее настороженно: самолетом будет управлять женщина. Это немного волновало. Да, женщина будет вести самолет несколько часов без посадки. «Пока я не одна, — хотелось сказать ей вот таким трусоватым пассажирам. — Можете не бояться. Пока не одна. Но скоро вы, хотите этого или нет, будете доверять свои жизни только мне. И это будет не менее надежно». Конечно, так думала она безобидно, спокойно, в общем-то, даже с внутренней гордостью. На самом деле, в Аэрофлоте совсем немного женщин. И в школы их принимают как исключение. Почему? Впрочем, может быть, это и верно. Не женская профессия, но если бы это ей сказали тогда, когда она подавала заявление, — она готова была бы на скандал. В войну бомбить врага, да еще ночами, было можно, а сейчас нельзя! И об этом она думает легко, потому что никаких препятствий при поступлении в Аэрофлот ей не чинили и она вошла после училища в мужской коллектив на равных.

Первые два часа она была занята настолько, что не ощущала неудобства от неподвижного сидения в кресле пилота: контроль курса, пролет промежуточных радиостанций на маршруте, пилотирование самолета и чувство ответственности за благополучие пассажиров, удобно расположившихся в мягких креслах. Впрочем, они, вероятно, уже забыли, что в экипаже женщина. К исходу третьего часа заныла спина, и хотя была возможность встать и отдохнуть — командир экипажа рядом, слева, — Таня оставалась в кресле. Вот если бы командир вышел, ну на минуту, на две, и она действительно одна отвечала бы за управление самолетом! И Шамин, словно бы

читая ее мысли, слегка кивнул ей равнодушно, нарочито спокойно, неторопливо встал, и она услыхала, как хлопнула дверца кабины. Таня ничем не выдала своего волнения. За ней, надо думать, наблюдают еще штурман и радист. Они сзади на своих местах. Усталость разом исчезла. Тяжелая машина слегка вздрагивала в нагретом воздухе. Потом мощный восходящий поток резко подбросил самолет, затем еще рывок вниз; она выровняла машину, и крылья опять стали неподвижны. Эти броски, она знала, встревожили пассажиров, и многие испуганно вглядывались в окна и, наверно, на этот раз вспомнили, кто в экипаже.

Таня ждала, вот-вот придет командир и поторопится взять управление в свои более надежные руки, но Шамина не было. Опять началась болтанка. Вспомнила описание трассы: как раз на этом участке, как правило, почти всегда так. Граница теплого воздуха и холодного. Теплый — над полями, пашнями. Холодный — над лесом. Там, где они встречаются, возмущенный воздух достигает внушительной высоты. Значит, командир умышленно оставил ее одну именно здесь, на сложном отрезке пути. (Она не могла видеть, что Шамин тихонько приоткрыл дверцу в кабину и наблюдал за ней.) Таня продолжала вести самолет, готовая в любую секунду к любым броскам, но их уже не было. Воздух прозрачен, чист. Когда Шамин занял свое место, Таня даже не обернулась. Волга под яркими лучами солнца поблескивала внизу серебристой, сверкающей лентой. Командир взял управление. Усталая, Таня почувствовала на себе короткие взгляды Шамина. Кажется, взгляды одобрительные, в общем-то.

Шамин — первый командир на новой ее работе, с ним придется летать, может быть, много месяцев. Она еще плохо знает его. Встречались до этого в учебно-летном отделе, на совещаниях и собраниях, а в воздухе всего несколько раз. Кажется, ей повезло, вроде бы неплохой дядечка, в возрасте уже, с предупредительными, мягкими манерами.

Появились облака, ровные, мелкие грядки, светлые, тихие, как море в спокойный, полуденный час. Вскоре облачность оборвалась, как бы обрезанная гигантскими ножницами, перед городом, раскинувшимся на берегу широкой реки. Город манил зеленью, площадями и оживленными улицами.

— Рассчитывайте на посадку сами!

У Шамина та же мимолетная улыбка на губах. Таня кивнула в ответ и больше ничего не видела, кроме посадочной полосы. Когда колеса коснулись бетонной дорожки, она испытала счастье, как в юности, в аэроклубе, после первого полета.

Пассажиры торопились к выходу. Летчики молча стояли у первых кресел. На них — ни малейшего внимания. Шамин равнодушен. Таня обижена: хотя бы одно слово, уж если не благодарности, то хотя бы «до свидания».

— Не понимаю такого равнодушия, бесчувственности.

— Привыкайте. Мы вызываем любопытство перед вылетом и в воздухе. После посадки нас нет. Разумеется, дело не в равнодушии. Просто в такие минуты у пассажиров много всяких забот, и главная из них — быстрее на землю.

— Мне кажется, дело не в заботах, а в воспитанности. Говорят же спасибо шоферам такси. Тридцать человек, и хотя бы один...

День был жаркий, но не душный. Над землей стояла легкая дымка, застилавшая солнце. Шамин и Таня молча шли пешком по выгоревшей, запыленной траве к вокзалу. Тане и раньше после полета хотелось ходить и чувствовать под ногами землю.

Шамин, невысокий, но широкий, плотный, шел без фуражки, подставив лысеющую голову теплому слабому ветерку. Таня думала о муже. Перед ее вылетом он казался бодрым, веселым, но глаза выдавали его. Ему трудно одному, и наиболее остро она это чувствовала, когда сама оставалась без него, как вот сейчас. Как он там? Что делает? Ждет. Что бы он ни делал — ждет. От этой мысли ей немного грустно и хочется быстрее в воздух. Там нет времени скучать...

— Мы свободны весь вечер. Здесь прекрасный театр. Или в парк, если хотите, — оборвал ее мысли Шамин.

— Мне все равно, пожалуй.

Ей действительно было все равно, только бы туда, где люди. Пообедали в буфете. В гостинице аэропорта привели себя в порядок.

Вечером шли по улице незнакомого Тане города. Много света, людей. Война не тронула город. В вечернем освещении он казался приветливым, тихим, провинциальным.

— Вы давно замужем?

Таня ответила не сразу, но не потому, что вопрос ее смутил:

— Около двух лет, но мне кажется, давно.

— Молодость... Все-то у вас еще впереди!

— Не рано ли вам сожалеть о молодости?

Быть может, в другое время такая тема была бы ей неприятной, но сейчас ей хотелось узнать Шамина ближе. К тому же она видела, что его вопросы и слова не ради пустой болтовни. Очевидно, и он хочет узнать своего второго ближе, да и просто поговорить по-человечески.

— Как вам сказать... Сорок четыре года. Женат около двадцати лет. Трое детей. Облетел полмира, знаю людей, привык чувствовать себя на земле, как в воздухе: везде свое. Кажется, все испытано и ничего больше не будет нового. С годами поэтическое настроение посещает меня все реже. Проза, сплошная проза.

Таня с любопытством прислушивалась. Ей нравилась его откровенность.

— У вас и сейчас прозаическое настроение? — И, не давая ему ответить, размахивая сумочкой, огляделась вокруг, живо добавила: — Хорошо-то как здесь, в этом тихом городочке!

Шамин видел: только что была молчалива, задумчива, а сейчас вроде весь город обнять хочет.

— Вы мне нравитесь... Ради бога, не пугайтесь, — поторопился добавить он, заметив, как Таня насторожилась. — Уверен, что мы будем друзьями. Вот так меня и поймите. По правде сказать, я не способен к красивым, искусственным словам, особенно в разговорах с женщинами.

— Не так уж плохо, когда женщине говорят красивые слова,— лукаво заметила Таня.

— Если они искренни, а это, согласитесь, бывает не часто.

Шамин предложил поужинать в ресторане. Таня не возражала. Шамин пил шампанское. Таня несколько удивилась этому, зная привычки знакомых летчиков.

— Я как-то привыкла видеть мужчин, предпочитающих напитки более существенные, уж, во всяком случае, не шампанское.

— Не вижу смысла подбадривать себя горячительны-

ми. Даже в молодости предпочитал пиво. Оно хоть жажду утоляет.

— Разве выпивают только с целью подбодриться?

— По-моему, да.

— В войну мужчины выпивали фронтовые нормы, и мой муж тоже, и мы... иногда. В этом я ничего плохого не видела.

— Там это бывало просто необходимо. И подбодрить себя было вовсе не грешно. Я почему-то убежден, что ваш муж тоже не выпивоха. Давайте выпьем за него.

Таня кивнула и протянула свой бокал. Пили по глотку, с паузами.

— Он всегда был военный?

— Он прошел все этапы жизни. Для одного человека даже слишком много этих этапов. Сейчас он болен. Этапы оставили следы.

— Как он относится к вашей профессии?

Таня задумалась. Что делает сейчас Дмитрий? Она в ресторане с посторонним, по существу, человеком. Нет, он не обидится. Ей хотелось рассказать Шамину о муже, и она попыталась это сделать, хотя знала, что всего, что ее волнует, выразить не сможет.

— Он летчик, бывший истребитель. Мы были на фронте вместе почти два года, и прибыл он к нам в женский полк после госпиталя, куда попал после одного из воздушных боев, последний на истребителе. А до войны я училась у него в аэроклубе. Мне кажется, я знаю его всю жизнь.

— И всю жизнь любите?

Таня смутилась и, рассматривая снующие пузырьки в бокале, доверительно ответила:

— Любила я другого человека, его бывшего ученика. Сейчас летает где-то на Севере.

Шамин перебил Таню:

— Извините, я не хотел быть слишком любопытным.

— Ничего, мне не трудно говорить об этом. — И, грустно улыбнувшись, продолжала: — Это сложно, может быть, драматично. Тогда была любовь совсем молоденькой девушки, почти девчонки, к юноше... Мы много лет не виделись, он ушел в армию еще до войны... Я встретила другого человека, воля к жизни которого была поразительной. Он воевал тогда, когда ему было трудно ходить, не только летать, тем более воевать. Сбивали его на истребителе, сбивали и на нашем маленьком У-2, на

котором он носился бреющим по тылам и расстреливал немцев. Перед концом войны — опять в госпиталь. Мы уже тогда любили друг друга, но он не давал о себе знать умышленно и после госпиталя уехал подальше от нашего родного города, чтобы ему, калеке, как он выражался, меня не видеть. Это было жестоко, но я понимала его и нашла, израненного и больного. Можно подумать о жалости, о жертве, как хотите. Ни того, ни другого. Это любовь, просто любовь...

В ресторане стало душно и шумно.

— Пойдемте на воздух.

Таня торопилась к выходу, чувствуя на себе взгляды подвыпивших людей. В ресторане много молодых и приятных женщин, но ее выделяли бесцеремонно из других, и она знала почему: на ней авиационная форма. Явление, надо сказать, необычное. Вышли на набережную. Воздух был теплый, спокойный. Пахло зеленью.

Какое-то время шли молча, и Таня была благодарна Шамину за его молчание.

— Однажды я предложила ему уехать в деревню и жить там. Он засмеялся тогда. В деревню? На иждивение колхозников? Рано, рано...

— Я его понимаю. Он, пожалуй, прав. Нельзя убегать от активной жизни.

— А вы скучаете без жены, без семьи? Я не настаиваю на ответе, разумеется. Мне нужно кое-что понять для себя.

— Человек бывает удивительно противоречив, — не отвечая прямо на вопрос, говорил Шамин. — Когда меня нет дома, мне хочется видеть жену, скучаю без нее, ругаю себя за мелкие обиды, которые я причинял ей, обвиняю себя в этом и ничуть не думаю о тех, которые она мне доставляла. В такие минуты настроение бывает столь тревожным, что бегу на почту и пишу письмо, случается, и телеграмму даю. В нашем возрасте остро переживаются и любовь, и тоска. Много лет задаю себе вопрос, люблю ли я жену. Она мне необходима, и жизнь без жены, без детей была бы бессмысленной. («Без детей... Да, конечно», — с грустью подумала Таня.) Но, представьте, когда прилетаю домой на месяц-два,— продолжал Шамин,— я начинаю испытывать чувство другого рода. Появляется раздражительность, проскальзывают грубые слова. Не всегда, конечно. И сам знаю: несправедливо, неумно, хочется вернуть сказанное грубо, но поздно. Слово

не воробей. Женя отвечает тем же. Она вспыльчивый, неуравновешенный человек. То слишком нежна и ласкова, при этом ее доброта не имеет границ, то вдруг расшумится, да так, что успокоить трудно. Бывало, улетал, не примирившись. Оба страдали. Уже не было обиды, и самолюбие в кулаке. Каждый готов признать вину за собой, но это сделать невозможно. Нас отделяло пространство. Тогда прибегаем к письмам, к телеграммам. Мы оба впечатлительны, порой болезненно мнительны. Для того чтобы нам поссориться, достаточно одного недоброго взгляда, не только повышенного тона. Трудно жить с такими характерами, но и... весело, черт возьми. Парадокс, вы думаете?

— Неужели после стольких лет жизни вместе все еще не проходит стремление подчинить себе волю другого? Разве нельзя не обращать внимания на маленькие обиды, прощать слабости, не опасаясь за свое самолюбие, если это слабости любимого человека?

— До этого еще люди не дошли, да, пожалуй, и не стоит доходить. Если кто из супругов постоянно покорный и безответный — любви не будет.

Таня засмеялась:

— Мне не совсем понятна такая теория. Выходит, сердясь, вы поддерживаете друг в друге любовь или огонек, что ли?

— Думаю, что да. Я не верю в вечную любовь к одной женщине, но я верю в вечную привязанность к одной женщине. Честное слово, последнее гораздо сильнее, прочнее. Так уж распорядилась природа, и распорядилась, в общем-то, верно, надо сказать. Поживете — увидите. Возможно, у вас разные характеры, и у вас будет несколько по-другому, но, чтобы убедиться в этом, нужно время и время.

— Я хочу познакомить вас с мужем. Не скрою, мне уже хочется видеть и вашу жену.

— Ну вот и договорились!

В гостинице на аэродроме, засыпая, Таня продолжала думать о муже. Завтра в путь, дальше на восток, к степям, потом домой. Ее ждут, всегда будут ждать. За окнами слышен шум моторов, ровный, слабый, привычный, иногда он сливается в один мощный гул, но скоро гул тает в воздухе: взлетел очередной самолет, ушел в ночь, к звездам. Рассвет застает его в воздухе...

Фомин зачеркивал слова, предложения, писал снова, страница за страницей... Он слышал: важно начало, потом легче, но начало не ладилось. Мысли в хаотическом состоянии, и на бумаге они разбросанны, непоследовательны. Он перечитывал исписанные листы, перебирая в памяти прошлое, людей, убеждал себя не торопиться. Думай, думай и, когда мысли станут стройными, последовательными, логически осмысленными, бери карандаш. Почти месяц... Исписаны десятки листов. Не имея определенного сюжетного плана, он писал о том, чем жил много лет. Он как бы вновь встречался с друзьями военных лет. Сначала на страницах мелькали разные люди. Много их, не по плечу ему. С сожалением расставался с ними, с хорошими людьми, которые окружали его в трудные годы. Девушки из аэроклубов, ночные бомбардировщики, полеты в тыл врага. Истребители, бои в воздухе, смерть и победа, и всюду люди и одно желание: победить. Были и плохие, были... Но о них писать не хотелось. Уродство и героизм — вещи несовместимые. Черт с ними, с плохими, их было не так уж много, и ставить их где-то рядом с друзьями — кощунство. Сначала он думал писать больше о себе, о своем пути, но после первых же страниц отбросил эту мысль. Что можно рассказать только о себе? Говорить о своих ощущениях в боях, о сбитых самолетах, о том, как умирал? Об этом написано много за годы войны, ничего нового он не расскажет, а вот люди, с которыми он жил и боролся, живые и мертвые, и все разные, но замечательные люди, вечно живые... О них надо писать. Он и себя видит только с ними. Ему всегда было трудно рассказывать о себе, и сейчас так же. Другие ему более понятны, чем он сам, и не потому, что не знает себя, а от убежденности, что его жизнь была правильной или почти правильной, и говорить об этом было бы нескромно, и написанное было бы неубедительно. Он прекрасно понимал, что надо не просто рассказывать и не просто информировать, а показывать... Несколько дней он намечал композицию рукописи, приводил в порядок уже исписанные листы, менял слова, искал новые, свежие и, когда было трудно, читал книги, пытаясь понять секрет мастерства, секрет умения рисовать природу, людей. С природой ничего не получалось. Он слышал взрывы бомб, гул моторов, пулеметную

трескотню и свист пуль. Видел исковерканную землю, изрезанное темными полосами небо, а природу не видел. Писал он о войне, и еще писал о любви. Она пришла на войне — не было ни соловьев, ни весны, ни цветов. Он любил, и эта любовь делала жизнь полнее. Месяц он жил образами, был снова на фронтах. Рукопись приобретала форму, он это видел, чувствовал, упорно искал свой язык. Досадовал, когда страницы бегло рассказывали о главных событиях, бегло и неубедительно. Хотелось вложить душу в строчки, но разве может она вместиться в обыкновенную страницу! Что нужно сделать, чтобы в словах был крик души, любовь и ненависть, чтобы вставали картины битвы?! Фомин жадно курил, ходил по комнате, думал, садился к столу и писал. Так было, пока не упал... Как и когда это случилось, он не знал, но помнит, что очнулся на полу мокрый от пота, слабый и безразличный ко всему. Тогда пошевелил пальцами рук, радуясь этому движению. Потом стало холодно, и он добрался до кровати и еще лежал, не двигаясь, час, может, больше, и вдруг страх, до такой степени никогда не испытанный им, сжал и без того больное сердце. Неужели так плохо? В санатории говорили: «Бросьте курить. Спокойный образ жизни». Он не придавал этому значения. Привык. Почему же сейчас такой страх? Или смерть была совсем рядом?

Вечером пошел к Шаталову — врачу, которого знал еще до войны. Они часто встречались. Случившееся сегодня испугало, и Фомин решил быть покорным, на все согласным. Даже если опять юг, санаторий и бесчисленные процедуры. На войне смерть щадила его, так зачем же умирать сейчас, когда войны нет!

Фомин постучал в дверь, забыв о кнопке звонка. Квартира с мягкой мебелью. Много книг в различных переплетах, старые и новые. Фомин пользовался ими когда хотел. На этот раз он прошел мимо книг. Василий Зиновьевич, худой, высокий, поспешно встал ему навстречу. Сорок пять лет почти не тронули его лица: ни морщин, ни седины. Он пожал руку Фомину. В его улыбке Фомин заметил тревогу.

— Прошу тебя без методических приемов. Я не обычный больной, а ты для меня не обычный врач. Пришел как к другу. Понимаешь?

— Неважнецкий вид у тебя. Было? — Василий Зиновьевич больше не улыбался. Задав вопрос, он настой-

чиво усадил Фомина в кресло у стола и сел напротив, почти упираясь своими коленками в его колени.

— Было.

— Давно?

— Утром.

— Разденься.

Фомин наблюдал за прыгающим ртутным столбиком сфигмоманометра.

— Опять скажешь, все в порядке? Не финти, дорогой мой. Я вижу тебя. И не улыбайся, пожалуйста. Что там еще появилось?— Фомин постучал по левой стороне груди.

— Куришь?

— Курю.

— Брось!

— Брошу. Еще что бросить?

— Не ершись! Будем говорить без обиняков. — Василий Зиновьевич секунду-две как бы собирался с мыслями.— Мы, врачи, знаем тебя давно, я уже не говорю о себе. Из санатория ты приехал в лучшем виде. Сейчас сдал, видишь, не скрываю. Начни с того, что избавь себя от собственных умозаключений в отношении своей болезни. Это главное, уясни! Все пишешь?

— Пишу.

— Не возражаю. Час-два в день, не больше. Сон — восемь часов, покой, прогулки и режим. Ты не являешься исключением. Мы это говорим всем — и больным и здоровым. Мы призываем, так сказать, к здравому смыслу, а ты для нас труднобольной: из госпиталя бежишь, моими советами пренебрегаешь, много думаешь о своем сердце. Лучше думай обо мне, о Татьяне. Кстати, где она? Скоро прилетит?

— Скоро.

— Твоего сердца тебе на век хватит, но этот агрегат нужно беречь. Говорю тебе не как больному, а как человеку, которому перевалило за сорок. У нас запасных нет, не делаем. Слабы пока. Поедем на рыбалку?

Угрюмое выражение лица Василия Зиновьевича сменилось приветливым, обнадеживающим.

— Что это потянуло вдруг тебя? Или последить хочешь?

— Возраст, дорогой. В старости к природе тянет.

— Ты моложе своих лет.

— И все-таки ничто так не старит, как возраст. С этим ничего не поделаешь, только сдаваться не надо.

Забыть о возрасте. В этом секрет молодости. Подожди минуту...

Василий Зиновьевич вышел в смежную комнату. В стеклянной двери отражалось его лицо в профиль, сосредоточенное, беспокойное. Он что-то взял в шкафу.

— Вот это пей, когда появится слабость... Если появится. Понимаешь, нельзя допустить, чтобы появилась, чтобы повторилось...

— Понимаю... Можно не встать.

— Умный ты человек, а говоришь глупости. Когда речь идет об авиации, я воздерживаюсь от спорных замечаний, так как не компетентен. Будь и ты поскромнее.

Василий Зиновьевич говорил горячо. Обида в его тоне рассмешила Фомина. Он не мог объяснить себе своего настроения в эту минуту, но ему стало гораздо легче и спокойнее. Василий прав: признаки моральной слабости налицо. Зачем думать о болезни, если эти мысли вредны!

— Прилетит жена, уйдем на рыбалку. Следи, если так нужно.

— Вот это дело! Приготовь снасти. Я не очень разбираюсь в лесках, крючках. Хочу найти подтверждение словам Чехова: кто поймал хоть раз ерша — тот на всю жизнь пропащий человек, рыбак то есть...

Перед уходом Фомин задержал руку Василия Зиновьевича в своей:

— Подправь меня лет на пять... хотя бы!

Василий Зиновьевич уловил легкую дрожь в голосе друга и ответил откровенно:

— Не думай о крайностях, даже если плохо будет. Слетаем в Москву, в институт. Только пойми меня правильно: не от смерти тебя спасать хочу, а вернуть прежние силы. Проживем двадцать, тридцать лет.

Когда дверь за Фоминым закрылась, Василий Зиновьевич набрал номер телефона госпиталя:

— Иван Андреевич? Был Фомин. Еще приступ. Да!.. Хорошо. Буду!..— Лицо его оставалось мрачным, тревожным.

...У себя дома Фомин долго сидел у окна, затем сел к столу, взял карандаш... «Жизнь — движение! Вечное, осмысленное. Жизнь — радость, борьба. Нет борьбы — нет движения, нет жизни. В стоячей воде — яд». Фомин писал, пока не почувствовал усталости. Выпил холодной воды, привычным движением взял папиросу, пожевал мундштук зубами, но курить не стал. Лег на кровать,

мысленно продолжая писать. В репродукторе знакомый бой часов. Спать! Москва посылала миру полночные сигналы.

День перед прилетом Тани Фомин провел на заводе, куда его настойчиво приглашали комсомольцы. Он не отказывался от встреч и говорил с ними, не прибегая к запискам. Он рассказывал о революции в авиации с появлением реактивных двигателей, о скоростях звука, о боевой работе летчиков, но все меньше — о войне. Война уходит в историю. Кругом молодежь... Нет, нет, всегда он начинает с войны. Они обязаны знать, обязаны...

Перед концом смены были в литейном цехе. Перед входом в цех чахлые деревца шевелили почти голыми ветвями. Не прижиться им здесь. Много гари, высушена земля. И людям трудно...

После завода торопился домой. Может быть, ночью или утром прилетит Таня. Звонить в аэропорт не хотелось. О своем страхе за жизнь вспоминал с обидой на себя и злостью. Больше этого не повторится. Сегодня он устал, писать не будет. Книга — и спать. У двери попытался вставить ключ в замочную скважину. Ключ не входил. Фомин торопливо сунул его в карман и открыл дверь... Минуту смотрели друг на друга молча. Он чувствовал, как глухо и часто стучит сердце... Все забыто, все! Ее руки находят его лицо, шею, плечи. Он здоров, он счастлив...

8

— Как думаете, товарищ Ботов, не пора ли па отдых? Выслуги больше чем достаточно, пенсия в порядке!

Обидно было слышать убийственно короткое предложение генерала два года назад. В ту минуту решалась его судьба, судьба человека, выросшего на аэродроме, и эта судьба была в его собственных руках. Погорячись он, и обстоятельства для него были бы крайне неблагоприятны. Вот как, оказывается, просто решается вопрос о будущем человека. Сорок три года. Расцвет творческих и духовных сил. Так говорят писатели, не очень веря в справедливость этих слов. А впрочем, действительно, разве это много? Он не чувствует своих лет, как не чувствовал их в войну. Почему же в запас? Или сил не стало? Аттестация дрянь? Ни то, ни другое. Он и сейчас делает по два-три вылета в день и не устает. Лишь на земле долго держится шум в ушах, а это естественно не

только для его возраста. Война кончилась, очевидно, не нужны стали такие, как он, «старики» без академического поплавка. Так-то... Он умел воевать. Он летчик, воспитавший десятки людей на фронте, в боях. Вся жизнь в авиации: летал над страной, над Европой, сбил десять вражеских самолетов, учил летать других и не думал ни о чем другом, и ничего другого у него не было, нет и сейчас. Запас ему не подходит! Думал он не более минуты, всматриваясь в лицо генерала — моложавое, покровительственно улыбающееся. Ему не нравилась эта улыбка. Он знал генерала раньше, встречался с ним в годы войны, только не на фронте. Генерал был в Москве. Когда-то летал, потом бросил. Почему бросил? Впрочем, каждому свое. Он мог бы предложить запас, не напоминая о пенсии. Разве он, Ботов, о пенсии думает? И думал ли о ней, когда летал и воевал? Нет, генерал, психология настоящего летчика — для вас потемки.

— Я привык выполнять приказы, которые мне дают. Если вопрос обо мне уже решен вами, тогда зачем я здесь?

Он понимал, что отвечает генералу в неподобающем тоне, но не жалел о сказанном. Пока он ждал своей очереди в приемной, в кабинет входили офицеры, такие, как он, или почти такие по званию и возрасту, прошедшие школу войны и жизни. Подтянутые, в парадном обмундировании, с орденами, они выходили из кабинета, чтобы больше туда никогда не возвращаться. Ботов не понимал, почему вместе с не способными продолжать службу (были такие, забракованные врачами или желающие пожить спокойно) увольняют и старые кадры авиационных командиров. Да и не только старые... Кто будет воспитывать молодежь из училищ? Чтобы летать на современных самолетах, нужны годы тренировки, нужны умеющие научить, показать начальники, инструкторы. Или, может быть, его «колокольня» низка и он не видит истину? Может быть. Сверху виднее. И все же ему кажется, что слишком разбросались. Не рано ли? За себя он решил бороться. Генерал, казалось, не удивился столь энергичному ответу и не обиделся. Значит, были у него еще такие, как Ботов, говорившие не по уставу. Привык. Генерал продолжал уже не так официально:

— Поймите, полковник, возраст! Много вы еще пролетаете?

— Может быть, год, может, десять... Не знаю!

Ботов начинал злиться, теряя веру в положительный исход переговоров.

— Как семья?

— Живет и здравствует.

Пауза. Генерал листал страницы личного дела, не обращая внимания на остальных членов комиссии, офицеров-кадровиков, которые не торопились высказывать свое мнение. «Сидят для формы. Угодники», — думал Ботов. Или он раздражен и несправедлив к ним? У него не было желания, не было и времени контролировать ход своих мыслей.

— Если пошлем вас далеко... очень далеко?

— Могу только повторить: привык выполнять приказы.

Еще пауза. Кажется, последняя. Ботов напружинился.

— Хорошо! Свободны. Ждите приказа.

Ботову стало сразу легче дышать. Четко повернувшись, он торопливо вышел из кабинета, слишком торопливо, почти невежливо, будто боялся, что могут вернуть и изменить решение...

Приказ пришел раньше, чем он думал. День на сборы. День — прощание с друзьями — и здравствуй, Север! Уже два года без семьи. Иногда вспоминались слова жены перед отъездом: «Куда тебя несет? Не налетался? В твоем возрасте на печь поглядывают. В войну врозь и после тоже. Когда же жить?»

Когда жить?! А что такое жить? Поймет ли она? За два года он ни разу не пожалел о принятом решении, хотя скучал без семьи. Потерпи, жена! Недолго...

Ботов летал с молодыми, со «стариками», отвечал за боевую готовность полка в новых условиях, к которым привык сразу, с первых дней. Он летал, жил, не замечая лет, вот только полнота... Раньше ему говорили: склонен к полноте, но лишнего жира не было — характер не позволял. А вот здесь, на Севере, позволил. Забросил гимнастику, а когда однажды встал на лыжи, понял: поздновато. Приличного стиля хватило на два-три километра, да и то удары сердца отдавались во всех частях тела. Думал об отпуске, о горах, о море. Он приведет себя в порядок, но летать становится трудно. Иногда в полете такое ощущение, будто не хватает кислорода. Ну что ж, хватит, пожалуй. Кончится срок службы на Севере — и наверняка в отставку. Прибыл заместитель.

С виду хороший парень, повоевал неплохо, но как он будет выглядеть воспитателем, командиром? Ботов смотрел личное дело Астахова. Порядок! Заместитель по политчасти говорил: «Трудно привыкает, держит себя особняком, разговаривает с подчиненными покровительственным тоном. Самолюбив, кроме того, связался с этой...» Нет, Ботов не согласился с ним. Рано. Да и замполит все это утверждал не категорично. Не так просто привыкнуть сразу. Астахов хороший летчик, а в человеке бывает трудно разобраться, пока не поживешь с ним бок о бок. Черт его знает что оставил он там, в центре России. И теперь Ботов не менял своего первоначального мнения, но эти фокусы над морем... Что он хотел показать? Характер? Старые фронтовые привычки? Тогда дело дрянь. Но если это сделано летчиком в порыве азарта, летчиком, которого захватили врасплох новые условия, строгие правила, несовместимые с относительной свободой военных лет, то это еще полбеды. Ботов хорошо знал летчиков. К ним он присматривался всегда: и до войны, когда учил летать, и в годы войны, когда учил воевать, и сейчас. Астахов пока непонятен, ну да ничего, разберемся!

Вечером на разбор полетов Ботов собрал весь летный состав. Астахов, Ягодников и Крутов, его помощники, сидели впереди на скамье, Ботов говорил:

— В авиации встречаются две нежелательные категории летчиков: одни бравируют храбростью и могут в полете создать для себя такие условия, с которыми непросто справиться, а бывает, и невозможно — в результате или бессмысленная гибель, или, в лучшем случае, потеря дорогостоящей материальной части. Другие слишком осторожны, и эта осторожность напоминает трусость. Кому вы бы отдали предпочтение?

Ботов всматривался в лица летчиков. Молчание. Ботов продолжал:

— И то и другое — дрянь, так как приводит в конце концов к одному. Но если бы мне все же предложили выбирать, я, пожалуй, выбрал бы последних. Постепенно в них можно выработать и уверенность, и смелость, не отчаянную смелость, заметьте, а разумную, осмысленную. Хуже с безрассудными. Их не приведешь в порядок, пока случай не поможет. Помню одного... Летал отлично, но беспорядочно, любил неоправданный риск. Однажды пролетел бреющим над стартом, неумело, поспешно ввел са-

молет в восходящую бочку. Истребитель вместо набора высоты нырнул вниз и скрылся за домами. Мы ждали взрыв и черную шапку, но самолет каким-то чудом выскочил из-за крыш, долго летал над аэродромом, успокаивался. После посадки летчик с бледным лицом предстал перед командиром. Нас поразил страх на лице этого акробата, и мы понимали: трудно ему. «Хотел тебя примерно наказать, — сказал тогда командир, — но, вижу, нет смысла. Больше не повторишь». Этот случай не сделал его трусом, но он стал средним между двумя категориями летчиков. Мы не можем воспитывать людей только на таких примерах, они слишком дорого нам обойдутся. Вчера мы были свидетелями подобного...

Ботов бросил взгляд на Астахова. Тот сидел спокойно и слушал.

— Как думаешь, Николай Павлович?

Астахов встал.

— Согласен с вами, товарищ командир. И то и другое дрянь. Но того акробата, как вы выразились, я бы наказал.

После разбора полетов Ботов задержал Астахова:

— Последую твоему совету: на первый раз выговор. В другой раз это будет стоить должности, если не больше. Доходит?

— Доходит.

— Выговор — это цветочки. Ягодки уже были.

Ботов удивился:

— Что-то не помню.

— Ваша просьба, которую не удовлетворили в Москве...

Вот когда он увидел, как волнуется Астахов и что чувствовал он на разборе полетов: поигрывающие желваки на лице, дрогнувшие губы...

— Не будь этим... Как тебе сказать...

— Дураком.

— Вот именно. Ты — командир. Думать надо.

Не ожидал от себя Ботов такого мягкого тона. Сентиментальность, черт возьми! Успокоил себя мыслью: а парень действительно неплохой.

Степан перелистывал страницы журнала, головы не поднял, когда вошел Астахов. Крутов живо встал, мельком глянул на обоих, шагнул к Астахову:

— Никола, на ужин в столовую пойдем или дома что-нибудь сварганим?

На лице смущенная улыбка: хочет примирить петухов, да не знает, как подступиться к ним. Петухами назвал их еще днем, но тогда от него отмахнулись.

Астахов дружескп кивнул ему:

— У нас ничего не осталось?

— Ты насчет чихиря?

— По стопке хотя бы.

— Ни капли.

— Тогда открывай томатный сок. Вообразим, что коньяк. Внушение — великое дело.— Астахов подошел к Степану. — Целый день ты дуешься, как барышня. Может быть, хватит? Признаю, один-ноль в твою пользу.

Степан поднял глаза:

— Строишь из себя черт знает кого...

— Я же сказал: один-ноль...

— По морде за такие вещи бьют.

— За какие?

Крутов насторожился. Только что намечалось что-то стоящее, мирное, и вот опять... Степан ответил с издевкой, смотря на Крутова:

— Понимаешь, летали вместе, дураками были вместе, а он, видите ли, один виноват. Посмотрите, мол, какой я великодушный! — Резко повернул голову к Астахову:— Плевал я на твое великодушие!

Астахов оставался спокойным, несмотря на вызывающую грубость «старика». На его месте он, пожалуй, поступил бы так же.

— Подожди, не кипятись. В этом полете старшим был я, и поэтому все шишки...

— Я тоже вышел из рядовых, и давно уж.

— Допустим, это было не совсем правильно с моей стороны, но ведь это было сделано из товарищеских побуждений, да и по справедливости!

— Ах, ах... Ребенка прикрыл своей широкой спиной.

Крутов встал между ними:

— Хватит! Оба хороши. Что вы, в самом деле!

И такое сильное желание помирить обоих было в его глазах, в позе, на лице, что морщины на лбу Степана разгладились, хотя не все еще стало на свои места. Окончательно помирились, когда распили «полбанки» вина (достал все-таки Крутов по такому случаю).

На следующий день Астахов разговаривал с заместителем Ботова по политической части майором Пакевиным. Молодой добродушный человек, с прищуренными глазами и веселым характером, тот начал без предисловий:

— Брось фронтовые привычки. Пойми, в твоем подчинении молодежь. Жертв в войну было достаточно, может быть, будут еще, но сейчас их не должно быть.

В этих немудреных словах ничего нового не было, но высказывались они от души человеком, который и на другой работе, куда был выдвинут волей начальства, оставался все тем же летчиком, несколько грубоватым, но искренним.

— Чего тебя черти носили бреющим над морем, да еще с неисправным прибором? Это Север, пойми, Север!

— Вот поэтому...

Астахов вспомнил училище. Тогда он в учебном полете атаковал случайно подвернувшегося летчика-испытателя с завода. Потом кабинет начальника школы и почти те же слова. Сколько же лет прошло, да и каких лет! Если бы замполит был не летчик, было бы легче возразить... Все же учить надо на опыте прошлых боев и воспитывать в людях отвагу. Нужны примеры. Ничто так не действует на молодых летчиков, как примеры. Так было всегда в авиации, так и будет, а возможные жертвы... впрочем, он согласен, хватит жертв.

Очевидно, Пакевин решил, что с него достаточно. Притронулся к рукаву Астахова:

— Через пару дней поедем на гусей. Красота! Хоть палками бей. Ружьишко у меня возьмешь.

...К ним в комнату поселили временно четвертого жильца—инженера Половинкина, полнеющего сорокалетнего мужчину с круглым хитрым лицом. Придирчивый, вечно чем-то недовольный и ворчливый, он мог поднять шум из-за брошенной на пол спички или куска бумаги, неплотно прикрытой двери, взятого без разрешения зеркала с его тумбочки. Надо думать, именно эти качества и натолкнули Ботова на мысль сделать его ответственным за порядок в общежитии, и полковник не ошибся: чистота поддерживалась, распорядок выполнялся, после отбоя шуметь не решались. В общем-то, это устраивало всех, а уж Половинкина в особенности. Говорили в шутку: «Половинкин в гарнизоне для нравственной закалки и чтобы жизнь не казалась медом». На аэродроме он был требовательным и педантичным. Летчиков делил на две кате-

гории. Одни летали и приземлялись без происшествий. На таких он поглядывал молча и одобрительно. Но если кто приземлился с «козлами», на рулении или пробеге сжигал тормоза, то такие зачислялись в «пилотяги несчастные». Инженер ругал их нещадно, не обращая внимания на подчиненных, что противоречило уставу, при этом саркастически улыбался. Вообще улыбаться он мог только так. Его предупреждали, доказывали, что в присутствии солдат офицера не ругают, — безуспешно. Вселение Половинкина — прибыли новые офицеры, и живущим в гостинице пришлось уплотниться — не вызвало восторга у друзей, но встретили они инженера подчеркнуто вежливо:

— С новосельем, Пал Палыч!

Койку установили у окна по его просьбе: и воздух чище, а главное, отопительная батарея рядом. Половинкин накрывал постель голубым ватным одеялом с белоснежным пододеяльником, отличавшимся от казенных темных одеял на других кроватях. Заметив стоявший на подоконнике ящик с луком, решительно сказал:

— Хорошая вещь лук, но придется вышвырнуть его вместе с ящиком к чертовой матери. Там тараканов тьма.

— Началось, — подмигнул Астахов Крутову. Как ни тихонько сказал это «началось» Астахов, инженер все же услыхал, метнул на него злой взгляд, тут же с брезгливой гримасой протянул руки к ящику, откуда тянулись к свету зеленые перья.

— Лук не трогай. Он общественный, значит, неприкосновенный, — категорически отрезал Ягодников и нежно провел ладонью по верхушкам зелени.

— Тараканы тоже общественные? Расплодили дрянь всякую. Лук не трону, но, имейте в виду, к утру чтобы не видел ни одной желтой сволочи. Включай плитку, готовь кипяток!

— Вот это дело! — поддержал Крутов.

На самом деле, тараканов многовато. По-всякому пытались избавиться от них, но вывести окончательно не удавалось: тараканы во время «аврала» куда-то разбегались и отсиживались, пока не наступала тишина. Ночью они ползали по кроватям, по стенам, забирались в тумбочки, а когда надвигалась опасность, прятались и в ящик с луком, в расщелины сухой земли. К ним привыкли, а потом уже и внимания не обращали.

— Ты должен понять, Пал Палыч, — говорил Степан,

перемывая тарелки, — из всех живых существ на земле только муравьи да тараканы достойны уважения. Как приспособлены к жизни! Исключительно!

— Паразиты, сволочи!

Половинкин с ожесточением неожиданно снял с ноги теплую тапочку и замахнулся на таракана, бежавшего по столу... Таракан один миг глядел на инженера дружелюбно, деловито вращая усищами, затем ринулся с места и исчез с невероятной скоростью где-то за столом. Удар пришелся по пустому месту.

— Паразиты! Я им устрою варфоломеевскую ночь!

Чайник на плитке закипал.

— Пал Палыч! — не унимался Ягодников. — Между прочим, тараканы создают определенный уют, только привыкнуть надо. Если в русской хате нет тараканов, это не хата, а так...

— Это в той хате, где живут такие лодыри, как ты! Хватит трезвонить! Начинай!

Мебель сдвинули на середину комнаты, открыли ящики стола, дверцы тумбочек. Кипяток лили из всех кружек.

— Паника! Тревога! Глянь, вот дают!

Это был охотничий азарт. Осмотрели все щели. Пусто. Убрались, помыли пол, накрыли стол чистой клеенкой. Легли спать. Было приятно от чистоты. И воздух посвежел.

— Пал Палыч! Погляди! — Крутов указал на стол: несколько тараканов пронеслись с бешеной скоростью по столу и юркнули в ящик. За обувь хвататься поздно.

— Мышьяку им, паразитам, кислоты какой-нибудь! — Выражение лица Половинкина было отчаянно злым. — Раскормились, сволочи! Чтоб ни одной крошки больше на столе. Поняли?

— И где только у них бомбоубежище? — сокрушенно сказал Степан.

— Черт меня дернул перейти к вам!

Смеялись безудержно, громко.

— Ты думаешь, это впервые? Почти каждую неделю мы устраиваем им такую баню, но удивительное дело, после нее их становится вдвое больше. Поразительная живучесть. Почти мистика. Говорят, каждая семья тараканов насчитывает...

— Если не замолчишь, сапогом запущу!

Наконец тишина.

...В выходной — на охоте. День пасмурный, но тихий. Солнце за облаками. Ровным матовым светом окрашен воздух и тундра. Сырой мох, камни, остро отточенные ветрами, сопки с белыми пятнами снега. Вечная мерзлота. Над озером чайки, громадные, темные, с загнутым клювом и жадным, тоскливым взглядом. Тяжело взмахивая крыльями, в поисках полярных мышей бреющим летают над тундрой бесшумные белые совы. Разноцветные пушистые комочки — лакомство северных хищников. Где-то песцы, но их трудно встретить в это время года. На вездеходе переехали гряду скал. За ними гуси, сотни, тысячи. В новом оперении, они готовятся к далекому перелету.

— Не упускай меня из виду. Здесь ориентироваться не просто,— предупредил Крутов Николая.

Ягодников с командиром скрылись за скалистым бугром. Астахов с любопытством оглядывался. Жизнь и здесь, жизнь деятельная, но скрытная. Мох местами сырой, местами сухой, но с зеленоватым побегом. Цветы. Николай наткнулся на них внезапно. Маленькие, тихие и очень нежные, они словно ковром закрыли каменную землю, и трудно было представить, что под этим ярким ковром вечный холод. Астахов забыл о гусях, не слышал, что кричал ему Крутов. Он присел, не в силах оторвать глаз от зеленых, желтых, красных лепестков. Среди цветов — крохотные листочки тундровой березы. Астахов потянул кустик. Тонкий, длинный стебелек зашевелился в редкой морошке. Он потянул еще... Нет, не вырвешь: березка расползлась по земле, там и сям корнями вцепилась в твердый грунт, вцепилась намертво. Можно ураганом сорвать листья, они успеют вырасти еще, но вырвать корень... Астахов потянул сильнее. Только стебелек — зеленая струнка — остался в руке. Цветы... Он вспомнил две строчки из стихов, написанных кем-то из солдат-северян:

> Нет ничего красивее на свете,
> Чем Севера цветы в арктическом букете.

Память подсказала стихи другого, московского поэта:

> Чтоб лето даром не прошло,
> Оно им отдало последнее тепло.

Астахов пожалел, что оборвал березку, и, собрав нежные поникшие листья, бережно положил их в карман

куртки. Выстрелы заставили его вспомнить о ружье. Гулко хлопая крыльями, низко в небе появились вспугнутые стаи гусей. Астахов быстро зашагал, не меняя направления: вдали поблескивала вода озера. Птицы там. Наткнулся на скелет оленя. Неприятное зрелище, и он поторопился уйти от этого места, где побывала смерть. Притаился за большим камнем и, когда стая гусей прошумела над головой, нажал на спусковой крючок. Одна из птиц шарахнулась от стаи, часто захлопав крыльями, и упала. В руках птица вздрогнула и притихла с помутневшими глазами. Стрелять больше не хотелось.

К полудню собрались у машины. Трофеи уложили в кузов. Несколько живых птиц пристроили в корзине (Ягодникову удалось поймать молодняк). Гуси испуганно крутили маленькими головками, поглядывая в открытую дверцу кабины.

— Возьмешь одного. Это тебе еще дар Севера после гольцов. — Степан указал Астахову на одну из птиц.

Домой ехали долго. Гусеницы осторожно ощупывали грунт, перебираясь через камни или шурша по мху.

В гостинице живых птиц устроили в котельной. Пал Палыч был весел, даже приветлив. Охотно согласился приготовить суп. Вскоре гусиным запахом пропиталась даже улица. Пировали сначала в своих комнатах, потом ходили друг к другу в гости, ели сколько влезет. Гусиный ужин. Один раз в неделю, почти каждый выходной, если позволяла погода. Были и гольцовые ужины, после удачной рыбалки. Еще месяц — и не будет ни того ни другого. Ночь, снег, зима...

Утром, перед тем как уйти на аэродром, Астахов взял своего гуся из котельной и принес в комнату, что вызвало недовольство Половинкина. Птиц он любил только в жареном и пареном виде. На охоте его тоже не бывало, да для его стокилограммового веса путешествие по тундре было бы и затруднительным.

— Гони его к чертям на чердак!

— Я пристрою его в углу, за чемоданами, а вечером сделаю клетку.

Астахова поддержали товарищи:

— Откормится сначала, а потом по горлу.

С этим инженер согласился, но добавил:

— Вечером чтоб его здесь и духу не было!

— Принято, Пал Палыч!

Перед концом занятий Астахов пораньше пришел в

комнату, открыл дверь и застыл, пораженный. Случилось непоправимое: днем гусь перемахнул через чемодан, предварительно сожрав полбуханки хлеба и с килограмм крупы, положенной для него щедрой рукой, и забрался на кровать Половинкина, пытаясь вылететь в открытую форточку. Эта задача оказалась для него непосильной: мала форточка. Как долго птица пыталась вырваться на волю, было видно по следам, которые она оставила во множестве на ватном одеяле и подушке инженера. Голубое одеяло перестало быть голубым, подушка в пятнах, то зеленых, то белых. Больше белых. Почему так? Обожрался, черт! Почти бессмысленно Астахов смотрел на кровать Половинкина, на птицу. Утомленный гусь, вытянув шею, полулежал на подушке и равнодушно поглядывал на него, не двигаясь, будто хотел сказать: «А мне теперь все равно». Ну и ну! Николай схватил сапожную щетку — первое, что попалось ему в руки, и швырнул ею в птицу. Гусь рванулся с места, пробежал по кровати, на ходу с испугу оставив еще следы, и шмыгнул в свой угол за чемоданы. (Надо думать, таким образом он путешествовал за хлебом не один раз.) Астахов был бы рад, если бы и на его постели были пятна, но она была чиста, как и койки Крутова и Ягодникова. Он хотел посадить птицу на свою койку, но, очевидно, гусь был пуст, да и Пал Палыч вот-вот подойдет. Раздумывать было некогда и поздно. Нужно было спасать гуся. Астахов снес его в котельную и вернулся в тот момент, когда Половинкин открыл дверь. «Черт с ним! Не удирать же! Гуся нет, а там видно будет. Может, и удирать придется».

Он вошел в комнату вслед за инженером, но предусмотрительно остановился у порога. Пал Палыч молча смотрел на кровать. Сколько в молчании прошло времени, Астахов не мог сказать. Сцена была немой, но глубоко содержательной. Наконец Пал Палыч тихо спросил, не оборачиваясь:

— Где гусь?

Такого вопроса Астахов не ожидал.

— Не знаю, Пал Палыч. Надо думать, улетел в форточку. Дело в том, что кровать твоя рядом... — Он недоговорил.

— Где гусь? — со свистом, сквозь зубы повторил вопрос инженер.

У Астахова мелькнула мысль: пора уходить!

— Ей-богу, не знаю! Может быть, вынес кто-нибудь?

Пал Палыч повернулся и, не говоря ни слова, бешено сверкнув глазами, хлопнул дверью. «Прощай, тега! Будет тебе сейчас!»

Половинкин направился в котельную.

По истошному крику птиц и по наступившей вдруг тишине Астахов понял: ни одной живой птицы в котельной больше нет.

9

Полина ждала Николая. В комнате старательно убрано, чисто, свежо. С раскрасневшимся лицом, не дав ему снять куртки, прижалась к нему, обвив шею руками. Целуя ее, он почувствовал запах вина и посмотрел на стол. На столе начатая бутылка портвейна, пустая рюмка и наполненный вином стаканчик. Николай слегка отстранился:

— У тебя были гости?

Полина, расслабив руки, посмотрела на него с недоумением. Проследив взгляд Николая, совсем опустила руки, отошла к столу. Улыбка еще не сошла с лица, но была уже горькой, виноватой.

— Никого не было. Тебя ждала. — Будто отчитываясь, докладывала: — Ты обещал прийти раньше. Времени уже много, думала, вовсе не придешь, и выпила... — Кивнула на стаканчик: — С тобой.

Она ожидала, что он заинтересуется: каким образом с ним и почему? Но его слова совсем согнали улыбку с ее лица.

— Ты никогда больше этого не сделаешь!

— Да, конечно, не буду... — И уже спокойнее, даже чуть насмешливо, продолжала: — Взгрустнулось немного. Мне так хотелось тебе сказать... —Замолчала, встретив все еще недоверчивый, осуждающий взгляд.

Николай пришел много позже того времени, как обещал. И не он был виноват в этом. После ужина замполит окликнул его:

— Пройдемся, если свободен?

— Свободен. Куда пойдем?

— Хотя бы к морю.

— Добро!

Пакевин показался Николаю чем-то озабоченным. Так и есть...

— Не умею начинать издалека, с подходом, так сказать.

— Ко мне с подходом? Не стоит. Сам люблю без обиняков.

— Разговор о Полине.

Астахов насторожился. Может быть, и до политотдела дошла его связь с ней? Кому-то все же не дает покоя эта «разбитная девчонка». А впрочем, ничего удивительного. Он старший офицер, и Пакевину не безразлична его жизнь вне аэродрома.

— Это тебя интересует по должности?

— А ты как думал? Не ершись. Добра тебе хочу от души, а не по должности.

— Давай говори, у кого там Полина бельмом в глазу сидит.

Шли некоторое время молча. Вышли к морю. Легкие волны накатывались на пологий, с мелкой галькой и ракушками берег. Вчера море бурлило, а сегодня тихо. Говорят, последнее дыхание полярного лета. Не верилось, что такая масса тяжелой, сердитой воды скоро превратится в толстый торосистый лед. Пакевин остановился, присел, сложил ладони лодочкой, прикрыл ими губы, засвистел.

— Ты кому сигналишь?

— Сейчас увидишь. Только тихо.

Свистел он недолго. Метрах в тридцати от берега вынырнула большая собачья морда. Вынырнула так, что даже кругов на воде не было. Голова смотрела на людей не шевелясь, будто замерла. Пакевин продолжал свистеть, но уже тише. Недалеко показалась еще голова... Когда замполит вдруг встал и крикнул — головы исчезли.

— Ненцы приманивают нерп, бьют их, из шкур делают унтята, а мясо даже собаки не едят: отвратительный занах. Впрочем, когда жрать нечего — едят и нерп.

— Что делают зимой эти любопытные псы?

— У берегов, возле лунок. Как моржи.

Пошли дальше по берегу.

— Как у тебя с Полиной?

Решился наконец замполит. Все же заходил издалека, ощупью. Астахова это не смущало. Нравился ему Пакевин. Умный, вежливый человек. Во всяком случае, честен.

— Бывает хорошо, бывает плохо. Не всегда я понимаю ее.

— А себя? — Пакевин смотрел на Астахова искоса.

— Себя я понял. Надоело скитаться одному. Пора.

— Ну и что же?

— Время нужно.

— И место.

Да, конечно, Астахов и об этом думал. Пакевин сказал верное слово: место. Но что он, Астахов, может сделать? Ждать отпуска, только.

— Нельзя тянуть. В политотделе был разговор. Я не придаю этому особого значения. Начальство можно убедить, а вот подчиненных... Попался, говорят, наш умняга командир на самый простой крючок. В какой-то степени их можно понять. Живут без семей, женщин мало, поэтому более чем где-то, выражаясь партизанским языком, на Большой земле завидуют любым сложившимся отношениям мужчины и женщины. Здесь белый комочек снега раньше превращается в ком, раньше и темнеет от грязи.

— Что ты думаешь сам о Полине? Говори правду или молчи. Твое мнение не изменит мое о ней.

— Тогда зачем спрашиваешь?

— Знать хочу. Своими руками ты снег не замараешь.

Пожалуй, никому другому Астахов не задал бы такого вопроса. Пакевин замедлил шаг. Время от времени подбирал мелкие камни и бросал их в море.

— Полина — по натуре веселый и душевный человек. Отзывчива на чужую беду. В прошлом году двоих интернатских пацанов-ненцев выволокла из тундры в пургу. Заблудились, а она нашла их раньше аварийной команды в полукилометре от поселка. Потом месяц лежала в больнице. Воспаление легких, плеврит. Думали, туберкулез. Об этом успели забыть, а я помню. И еще ненцы помнят, до сих пор кланяются ей до земли.

Николаю будто впервые открывалась сущность Полины, и он спрашивал себя: почему Пакевин открывает ему это? Почему он сам ни разу не заглянул поглубже туда, в сущность? Неужели он заметил лишь ее внешность и лишь ее ласки, нежность, страстность влекут его к ней? Нет! Он не знал раньше того, что рассказал сейчас Пакевин, но теперь уверен, что нашел в ней ту женщину, которая сумела заслонить образ далекий, юный, очень чистый образ Тани...

— Легкомысленно она вела себя, любила повеселиться в мужских компаниях,— продолжал как бы в раздумье

Пакевин, — а теперь ее как кто подменил. Что она представляет собой сейчас — тебе лучше знать. Каждая любящая женщина хочет выйти замуж. Прозаично? Но это так. Уверен, что и Полина хочет этого.

— Не очень. Я уже предлагал ей свою лапу и холостяцкое сердце. Она была не в восторге.

— Значит, любит. А предлагал ты ей это тогда, когда... В общем, не вовремя предлагал.

Далеко ушли от поселка. Мягкие тени окутали сопки. Черно-синей стала холодная волна. Солнце все ниже опускалось к горизонту.

Николай посмотрел на часы. Полина ждет.

— Спасибо, друг!

Впервые назвал так замполита Астахов. Тот кивнул в ответ, пожал ему руку:

— Бывай!

Если бы можно было говорить так с Полиной! Почему в их отношениях все еще остается какая-то недоговоренность, чего-то не хватает? Последний раз они долго были вместе, бродили по тундре. Ему казалось, что она счастлива. Полина собирала цветы и складывала их в плотный букетик, при этом напевала песенку без слов. И вся она, ласковая, красивая, как дикий цветок. И знал он, что не вовремя, может быть, некрасиво, неудобно... Яркое солнце, сырой мох, тишина. В ту минуту ничего не хотел он видеть, слышать. Бороться со своим чувством было невозможно. Оно вспыхнуло сразу, неожиданно... Он целовал ее глаза, губы, шею...

Такие минуты в их жизни были самыми искренними.

Обратно шли молча. Полина не смеялась, не пела. Он пытался говорить прежним тоном, целовал ее. Она сдержанно отвечала на его ласки. Потом сказала:

— Не то, милый, не то. Будь искренним до конца.

Неужели она не видит, не понимает, что он любит ее, что и ему порой бывает трудно, что он старается забыть, почти забыл?! Кажется, все дело в этом «почти». Как будет сегодня? Он сделает все возможное, чтобы было ясно, чтобы она открылась наконец...

...Привычно сбросив у порога кожаные на меху сапоги, обул купленные для него тапки, подошел к стоящей у стола Полине, обнял, заглядывая в глаза:

— Ты что-то хотела сказать мне?

Полина слабо улыбнулась. В глазах еще не погасли беспокойные огоньки.

— Вижу, обижена. За что?

Полина отвечала на поцелуи жарко, порывисто, будто в бреду, шептала:

— Мой, мой! Боже, как я люблю тебя! Я буду делать все, как ты хочешь, только не смотри на меня с подозрением, как только что. — Полина заплакала, но тут же вытерла слезы, пытливо глянула на Николая. — Я понимаю, тебе не просто со мной. Многие пытались предостеречь тебя от меня. Я расскажу все, ничего не утаю, только ты должен верить. Без веры нам нельзя быть ни одного дня. Если я буду знать, что не веришь, я уйду. — Испугалась последнего слова, сжав виски руками, проговорила: — Не могу без тебя.

— Я верю и люблю. Не нужно мне ничего рассказывать. Я тебя знаю такую, какую встретил. Пусть прошлое останется в прошлом, а будущее у нас общее. Вот и будем жить настоящим и будущим.

...Тихо в комнате. Ровно дышит спящий Николай, руки так и не выпустили ее из объятий. Полина не спит, чуть повернула голову, смотрит в обветренное лицо, на приоткрытые, с четким рисунком, губы, прямые пряди волос. Ей хочется поправить их. Нельзя: проснется. Теперь она еще больше любит его. Зря не сказала... Не надо. Потом...

Закрыла глаза, и поплыли один за другим дни, месяцы, годы...

Здесь, на Севере, вышла замуж. Полине казалось, что она счастлива. Любила смотреть в красивые, диковатые глаза Георгия, любила гортанный кавказский акцент, любовалась, когда он с упоением плясал лезгинку, любила и жгучие ласки. Год — как праздник.

Год... Придя после работы домой, увидела на столе объемистый конверт. На трех листах Георгий писал о счастье, которым одарила его Полина, о том, что никогда и никто не сумеет заменить ее, но... И еще на двух о том, что есть такое слово «долг». Просил прощения, клялся, что всю оставшуюся жизнь будет несчастным ради детей. Описал, какие у него прекрасные мальчик и девочка, увы... нелюбимая жена, но — долг.

Первые дни она ходила как заведенный манекен, потом сорвалась. Не мог Георгий уехать тайком. Это не на гражданке. Значит, знали и лишь от нее держали в сек-

рете. Более всего взбесило, когда услыхала слова жены одного офицера: «Не дурочка, понимала, что женитьба была фикцией, лишь бы прикрыть сожительство видимостью закона». Назло «офицерше» Полина стала напропалую кокетничать с ее мужем. Ни разу не был у нее этот офицер, но молва будоражила умы женщин гарнизона. Жена офицера устраивала скандалы. Полина умышленно не опровергала слухов. Женщины стали сторониться ее, а мужчины по-прежнему приглашали ее на холостяцкие пирушки. Полина шла, плясала, пела, и офицеры были в восторге от ее жизнерадостности. После одной из таких пирушек она проснулась в постели начальника штаба. Тот, уже побритый, затянутый ремнями, собирался уходить на службу.

— Выйдешь позже, и, пожалуйста, так, чтобы никто не видел, откуда выходишь. А вечером приходи.

Так и не сказав ни слова в ответ, Полина с ужасом и отвращением думала о себе. И, пожалуй, не потому, что провела ночь с «морально устойчивым», как его звали в поселке, подполковником, а потому, что слишком унизительным было ее пробуждение. Хоть бы одно, даже притворное, слово нежности. Вместо него небрежное «приходи»...

Не таясь, со злыми, блестящими глазами, вышла на крыльцо. Никого не видела ни возле дома, ни на дороге, тем не менее заговорили на все лады.

После этого едва ли кто мог сказать, что видел ее с кем-то, но слава оставалась. Изверилась в хороших людях. Даже те, кому нужна была: то одолжить деньги, то помочь испечь торт, то сделать красивую прическу или среди ночи сходить к больному, — и те оставались настороженными.

По-доброму думала о Пакевине. Легко и просто с ним было разговаривать. Даже сказала однажды: «Не вижу рядом с собой порядочных людей. И почему человек может быть такой сволочью?» Тогда разговор шел о Георгии. Он, оказывается, обманывал не только ее, а и начальников, каким-то образом «выудив» из личного дела семью. Пакевин тогда возражал ей: «Смотри не только на тех, кто рядом, а заглядывай дальше, на тех, кто не лезет к тебе с комплиментами».

Потом думала: нельзя жить злостью. Успокоилась. Встретила Николая. «За что он любит меня? Вдруг и он...» Похолодело на сердце от одной только мысли.

— Нет, — вслух проговорила она, разбудив Николая. — Не отдам! Никому не отдам.

— Вот и хорошо, не отдавай. Во сне что-то увидела?

— Спи, спи, родной, я так...

Горячие губы, непослушные словам, окончательно разбудили Николая. Поднявшийся ветер начал бить по окну. Они не слышали.

— Я хочу сказать...

— Не надо. Я люблю тебя.

10

Последний рейс затянулся. В Прибалтике был туман. Шамин не очень переживал вынужденное бездействие, но для Тани эти дни были мучительны. Она не скрывала этого, да и стоило ли скрывать? Шамин понимал ее состояние и в беседах уводил от тревожных мыслей, но на этот раз это было невозможно. Предчувствие чего-то рокового преследовало ее настойчиво, постоянно. Домой, к Дмитрию! Он опять один. Когда погода улучшилась и они в воздухе стали на курс, она подумала, что скорость их самолета не так уж велика.

И вот она дома. Дмитрий пишет, торопится. Теперь у Тани как бы две жизни. Когда они рядом, она прежняя, ласковая, веселая, ни одного беспокойного взгляда. Только такой он и видит ее. Но когда он занят или задумчиво смотрит в пространство, не замечая ничего кругом, Таня с отчаянной тревогой наблюдает за ним. Ей страшно... Она была у Василия Зиновьевича, была одна и узнала то, что должна знать жена. Не санаторий ему нужен, и ни к чему стали десятки пленок кардиограмм. Нужна спокойная жизнь, на которую он неспособен. Что поделаешь, человек «с низким болевым порогом»... Это говорил Василий Зиновьевич и тоже пытался прибавить ей бодрости.

Тане хотелось крикнуть громко, не сдерживаясь: «Что же делать? Помогите мне!» Этот крик звучал в ней и только для нее. Вчера она говорила с Шаминым и начальником порта — летать пока нельзя. Ей предложили другую работу, временно, на месте, пока не поправится муж. Как сказать об этом Дмитрию? Как объяснить причину, почему она на новой работе? «Смотрите за ним, будьте рядом. Создайте ему покой. Может быть, рискнем на операцию». Об этом говорил Василий Зиновьевич, и говорил так, что она понимала: операции не будет, операция не-

возможна. Доктор часто навещает их. Говорят обо всем, только не о болезни. Шамин тоже приходит. Сегодня придут с женами. Таня любила такие семейные вечера. Хорошие у них друзья. Шамин со своей тяжеловесной откровенностью, медлительный и рассудительный, неторопливый в словах и жестах; в противоположность ему Шаталов необыкновенно подвижный, веселый, всегда оптимистически настроенный, любопытный ко всем проявлениям жизни, любящий жизнь. Два разных человека, они удивительно легко нашли общий язык. Фомин тоже любил такие встречи, и Таню это радовало. Вся ее жизнь теперь была подчинена одному желанию: все что угодно, только бы Дмитрию было хорошо. Сказать ли сейчас, что она бросила работать, или потом, позже? Таня посмотрела через плечо мужа на исписанный неровным почерком лист бумаги, прикоснулась губами к его щеке.

— Не могу понять, — как бы продолжая вслух мысль, говорил Фомин, — как в наше время могут существовать люди, равнодушные к окружающему, к природе, к человеческим судьбам, к их горестям и радостям?.. Мне трудно объяснить их внутренний мир.

— Пиши о живых людях, а не о живых покойниках. Вряд ли на фронте ты видел равнодушных.

— Но они существуют. Мы их не хотим замечать, но они есть, есть как про́клятые, как что-то противоестественное... Недавно я видел человека с протезом вместо ноги. Учился ходить. На улице зацепился за угол дома, пошатнулся, но не упал. Он страдал, но не от физической боли. Он глядел на здоровых людей, проходивших мимо, видел сочувствующие взгляды; они готовы были прийти на помощь, но в этом не было нужды. Двое, проходя, засмеялись... Я не знаю причины их смеха, но любой смех в ту минуту был оскорбительным. Эти даже на помощь не пришли бы...

— Такие выведутся со временем.

— Нет смысла ждать. Их надо выводить. Однажды я прочитал эпиграф к одной книжке. Удивительно метко сказано: «Не бойся врага. В худшем случае он может убить. Не бойся друга. В худшем случае он может предать. Бойся равнодушных. Они не убивают, не предают, но своим молчаливым согласием способствуют, чтобы в мире было и убийство и предательство».

— Думаю, что ты преувеличиваешь, дорогой мой. Да-

же если человек дурно воспитан, его перевоспитает сама действительность.

— Пока будет длиться это перевоспитание, они будут портить жизнь!

— Тебе всегда хорошо со мной?

Таня внезапно переменила тему разговора, заглядывая ему в глаза. Фомин не удивился вопросу.

— Всегда.

— Мне тоже. Я решила больше с тобой не расставаться ни на один день.

Фомин усмехнулся.

— Я знаю. Решила давно, но зачем молчала? Мне на самом деле трудно без тебя. Напрасно ты скрывала и свои визиты к Василию Зиновьевичу. Знаешь, когда человек болен, скажем прямо, неизлечимо болен, он делается настороженным, мнительным. Трудно что-либо скрыть от него. Я отлично знаю тебя и твои мысли тоже. Но сдаваться я не собираюсь. Меня не так просто опрокинуть на спину. Не один раз судьба пыталась это сделать. Я двужильный.

Какая злая сила вывела ее из равновесия, она не могла бы сказать. Еле сдерживая слезы, Таня уткнулась лицом в его плечо... А когда почувствовала его сильную руку, вдруг обрела уверенность, что он будет жить долго, и болезнь отступит, и счастье останется.

— Жаль, у нас нет детей...

Таня зажала ему рот рукой, с обидой глянула на него:

— Обещай никогда не говорить об этом. Мне нужен ты, и только ты...

Тревога исчезла. Они наслаждались покоем. Потом Фомин достал из ящика стола конверт.

— Ты Михеева помнишь?

— Федю? Конечно. Он работает испытателем. Почему ты заговорил о нем?

— Письмо от него. Почитай.

В памяти возникло доброе, круглое лицо Федора. Таня читала письмо, вспоминала юность, друзей юности... Господи, как это было давно и... совсем недавно!

«...Рад вашему благополучию. Последнее письмо от Дмитрия получил еще из госпиталя. Долго молчите, долго... И все же я нашел вас, и теперь не потеряемся, да? По-прежнему летаю. Испытываю новое, что дает техника. Люблю свою работу. Сильно шагнула авиация вперед! Ду-

ша радуется... Бывают и горькие дни. Недавно хоронили товарища. Он был вдовец. Жена умерла в последний год войны. Остались двое пацанов. Хорошие ребята! Как же зла судьба! Отец души в них не чаял — и погиб. Реактивный самолет имеет неприятную особенность: иногда взрывается... Что поделаешь, новое тоже требует жертв. Уж лучше бы я... Ладно, ладно, не буду. Главное в другом: теперь это мои сыновья. Не знаю, что такое собственные дети, но они не могли бы быть для меня дороже вот этих маленьких «сирот». Поставил слово в кавычки, не люблю его. Выкинул бы его к чертовой матери из русского языка (извините...), унижающее, отвратительное слово! У моих ребят нет матери. Говорят, надо жениться. Не могу. У меня много друзей среди мужчин, а вот женщины нет. В любовь молодой не верю, да и вряд ли она сможет быть матерью моих детей, а женщина моего возраста еще не пересекла моего пути, иначе я ее перехватил бы. Не считайте меня нравственным уродом. Так уж получается!

Великий привет Тане! Помню ее задиристой, гордой и страшно независимой. Не имею представления, какая она сейчас! Нужно ли писать о своем желании видеть вас? У меня нет никого на этом свете, кроме моих пацанов да вас. На днях в отпуск. Предлагают санаторий, но не с моим характером ехать туда. Не нахожу никакого удовольствия валяться на пляже и греть живот, а вот посетить старый город, где вырос, где учился, — с удовольствием. Чувствуете, к чему клоню? Ну и нахал! Я даже не спрашиваю, можно ли приехать к вам, а просто выезжаю. Забираю хлопцев — и айда! К вам!

Встречайте. Ваш Федор».

Чтобы скрыть волнение, Таня еще раз перечитала письмо. Она помнит Федора так же хорошо, как помнит Астахова. Друзья юности. Жизнь развела их в разные стороны, но душой они вместе. Астахов, Николай, ее первая, отчаянная любовь! Дала ли ему дикая природа Севера успокоение?! Как же все сложно в жизни и в то же время просто. Она продолжает любить Астахова, но это уже любовь к другу, пожалуй даже к брату. Она знает, что Николай никогда даже в мыслях не упрекнул ее в том, что она встретила настоящую любовь, большую, ни с чем не сравнимую. Это не предательство, нет, это любовь! Фомина невозможно не любить. Николай тоже его любит, своего учителя, наставника, своего друга. Ох, как хотелось бы ей знать жизнь Астахова, и нашел ли он свое

послевоенное счастье, и какое оно? Не пишет... Да, конечно, не все еще встало на свои места. Напишет, и не только напишет, но и приедет, и, может быть, не один. Господи, сохрани ему жизнь и счастье! Поймала себя на мысли, что взывает к богу, как старенькие люди, машинально, бездумно, но искренне.

Таня мельком взглянула на Дмитрия. Он умеет молчать, когда нужно молчать. Только брови насуплены... В такие минуты он в стороне. Она рядом, но что-то уходит на минуты, не больше, затем возвращается с обостренным чувством.

— Это же чудесно! Ты ведь тоже хочешь его видеть?

— Буду ждать его как бога.

Вечером пришли Шамин и Шаталов с женами. Мужчинам Таня приготовила закуску, подала коньяк, а женщин увела в соседнюю комнату, где пили чай. Таня чувствовала себя спокойно, когда была рядом с этими людьми. Тревога растворялась в сознании, и крепла уверенность, что все будет хорошо, и Дмитрий поправится, и впереди у них много лет здоровой жизни, много встреч с друзьями; мысленно часто возвращалась к Федору и радовалась близкой встрече.

Разошлись к полуночи. Фомин сел на кушетку и опустил голову на руки. Таня заметила, как изменился враз цвет его лица: побелели губы, на бледных щеках резко обозначились красные прожилки. Глаза усталые, грустные и тревожные. Таня опустилась перед ним на колени, взяла его руки в свои.

— Может быть, врача вызвать?

— Не нужно. Обойдется. Утром завтра...

Говорил он нерешительно, словно выжимая из себя слова. Достал нитроглицерин. Таня продолжала наблюдать за ним и, когда он улыбнулся, успокоилась.

— Ничего, Танюша. Немного опять... Чудесное средство.

— Скорее в постель. Ты устал!

Ночью Таня вызвала «скорую помощь» и Василия Зиновьевича: Фомин потерял сознание.

...Неделя. Таня не замечала времени. Окружающее не имело для нее никакого смысла. Она жила как бы вне времени, не думая, когда нужно спать, когда есть. Иногда проскальзывала мысль, что счастье, о котором мечтала много лет, только коснулось ее и теперь уходит, уходит... Тогда она бежала к мужу. У нее была только одна дорога,

дорога к комнате в госпитале, к их комнате. Сначала она не поняла, почему отдельная и почему ей разрешено быть там сутками. Перед тем как допустить ее к Фомину, Василий Зиновьевич напомнил: «Он не должен видеть вас расстроенной». И эти слова больно отозвались в сердце. Ей казалось, еще немного — и она не выдержит, закричит или сбежит с глаз долой, но в палату к Фомину входила внешне спокойная и только потом, дома, забившись в угол, плакала. Сегодня утром он что-то писал и, когда она вошла, торопливо спрятал лист под подушку. Худое, с синеватым оттенком лицо, плотно сжатые губы, вымученная улыбка и слабый голос.

— Ты видишь, я спокоен. И ты не мучай себя. Я много раз умирал... Привык. Бороться уже не могу. Мои золотые часы, помнишь... подарок командующего. Найди Астахова, передай часы ему... обязательно передай. Адрес у Федора...

Она с трудом улавливала смысл его слов.

— Ты будешь здоров, милый, будешь... Поверь, все будет хорошо.

— Мне трудно говорить. Записка Астахову... Передай Федору...

Бледное лицо стало мокрым. Он широко открыл глаза, пытаясь что-то увидеть, и притих. Опять потеря сознания, в какой уж раз. Таня побежала за врачом, за сестрой, что-то крича на ходу...

Потом белое каменное лицо, ставшее вдруг далеким и очень спокойным. Это спокойствие было страшным. Она упала, ударившись головой об угол кровати, но боли не было...

Сколько длилась ночь, Таня не знала. Когда открыла глаза, увидела живое, крупное, странно знакомое лицо, но не могла вспомнить, понять, кто это. В теле усталость и желание лежать вот так, не двигаясь, ни о чем не думая. Домой ее привезли на машине. Кто-то поддерживал ее сильной рукой, но это рука не мужа, не мужа... В комнате два мальчика. Она машинально отметила про себя: один, вероятно, уже в школу ходит, другому еще рано. Вдруг обернулась и, как бы вспоминая что-то, остановила взгляд на молча стоявшем человеке в легкой кожаной куртке. На его загорелом лице светлые глаза и беспокойная улыбка...

— Федя...

Это разрядка. Федор знал, что она наступит. Об этом предупреждал врач, и в этой разрядке ее спасение. Кто знает, не будь его в тот трагический час рядом с ней, что было бы? Слезы лились у нее по щекам и падали на его рукав... Когда Таня несколько успокоилась, он усадил ее на диван и ушел, нарочно оставив ее с детьми. Дети вернут ее к жизни скорее, чем он. Старшему сказал тихонько в коридоре: «Тетя Таня больна, расстроена. Рассказывай ей что-нибудь и не оставляй одну».

Несколько минут Таня молча смотрела на притихших ребят. Что-то надо делать... Она встала и перетащила матрац на диван. Матрац широкий, и она не могла понять сразу, почему вдруг диван стал таким узким.

— Тетя Таня, спать рано. Мы еще не хотим. Будем ждать папу.

Ах да! Еще день. Это она хотела лечь и как-нибудь уйти от действительности. Надо накормить детей. Она пошла на кухню вместе с ними, нарезала маленькими ломтиками картофель, налила на сковородку масла и ждала, пока оно не стало потрескивать, а кусочки картофеля не начали покачиваться в кипящей жидкости. Много масла. Где-то молоко, хлеб...

Она смотрела, как мальчики жадно ели картофель и смешно чмокали губами, особенно тот, который поменьше.

— Тетя Таня, можно немного соли и помидор? Они лежат на окне.

Боже мой! Она забыла помидоры, свежие! Они привезли с собой. Таня подала соль, вымыла помидоры и опять смотрела на маленьких людей. Их настороженные глазки неотрывно устремлены на нее тоже. Они не понимают, ничего не понимают. Старший что-то говорит, губы его улыбаются, а глаза... В них страх и еще что-то. Таня отворачивается и видит кожаную куртку на спинке стула перед письменным столом. Все на своем месте, все, только его нет и никогда не будет. Она провела рукой по холодной щеке и застонала... Нет, нет, нельзя! Ребята бросили есть. Маленький прижался к руке брата и вот-вот заплачет. Таня села на стул, взяла их руки в свои руки и ласково притянула к себе. Может быть, два детских сердца почувствовали горе взрослой женщины, а может быть, это были уже люди, способные страдать при виде страдания других. Они не отвернулись испуганно, не отняли своих рук и не плакали, только тихо прижимались к женщине, вдруг ставшей им близкой...

...В последние минуты траурного митинга Федор боялся за Таню, боялся ее глубокого молчания, ее равнодушия. Пустой, безжизненный, неестественно спокойный взгляд, и, казалось, нет живых черт на постаревшем лице, и ни одной слезы... Залп десятка карабинов. Вздрогнул воздух. Что-то торжественное было в этих залпах, утверждающее жизнь, а не смерть. Солнце пробилось сквозь листву деревьев, упало на гроб, осветило лицо покойника. Федор последний раз всматривался в лицо Фомина и вспоминал: почти таким же оно было на фронте, когда санитарный самолет увозил его, раненного, в тыл: спокойная сосредоточенность, две глубокие морщины у губ. Нет смерти на этом лице. Оно осталось живым, только усталость... Лицо человека, который жить уже больше не мог. Смерть его не застала врасплох. Может быть, поэтому оно было спокойно, как лицо мирно спящего. Он знал, что смерть придет, что она совсем рядом. Знал еще врач, но врача она пугала, а человека, который должен был умереть,— нет.

Еще минуты. Звуки оркестра. Невольно Федор подумал: ненужная традиция. Траурная мелодия рвет сердце на части, сердце, которое и без того надорвано. Таня опустилась на землю, прильнула к гробу, провела рукой по волосам мужа, поцеловала мертвые губы. Звуки гимна. Последний ком земли...

В машине друзья мужа, ее друзья: Шамин, Василий Зиновьевич, Федор. Ехали молча.

Дома Таня ушла в спальную комнату. Ее не удерживали.

— Так лучше. Пройдет. Она сильная женщина. Не надо трогать ее до утра. — Василий Зиновьевич придержал за руку жену, пытавшуюся пойти вслед за Таней.

Подняв стаканы над стопкой покойного, поставленной в центре стола, в молчании выпили.

— Сгорел...— Шамин вглядывался в портрет Фомина.— Напишут люди о такой жизни, о такой смерти, поверит ли молодежь будущего, какой ценой добывалась для них жизнь, счастье?

— Как написать! Поверят. Не имеют права не поверить.— Федор повернул голову на диван, где спали дети погибшего летчика-испытателя.— Поверят! Может быть, не смогут понять всей глубины чувств, но поверят, иначе не было бы смысла так умирать, умирать за их будущее.

Белесое солнце появилось на горизонте, повисело над краем земли, окрасило на короткое время тусклым, бледным светом облачность и скрылось. Полярная ночь. Безмолвная, холодная земля укрыта бугристым снегом и мраком. Только в полдень, не показываясь, солнце напомнит о себе: посереет темень, как бы предвещая начало рассвета, но вместо рассвета — опять мгла. Закрыто небо, притихла земля, и только ветры, злые, порывистые, поднимают снег с земли, перекатывают его с места на место, засыпают домики до крыш плотной толщей и по-звериному воют, рычат, свистят в трубы. Вчера еще здесь было ровное место, а сегодня скалистое нагромождение снега. Когда беснуется ветер, все живое прячется. Свет электрических ламп на вышках не пробивает вихрящуюся завесу, и только видны слабые светлые пятна. Пока длится пурга, Север превращается в ледяной ад. Сутки, двое, а то и неделю... И вдруг истощенный, усталый зверь затихает. Непривычная тишина волнует, радует, и все меняется со сказочной быстротой. Тихо и морозно. Небо усыпано звездами. Но скоро звезды гаснут. Небо — гигантский хоровод красок: оно пляшет, горит, взрывается тысячами цветастых брызг, успокаивается на минуту-две, будто для отдыха, и опять дикая пляска красок. Оживает и земля. Десятки громыхающих машин, тракторов, бульдозеров разрывают снег, разламывают его и тяжелыми глыбами увозят, оттаскивают в стороны. Дороги похожи на туннель. Взлетная полоса на аэродроме поблескивает искрящимся снегом, отражая свет посадочных огней. Гудят двигатели истребителей, моторы спецмашин; прилетают и садятся транспортные самолеты. Наконец-то! В их грузовых отсеках — почта, связь с отрезанным миром.

Красив Север в такие ночи. В жизни Степана Ягодникова это вторая ночь в Арктике. Год назад ему было легче жить, легче потому, что в полетах он оставался прежним: уверенным, спокойным, сильным. Настроение было постоянным, уравновешенным, ничто его не смущало. Разве сейчас стала страшна полярная ночь? На земле — нет. В воздухе — стала страшна. Когда это пришло? Все чаще он вынужден бороться с собой, собственным страхом, с психической подавленностью. В полетах на больших высотах он прислушивается к работе своего сердца внимательнее, чем к работе двигателя; временами сердце

стучит больно, гулко, часто. Тогда ему тяжело дышать, он плотнее прижимает к лицу кислородную маску и глубже вдыхает поток свежей, прохладной струи. Вместе с физическим недомоганием приходит страх, почти панический, безудержный, еще больнее бьющий по сердцу: потеря сознания, хотя бы кратковременная, приведет к беспорядочному падению, к гибели. Тогда Степан теряет высоту, спешит домой, на посадку, и только на посадочном курсе приходит успокоение, а вместе с ним стыд и обида на самого себя. На земле он возбужден, но сомнения исчезают, появляется уверенность в своих прежних силах, а сердце... так, сомнение, болезненная чувствительность, усталость. Мысль о полетах больше не беспокоит, пока полеты не начинаются. Тогда повторяется все сначала... Рассказать о своем состоянии врачу или командиру, высказать им, какая тревога охватывает его в полетах,— значит уйти из авиации, навсегда потерять то, чем жил много лет. На это Степан не решался... Пока. Может быть, до комиссии, и то, если сам скажет. А скажет ли? В этом уверенности не было. В прошлом никаких ограничений, и с врачами он шутил. Здоров как бугай. Так было, было... Что же делать сейчас? Он молчит и продолжает летать. Точно ли это болезнь? Может быть, внушение? Или возраст? Или устал, и в полетах весь организм переходит на «трясучий режим»? Можно уйти, бросить летать, он уже не молод, и для пенсии выслуги больше чем достаточно... Но второе «я» где-то в сознании подсказывает другое: подожди, не торопись. Когда же пришло раздвоение и откуда оно? Начал летать еще до войны, потом воевал, учил летать других, один из первых получил право летать в сложных условиях погоды и не помнит, чтобы в душе возникал такой страх за жизнь. В облаках, ночью он никогда не терял спокойной уверенности, и только в последние месяцы ему часто кажется в полете, что летит вниз головой или круто спиралит, при этом в голове шум, слабость в теле, и нет необходимого внимания к приборам, и... паника. Домой, скорее домой, пока еще он способен видеть приборы и верить им. На земле никаких признаков болезни, только нервная напряженность, шум в ушах и тревожные мысли. Вот так и сегодня...

В автобусе Степан смотрел вверх через окно: ветер стих, но плотная, низкая облачность выглядела мрачной, темной. Летчики довольны: «Отличный сложняк!» А Степан подумал: может, не летать сегодня? Тогда возникнет

вопрос: почему раньше не сказал о плохом самочувствии? Кроме того, он летит за цель и, если его вылет сорвется, будет исключен из плана полетов экипаж самолета-перехватчика.

Астахов предупредил Ягодникова:

— Я не должен знать твоей высоты, расчет на КП тоже. Пусть сами определяют. Противник не будет предупреждать о своих действиях. Почему хмурый? Опять?

— Надоело все,— отмахнулся рукой Степан, не глядя на товарища.

— И все же?

— Так... Нехорошо что-то на душе.— Хотел сказать — в сердце, но вовремя удержался.

— Нездоров?

— Не то. Настроение.

— Это не только сегодня. Откуда подул ветер?

— Говорю — ничего. Штиль.

— Бывает. Тебе виднее. Не забудь, ради бога, мы едем не на рыбалку. Не летай сегодня.— Астахов испытующе взглянул на Степана. Тот был несколько смущен, но сказал твердо, даже вызывающе:

— Порядок!

Разговор успокоил Степана. Посмотрел на летчиков. Сидят, балагурят, и в самолете будут сидеть, как сидят здесь, в автобусе... Нет, в самолете не так. Волнение перед полетом естественное, закономерное, да еще в сложняке ночью. Но в воздухе оно проходит, волнение, некогда следить за своими психологическими ощущениями. В воздухе работать надо, и эта работа приятная, потому что работа в полете — борьба, и летчик должен знать, что в этой борьбе он всесилен, непобедим, тогда он счастлив... А если такой уверенности нет? К черту, сегодня он будет тоже всесильным, только не раскисать заранее...

На аэродром прибыли в полдень. Только что воздух был серым, предрассветным, и опять темень. С моря дул влажный ветер, но без признаков тумана. Разведчик погоды, руководитель полетов, только что приземлился, подтвердил фактическую погоду, данную синоптиками.[1] Порядок! Последние указания командира — и самолеты поднялись в темное полярное небо.

Едва успев убрать шасси, самолет Степана окунулся в плотные облака. Верхний край их далеко, но и за ними полет только по приборам — ни земли, ни неба... В таком полете приборы заменяют разум. Пока Степан пробивал

облака вверх, он не следил за часами. За облаками, когда напряжение ослабло, стал часто бросать взгляды на циферблат, и от этого время шло медленнее. Чем полет по маршруту в такую ночь, лучше перехват и воздушный бой. Тогда время идет быстрее, да и некогда смотреть на часы. О них забываешь. На заданной высоте Степан почувствовал головокружение. Опять знакомый страх проник в сердце, отчего оно стало стучать неровно, тревожно, болезненно. Начинается... Он заставил себя думать только о приборах, прогоняя растущую тревогу.

По радио передали: перехватчик атаковал его на полпути к аэродрому. Невидимый, стремительный, он где-то прошумел рядом, не оставляя следа. Было досадно, что не заметил истребителя, но от мысли, что в темном небе есть еще самолеты, стало спокойнее.

— Задание выполнил! Иду домой.

Степан узнал голос Астахова. Он также знал, что Астахов не будет торопиться домой. Нужен налет в облаках. У летчиков тоже план, и этот план нужно выполнять, особенно ночью, да еще в облаках. А на Севере это не просто: иногда погода не дает летать неделю, а то и больше. Да и не только поэтому. Уж коли летчик в воздухе, он летает, пока позволяет горючее и если в плановой таблице нет строгого ограничения по времени.

У Степана нет такого желания, он снизился до средней высоты. Двигатель работал хорошо, и сердце стало работать лучше. Но сердце может отказать в любую минуту, а двигатель... Двигатель почти никогда не отказывает, пожирая за минуту десятки килограммов горючего: сзади беспрерывный огненный поток вырывается с огромной скоростью, и с той же скоростью мчит самолет вперед.

Пока истребитель был в горизонтальном полете, Степан не испытывал болезненных ощущений, но после разворота на посадочный курс в облаках тошнота подступила к горлу, в голове опять шум, и слабость в теле мешала видеть, соображать... Казалось, на голову сверху давит что-то тяжелое, и от этой тяжести избавиться нет сил. Степан открыл аварийную подачу кислорода. Стало легче, но головокружение не проходило. На секунду он прикрыл глаза, но тут же открыл: помимо его воли самолет начало кренить. Инстинктивным движением хотел выровнять самолет, но приборы убедили его в том, что истребитель летит без крена. Иллюзия. Вестибулярный аппарат. Как

много слышал он раньше обо всем этом! Верь только приборам—но видеть их становится труднее. В глазах темнеет, стрелки уже не голубые, а зеленые, и он не может распределить на них своего внимания. Заболели лоб, зубы. По радио запрашивали высоту полета, но он молчал, и голос в телефонах был для него только голосом, звуком из какого-то отдаленного от него мира. Волнение сжало сердце, и гулкие удары его словно сверлили мозг. И дышит он часто, с хрипом. Истребитель переваливался с крыла на крыло. Нет, самолет по-прежнему устойчив. Только бы не потерять способности управлять, видеть. Еще несколько минут, всего несколько минут... Облака кончились, внизу берег моря, скалистый, с торосами, впереди огни аэродрома. Земля не видна, море тоже, только огни. Степан взглянул на высотомер: стрелка около нуля. И посмотрел он на высотомер только потому, что по радио настойчиво требовали не терять высоту. Голос был грубый, тревожный. Посадочный локатор видит его высоту, а вернее, видит, что высоты нет. Руководитель полетов пытался действовать на его психику, не зная, что с ним. На этот раз он приказывал настойчиво, крикливо... И вот смысл команды дошел до сознания, и Степан взмыл кверху. Вовремя! Земля под ногами, и прикоснуться к ней сейчас колесами — значит взорваться, сгореть! Теперь он дотянет до аэродрома, несмотря на острую боль уже в глазах. Огни... Еще немного. Луч прожектора, огромный светлый «пятак». Дотянуть до него! И, когда освещенная полоса зарябила в глазах, Степан судорожно убрал газ. Истребитель отскочил от земли, на малой скорости покачался в воздухе, накренился... Колеса и крыло одновременно ударились о бетонную дорожку. Степан сжался в кабине. Он плохо видел землю и не мог предотвратить грубой посадки. Самолет бежит — значит, шасси цело. На губы стекали соленые капли пота.

Когда истребитель кончил пробег, Степан отрулил с посадочной полосы, выключил двигатель, дрожащими руками отстегнул ремни, вылез из кабины и подошел к концу плоскости: консоль крыла исковеркана, поломана. Клочьями висела обшивка. Степан нервничал, злился на себя, и не от вида поломанной плоскости, а оттого, что боль в голове прошла, и сердце работает ровно, без перебоев, и паники нет, только отвратительное чувство беспомощности...

Не дожидаясь техника с машиной-буксировщиком,

безразличный ко всему, Степан медленно шел в черноту ночи, подальше от огней...

И еще случай в этот злосчастный день: один из летчиков приземлился с перелетом, почти на середину полосы, и резким торможением сорвал покрышки колес шасси. Что было с Ягодниковым, летчики не знали. Ботов прекратил полеты и приказал построить летный состав. Темнота скрывала выражение его лица. Массивная фигура была угрожающе неподвижной. Говорил он, с трудом сдерживая готовую вырваться наружу злость. Инженер Половинкин стоял рядом с ним в торжествующей позе и холодным взглядом смотрел на летчиков.

— Вы куда ехали? К чему готовились? Я спрашиваю, к чему готовились?

Тишина. Минуту-две Ботов походил перед строем, кипя негодованием.

Астахов понимал командира. Он, его заместитель, тоже повинен в плохой подготовке к полетам хотя бы вот этого летчика Орлова, стоявшего понуро в строю. Что со Степаном?

Летчик знал, что так будет. Вышел на середину, готовый провалиться сквозь землю.

Ботов продолжал, не меняя тона:

— Может быть, половину тундры заставить прожекторами? Полярная ночь не для тебя. Подождем солнышка, ас чертов...— Вдруг взревел, повысив голос до хрипоты, да так, что и Половинкин шарахнулся в сторону:— Отстраняю от полетов! Весь полк отстраняю! Завтра проверю каждого сам. Можете идти спать. Спать, слышите?!

Ботов влез в машину, которая мгновенно растворилась в темноте. Завтра он отойдет и полеты возобновятся. Не впервые. Хуже со Степаном.

Командир не говорил о Ягодникове, понимая, что здесь торопиться с выводами нельзя.

Астахов всматривался в лица летчиков: Степана в строю нет. Техники закатывали самолеты на свои места. Николай спросил у Крутова:

— Не видел?

— Нет. Техник сказал, что самолет был без летчика, когда буксировал его на стоянку.

Освещая путь карманным фонарем, они шли по рулежной дорожке. У последнего зачехленного самолета на снежной насыпи сидели Пакевин и Степан.

— Не скрывай ничего от летчиков. Они должны знать,

чтобы не повторилось. Отдыхай сегодня.—Пакевин похлопал по плечу Степана. Даже сквозь темень проглядывала бледность на лице Ягодникова.

— Что-то нехорошо мне...

— Может быть, врача?

— Нет. Спать хочу.

По пути домой Степан молчал, и друзья ни о чем его не спрашивали, понимая, что, пока не заговорит, от него сейчас ничего не добьешься.

Когда ложились спать, Степан проговорил как бы про себя:

— Может быть живое бесчувственным? Жаль, что от этой чувствительности мне никогда так плохо не было.

Астахов с Крутовым переглянулись.

— Что с тобой?

Степан долго молчал, затем криво улыбнулся:

— Говорят, умные живут за счет дураков. А за чей счет живут дураки?

Неуместной показалась шутка Астахову и Крутову. Видели: трудно Степану.

— Не валяй дурака, Степан. В чем дело?

— Я думаю, за чей счет я жил сегодня.

— Брось, Степан... Не ты первый, не ты последний...

— Братцы, когда придет Половинкин, сделайте так, чтобы он ни о чем меня не спрашивал, а то не выдержу... Крыло разворотил так, что и за неделю не починишь.

— Плевать, не в крыле дело. Радуйся, что голова цела.

— Я и радуюсь.

За закрытым снегом окном слабо взвизгивал ветер. Крутов включил приемник, ручкой настройки походил по коротким волнам. Треск и шум. Опять горит небо. Пока будет продолжаться свистопляска в небе, ни черта не услышишь. Степан уткнулся лицом в подушку, прикрыв голову руками...

— Трудно тебе, Степан, верим, но бывало хуже. Вспомни войну...

«Нет, ты не жил за счет дураков,—подумал Астахов.— Просто вылетался. Устал. Пора!..»

12

На партийном собрании выступал представитель политического отдела полковник Коротков. Пожилой, но подвижный, небольшого роста, с маленьким круглым лицом

и гневными глазами, взгляд которых почему-то всегда скользил мимо людей. Говорил он вдохновенно, многословно и грубовато. Речь его была нетороплива, и отчеканивал он каждое слово.

— Безаварийная летная работа—дело государственной важности. Не все это понимают. Есть необходимость разобраться в последнем случае с офицером Ягодниковым. Коммунист, летчик, заметьте, опытный летчик, руководитель — и оказался на много ступеней ниже рядового летчика. Думал ли он, когда шел на полеты, сколько сил и средств ушло на создание самолета, как дорог нам аппарат, созданный руками рабочего человека! До какой степени нужно докатиться в недисциплинированности, и мы не видели, не хотели видеть такого превращения. Это халатность, граничащая с преступлением, товарищи коммунисты! Иначе мы не можем расценивать подобные дела.

Астахова передернуло от такой категоричности. Он бросил взгляд на Ботова. Тот сидел в президиуме внешне будто бы спокойный, но летчики хорошо знали своего командира и каково ему быть сейчас спокойным, казаться спокойным. Почему преступление? О том, что Ягодников мог погибнуть сам, об этом в речи полковника ни слова. Откуда же такая оценка у представителя не просто власти, а у профессионального партийного работника? Нужно знать не только обстоятельства, но и человека, прежде всего человека. Так думали летчики. Так должен думать и полковник. Но говорит он не то. Оговорился и в ораторском пылу перестал анализировать свои собственные слова? А может, это убеждение? Тогда твое дело дрянь, Степан Ягодников! А ведь Степан рассказал все, ничего не утаивая от летчиков, ничего не скрывая: вся жизнь в авиации, хорошие аттестации, после войны добровольно уехал на Север. Около трех тысяч часов на истребителях... Вылетался, заболел, но понять этого вовремя не хотел, не мог. Он ругал себя, но это было не самобичевание. Он рассказывал людям, которым предстоит летать много лет, правду о себе, и об этом рассказывать ему было не легко.

Конечно, Астахов знал, эту истину летчику внушают с первых его дней в авиации: не уверен в себе — не садись в кабину. Если иметь в виду только такое правило— Ягодникова оправдать нельзя... И все же человек с его сложной психологией остается человеком. Авиация для Ягодникова — дело всей его жизни, и мог ли он просто, «закономерно», как прокричал Коротков, бросить то, что

давно стало для него необходимостью и потребностью. Астахов остро сочувствовал Степану.

— Нет, товарищи, мы не можем проходить мимо таких безобразий,— проговорил энергично последние слова полковник и сел.

Тишина. Но чувствовалось, что она продлится недолго. К трибуне вышел Ботов и стал рядом с ней, весь на виду. Прежде чем говорить, помедлил немного, как бы раздумывая, с чего бы начать.

— А мы и не проходим мимо безобразий, товарищ полковник.— Он не оборачивался на сидящего в президиуме полковника, обращался прямо в зал.— Партийное собрание проводится по инициативе коммунистов, так сказать, внеочередное. И не о наказании нужно говорить прежде всего, тем более, на мой взгляд, сейчас наказывать некого. Это предупредительное собрание, так сказать, с целью профилактики. Позволю напомнить: одни ломают самолеты по недисциплинированности, как Орлов, другие по недоученности или от излишней самоуверенности; еще бывают несчастья от резких изменений погоды, отказа техники, приборов... К какой категории отнести случай с Ягодниковым? Полковник Коротков говорит — недисциплинированность. Позвольте возразить. Ягодников за двадцать лет в авиации не имеет взысканий, он награжден пятью орденами. Обвинить его в недисциплинированности, по меньшей мере, неразумно. Отличный летчик, обучивший сотни молодых полетам в сложных условиях, на этот раз оказался... Впрочем, пускай врачи устанавливают причину аварии. Ягодников не хотел верить в то, что летать ему больше нельзя, не хотел вовремя подложить колодки под колеса, как говорят в авиации. Я обвиняю его не в том, что он подломал самолет, а в том, что мог погибнуть сам, и это была бы совсем не оправданная жертва. Мы, не зная его состояния в полете, копались бы в обломках истребителя в поисках причин аварии, подозревали бы техников... Он виноват в том, что не проявил достаточной воли и здравого смысла в тот день.— Ботов помолчал минуту, пригладил седеющие волосы.— Мы слишком много говорим о технике, хорошо разбираемся в приборах, в автоматике, изучаем метеорологию, быстро определяем, что и как сломано в результате происшествия; до сантиметра вымеряем место аварии и составляем объемистый акт с десятком подписей и в то же время от человека, допустившего аварию, находимся в километрах

и не хотим приблизиться — вот что страшно! Если бы в людях мы разбирались, как в технике!

В зале одобрительный шум. Не торопясь Ботов пошел к своему месту. Полковник Коротков неожиданно миролюбиво улыбнулся:

— Не хотел бы я, товарищи коммунисты, чтобы наше партийное собрание шло однобоко. Высказывайте свое мнение! Мы не противники критики, но должны напомнить о необходимости критиковать не только других, но и себя тоже. Давайте предоставим слово самому Ягодникову. Нам важно, что он сам-то думает обо всем этом.

Начал говорить Степан тихо, задумчиво:

— Помню, в детстве я спал на сеновале...— Крутов в недоумении поднял бровь, взглядом спрашивая Астахова: «Что за лирическое отступление? Опять начал чудить парень...» — Однажды услыхал шум над головой. Перепуганный, я выскочил из сарая. Солнце только что взошло. Низко летел самолет. Он сделал круг, всколыхнул травы, закачал ветви деревьев, стряхнул с крыш пук соломы и скрылся за лесом. Видел его я впервые, но так видел, что жить спокойно уже не мог. Потом летчик... Много лет. Падал на фронте, подбитый. Тогда врачи говорили: долго не пролетает. Не верил до последнего года. И вот все... Больше не могу...—Степан еще хотел что-то добавить, но махнул рукой, пошел к своему месту, силясь улыбаться. Нет, улыбки не получилось. Жалкое, растерянное лицо...

Степана Ягодникова не наказали. Полковник Коротков снисходительно улыбался.

Когда выходили, начиналась пурга, по поселку метался дикий, стонущий ветер. Пригибаясь чуть не до земли, накрыв воротниками лица, двигались ощупью. С трудом добрались до гостиницы. Половинкин быстро уснул. Летчики не спали. Сильный порыв ветра ударил в прикрытые снегом стены домика, и от этого удара качнулись лампочки. Говорили о многом, вспоминали прошлые годы, и в этот вечер Астахов впервые задал себе вопрос: его жизнь перешагнула на вторую половину, по крайней мере, авиационная жизнь. Где был кульминационный момент — на фронте? Здесь? Или он ошибается, и та вершина, с которой начинается спуск, еще будет у него?

13

Двое суток бушевала пурга. Из домов не выходили. Питались консервами, колбасой, рыбой. Кто-то, не выдер-

жав одиночества, пытался дойти до соседнего домика. Спасательная аварийная команда, связанная цепочкой, обнаружила его, полузасыпанного снегом, в нескольких метрах от собственной квартиры. Блуждал около часа. Могли бы и не найти.

На третий день ветер стих. Север сковало тишиной и морозом. Звезды в небе как рассыпанные волчьи глаза. Они начали гаснуть, когда на небосклоне появились отблески сияния, как размытые, голубоватые облака. Разведчики. Сейчас начнется, жди... И небо разом преобразилось. Сколько бы ни смотрели такие космические картинки—они все разные. Гигантские, переливающиеся яркими красками полосы, как ленты на девичьих венках, ежесекундно меняли цвет и место: то они низко над горизонтом пошевеливают оранжевыми краями, то стремительно срываются и в центре, над головой, образуют ядро, воронку, и тут же вновь рассыпаются голубыми, зелеными, красными переливами, причудливой бахромой, как в калейдоскопе. А то взрывается воронка, как фейерверк, и щедро сыплет звездами, закрывшими полнеба...

Морозно. Плотно сжатый снег, твердый и скользкий, неподвижен. Дорог нет. Шумят моторами вездеходы, грохочут машины, стаскивая с посадочной полосы снег. Техники осматривали кабины, проверяли горючее в баках. Мощная струя сжатого воздуха вырывалась из баллона через резиновый шланг и выметала снег из расщелин лючков, стоек шасси, рулей. В середине дня, перед началом полетов, Астахов с Крутовым на двухместном самолете вылетели на разведку погоды. В кабине тепло, уютно. Стрелки приборов горят голубоватым огоньком. На небе ни облачка. Сияние, оставив белесые следы, погасло. Воздух чист и прозрачен. Земля белая, притихшая. Через несколько минут полета — море, усыпанное отраженными звездами. Быстрее набрать высоту, дальше, дальше от прибрежных льдов, торосов. Ни одного огонька, кроме звезд. Астахов передал на землю: погода хорошая!

Но летать в этот день не пришлось: в керосине обнаружили воду, а в трубопроводах лед.

Ботов приказал осмотреть самым тщательным образом все самолеты и на всех проверить горючее. Тут же заменили керосин на дежурных истребителях.

Когда летчики настроены на полеты, а их отставляют, нет желания уходить с аэродрома. Собрались в дежурном домике. Крутов рассказывал, Ботов и Пакевин, играя в

шахматы, прислушивались. Кого-то разыгрывают, безжалостно, грубовато.

— ...Если приличный улов, мы делим гольцов по комнатам, а вот доктор (кивнув в сторону сидевшего тут же фельдшера из санчасти), феодал, мягко выражаясь, десятка три отправил домой, на Большую землю,— и хоть бы единую рыбину товарищам! Однажды засолил он несколько штук и повесил вялить в котельную. Кто-то ночью снял гольцов, отрезал хвосты и разложил на плите. Вонь была страшнейшая, на весь дом. И до санчасти дошла.

Фельдшер сидел, меняясь в лице. Крутов невинно взглянул на командира:

— Это случилось накануне того дня, когда вы, товарищ полковник, ели свежепросоленного...

— Уж не из той ли партии подарили мне гольца, рыболовы чертовы?— спросил Ботов.

Крутов развел руками, дернул плечом.

— Чего не знаю — того не знаю, товарищ полковник.

Фельдшер встал.

— Теперь я знаю, чья это работа. Имейте в виду, следующий раз из рыбных хвостов я такую микстуру приготовлю, что в уборной караул кричать будете.— «Расскипидарился» доктор, обернулся к командиру:— Понимаете, рыбу уничтожили, перед отъездом в отпуск кирпичи положили в чемодан. Это уж слишком! Армейская интеллигенция, понимаешь!

Командир смеялся, вытирая лоб платком. Дружески кивнул доктору:

— Не ты первый, не ты и последний. Не обижайся. Здесь мы как при коммунизме. Феодалом никак нельзя быть. А теперь прошу в классы. Всему свое время.

Последние слова прозвучали командой и относились они к летчикам.

Пока беснуется пурга, связь с внешним миром только по радио. Когда Север утихомиривается — транспортный самолет не заставляет себя долго ждать. По меньшей мере, тысяча килограммов почты! Ее ждали. После занятий кинулись к алфавитному почтовому ящику, разбирали письма, вскрывали конверты и жадно читали. Потом разговоры о женах, о детях, о новостях. В грубоватых словах — любовь, нежность, тоска. Никто не говорил «моя любимая». Но думали так, особенно в долгие ночные часы. Степан откуда-то выкопал маловразумительные слова: «Пафос дистанции... На расстоянии чувства острее».

— Мой разбойник получил двойку по алгебре. Мать не знает, что с ним делать. Он не боится ее. Пишет, что все в порядке, но я-то знаю! Меня она пилила, дай бог! Особенно когда приду под газочком, а вот сын ее в руки забрал. Хитрый парень! А может, пишет так, чтобы я быстрее выбирался отсюда!

— Мы прожили с ней десять лет. Красивая! Когда-то вокруг нее хлопцы бегали как петухи.

— А теперь, думаешь, не вьются?

— Пишет, что нет.

— Приеду в отпуск, прежде всего схожу в баню с сыном. Я люблю с ним ходить в баню. Потом баночку с прицепом. Дома ужин...

— Что ты сделаешь, когда приедешь, мы знаем. Не болтай!

За нарочитой грубостью не спрячешь истинных чувств. Они в голосе, в глазах. Астахов получил письмо от Федора Михеева. Еще не разорвав конверта, он обратил внимание на штамп и удивился: письмо послано из города, где Таня с Фоминым. Что он там делает? Николай читал, не слыша ни голосов товарищей, ни их смеха...

«...Умер Фомин. Коронаросклероз. Я не очень разбираюсь в медицине. Да и какая разница, в конце концов, от чего он умер! Что такое смерть в бою, мы знаем. Порой и сейчас хороним. Новое требует жертв. Но когда убивает человека болезнь, я готов кричать, возмущаться тем, что мы, люди, проникающие в тайны материи, оказываемся неспособными сохранить жизнь человека, к которому смерть пришла не вовремя.

Я боялся за Таню. Неделю она молчала. Отчаяние сменилось тоской, безразличием. Это хуже смерти. Я напустил на нее своих пацанов. Они напомнили ей, что жизнь продолжается...

Не знаю, поймешь ли ты меня. Вспоминая прошлую нашу жизнь, дружбу, думаю — поймешь. Я влюбился по уши. Ты улыбаешься: Федька — и вдруг заговорил о любви! Я никогда не любил по-настоящему и не верил в ту любовь, о которой пишут в книгах. Даже не представляю, как можно описать любовь. Для этого нужно показать сердце, душу вывернуть наизнанку, а рассказать невозможно. Если бы меня полюбила такая женщина, как Татьяна, я был бы счастлив. Тебе знакомо это чувство, и ты не имеешь права судить меня... Весь отпуск я здесь, с моими ребятишками, с Таней. Ребят я вижу мало. Еже-

дневно Таня забирает детей и уходит. Возвращаются усталые, довольные. Где они бродят, мне не всегда удается узнать, да это и неважно, в конце концов. Важно, что все приходит в норму. Меня с собой не берут, и я не настаиваю, только думаю, что дружба этих трех человечков перестает быть просто дружбой. Я готовлю для них обеды, ужины, иногда подтихую выпью стакан. Таня замечает и снисходительно улыбается. Для меня сейчас любая ее улыбка — радость.

Ты много писал о Севере и мало о себе. Не хлебом единым жив человек и не одними полетами. Все холостякуешь?

Хочу тебя видеть. Будь здоров! Обнимаю и жму лапу. Твой Федор».

Вот и все. Федя прост и краток, каким был всегда. Фомин... Николай ничего не знал о его жизни после войны и от этого испытывал сейчас тяжелое чувство. Почему не знал? Сложна жизнь... Человек — тоже. И думается об этом, когда молодость уходит. Впервые пришел к такому выводу. В войну считали один год за три. Это не только выслуга для пенсии. Война старила людей и на три, и на пять, и на десять лет... Тех, кто воевал. У Фомина война отобрала половину жизни. Смерть настигла его все же.

У Астахова мелькнула мысль: поехать туда, попросить отпуск по случаю и поехать. Отбросил ее тут же: поздно. Ничего не вернешь, ничего не восстановишь. Ему кажется, что его жизнь перешагнула границу, рубеж. Раньше, что бы ни делал, знал: все можно изменить, все. Можно сделать ошибку и исправить ее. На это хватит и сил и времени. Даже если ошибку делает сердце, разум еще способен ее исправить. Может быть, поэтому так легко ошибаются в молодости. Сейчас нет. Граница позади. Житейская мудрость заставляет все взвешивать, думать, не торопиться. Но прошлое рядом, и молодость тоже, и сейчас она в тебе еще. И Таню ты помнишь, ты никогда не забывал ее. Милая, далекая Таня! Он любит Полину, но какая же разница между ними! Иногда он счастлив, но бывают часы, дни, когда он остро чувствует, как что-то неотвратимо отделяет их друг от друга, и тогда счастье кажется вымученным, выстраданным... Он любит Полину и мучительно думает о Тане. Одна. Умер Фомин. Все было естественно, вполне закономерно, все было на своих местах. Теперь его нет, и трудно представить, как сложится жизнь Тани в будущем, когда она сможет обрести

покой, которого у нее, по существу, не было никогда. На что намекает Федор? Он любит Таню? Ему он сказал об этом откровенно, но скажет ли он Тане о своей любви к ней? Скажет, Федор скажет... Николай хотел было писать ответ Федору немедленно, но отказался от такой мысли. Он слишком возбужден и в своем ответе не выразит всего, что волнует его сейчас, а во многом он еще по-настоящему не разобрался. Он даже испытывает в эти минуты злость... На кого? На судьбу? Пожалуй, да, на судьбу, которая так нелепо распорядилась не одной только жизнью Фомина. Полина не знает о его первой любви. Он молчал и не говорил об этом не потому, что хотел скрыть (даже дико думать)... Не было смысла рассказывать. Это дало бы право Полине рассказать о себе в минуты откровенности. Но такие воспоминания не нужны, они пока опасны. Можно все простить, если любишь, но как забыть!.. Уж лучше, пожалуй, не знать вовсе.

Николай торопился к Полине. Ему вдруг стало тоскливо и беспокойно, как будто Полина может уйти, если он не прибежит сию минуту...

Она порывисто обняла его, когда он вошел.

— Ты рада, что я так рано?

— Еще бы! Я знала, что ты придешь раньше. В воздухе не гудят самолеты. Я боюсь за тебя, когда полеты, и спокойна, когда их нет.

— Я всегда с тобой!

— Не всегда... Господи, когда ты станешь стар采еньким! Будем жить где-нибудь в домике около речки, и я не буду бояться, что ты уйдешь, улетишь. Старей быстрее, ну пожалуйста!

Полина шутила, но Николай видел, знал, что шуткой она прикрывает давно вынашиваемую тревогу.

— Заведем кур, поросят, поставим забор...

— Нет, не так. У нас будет машина, и мы будем ездить много и всюду... Будут и куры, и поросенок, один всего. Я умею вести хозяйство, вот увидишь. В детстве я все видела и даже пасла коров, гусей. Я была очень любопытной.

— До покоя нам еще далеко. Вся жизнь на колесах. Покатаемся этак лет двадцать, потом подумаем о поросенке.

— Да, да, на колесах...— задумчиво проговорила Полина, глядя в окно.— Вот этого я и боюсь...

И опять то, чего Николай не понимал: ее настроение

менялось мгновенно. Полина обернулась к нему. Лицо мрачное, глаза блестят, и она казалась беспомощной, маленькой и одинокой. Неужели пока его нет, она так вот и мучается сомнениями? Тогда как же ей тяжело одной, с такими мыслями, с таким настроением! Он не оправдывал их, но они есть, и с этим не считаться он не мог. Может быть, все женщины таковы, когда любят?

— Я боюсь колес, которые повезут к войне...

— Войны не будет.

— Ты уверен в этом?

— Не будет...

— Хорошо бы... Я помню войну. И еще я помню людей в войну.

Полина рассказывала, волнуясь, рассказывала торопливо, будто хотела быстрее сбросить груз...

— Вчера тебя не было, и я вспомнила войну, одну женщину с ребенком... Тогда как-то все быстро забывалось, а сейчас думаю, думаю! Недалеко от Красноярска с девчонками мы помогали ремонтировать железную дорогу, а жили в поселке на частной квартире, по нескольку человек в комнатушке. Был один дом в поселке, на краю, большой и просторный. В нем старая сварливая баба, до ужаса скупая, настоящая зверюга. К ней привыкли. Все работают, живут кое-как, много беженцев, голодных, обтрепанных, и всех расселили, и только она никого к себе не пускала. Как-то зимой в лютый мороз ночью прошумела машина по дороге через поселок. Шофер подвез женщину с ребенком до поселка и поехал дальше. Одета женщина была в осеннее пальто, девочка укутана большим платком. Долго стучала она в дом той скряги. Поднялся ветер. Старуха слышала умоляющий голос женщины и плач ребенка, но двери не открыла. До других домов дойти не могла. Утром их нашли мертвыми на крыльце. Я видела белое, худенькое лицо девочки и не могу забыть его... Потом я узнала, каким может быть человек в ненависти. Весь поселок поднялся против старухи; ее могли убить, если бы несколько человек не оттащили старуху от толпы. И я била, девчонки тоже, камнями...

Полина зябко передернула плечами, словно от холода. На глазах ее слезы.

— Почему вы здесь? Почему опять говорят о войне? Ни одной газеты без войны, и радио тоже. Кому она нужна?

В ее глазах злые, упрямые огоньки. Николай взял ее руки в свои.

— Успокойся. Мы здесь как раз для этого.

— Для чего?

— Чтобы не повторилось. Сегодня я тоже много думал о войне. Получил письмо от друга. Почитай.

Он наблюдал за ее лицом. Ничего особенного. Она умела владеть собой.

Полина прочитала письмо, но еще долго смотрела на листок бумаги.

— Ты знал Таню?

Вопрос спокойный, но где-то горел шнур...

— Когда-то я любил ее.

Полина слегка улыбнулась, еле заметно, одним уголком плотно сжатых губ. Они долго молчали.

— Ты очень любил ее?

— Любил.

— Она лучше меня?

Вопрос смутил Николая. Полина не смотрела на него, но настороженно ждала.

— Понимаешь, вы разные... Жизнь ее была другая. Пойми меня верно, мы росли вместе, учились, потом война. Мы много лет не виделись. Она вышла замуж за хорошего человека. Его уже нет.

— Ты не ответил на мой вопрос,— перебила его Полина. — Она лучше меня?

— Сложный вопрос,— решительно ответил Николай.— Вы по-разному жили и по-разному смотрели на вещи. Сейчас ты для меня лучше и... хуже, а вернее, не «лучше» и не «хуже». Ты та, которая мне нужна. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше для нас.

Опять молчание. Полина смотрела на письмо, повертела его в руках, вздохнула.

— Как трудно все и непонятно,— проговорила она тихо. — Мне хотелось бы видеть ее, Таню.

— Мы увидим ее, и Федора тоже. Скоро отпуск. Мои друзья тебе понравятся.

— Теперь Таня одна. Трудно ей... Ты должен навестить ее.

— Навестим вместе.

— Вот если бы раньше ты!..

— Полина, перестань! Ты не девочка, не ребенок. Пора уже...

— Что пора?

— Кончать психологические этюды.
— Ты злишься?
— Потому что люблю тебя!
Полина прижалась к нему, поцеловала.
— Ну вот так-то лучше. Приготовь закусить. Помянем моего друга и учителя...

14

Многих людей помнит Астахов. Были грустные и веселые, стремительные и тихие, были и с «тугим фитилем». Знал он добрых, сентиментальных, впечатлительных и робких, знал и злых, вспыльчивых, не владеющих собой, и все они составляли одно целое, без которого немыслима жизнь, — людей. Свои люди, в общем-то хорошие люди. Не о врагах он думает. В своей жизни врагами для него были только немцы, фашисты. После войны хочется верить людям, всем, потому что верить хорошо и естественно. Почему же до сих пор, после таких трудных лет, встречаешь приспособленцев, встречаешь подлость? Он понимает, вопрос наивен, но что поделаешь, если он возникает невольно!

«Кем ты был до войны, что делал? Как удалось тебе так искусно прятать от людей то пошленькое, что было у тебя всегда, всю жизнь? Да и знаешь ли ты, что такое война? Не прятался ли за широкие спины живых и мертвых, отстоявших Родину?»

На эти вопросы ответа нет, сколько ни перечитывай кляузное письмо. Неторопливый, ровный почерк. Слишком ровный... Писал спокойно, вдумчиво, и запятые на местах. Может быть, ошибка, шутка? Злая шутка? Нет, конечно, такими делами не шутят. Когда он понял, что молчание затянулось и что нужно что-то отвечать, он попробовал успокоиться, но не мог скрыть легкой дрожи в голосе.

— Я признателен вам за то, что дали почитать этот труд. Спрашивайте, буду отвечать, если смогу.

Полковник Коротков наблюдал за Астаховым, давая ему время привести мысли в порядок, потом сказал:

— Здесь написано, что Ягодников систематически пьянствовал и что, по существу, на этой почве чуть не врезался в землю, и вы, его близкие друзья, знали об этом. Да и не только знали...

— Были случаи, выпивали, но не накануне полетов.

— А вы лично как относитесь к этому...— Полковник пальцем выразительно щелкнул по горлу.

Астахов подумал, что полковник все еще не знает, какого тона держаться ему в этом разговоре: рубить так, чтобы щепки летели, или сначала прощупать почву?

— Особой потребности не испытываю, но, бывает, выпиваем фронтовые нормы по случаю.

Полковник нерешительно улыбнулся:

— А как вам нравится вторая часть «труда», как вы ее определили?

Астахов ожидал такой вопрос. В сущности, он и волновал его. Полина... Как объяснить, как сделать, чтобы не трепали ее имя!

Полковник прочитал вслух несколько строк:

— «Связь с этой распутной женщиной ставит офицера Астахова в один ряд с морально неустойчивыми...»

Чего добивается инженер Половинкин? Или это выработанная годами потребность сеять зло, кого-то ненавидеть?

— То, что здесь написано, я воспринимаю как личное оскорбление. Эта распутная женщина — моя жена.

— Почему вы не узаконите ваши отношения?

— Мы в этом не виноваты. По крайней мере, теперь я это знаю наверняка. Вы верите письму?

Вопрос неожиданный и довольно смелый. Полковник оставался невозмутим.

— Я не сказал, что верю, но выяснить, поговорить должен. Все же есть какие-то факты. Вы сами подтверждаете. Пусть даже в письме десять процентов правды, и этого достаточно, чтобы говорить.

Астахов упрямо отвечал:

— Могут подтвердиться или не подтвердиться факты, но клевета, как вам известно, подтвердиться не может.

Коротков встал из-за стола, прошелся по кабинету. Астахов тоже встал.

— Вы говорите — злопыхательство, клевета... Может быть, и так. Но Половинкин — коммунист, офицер, имеющий хорошие аттестации. Я передам письмо партийному бюро. Вы свободны, до свидания.

Астахов вышел.

Что же все-таки толкнуло Половинкина на это письмо? Астахов начал припоминать мелкие события, которым раньше не придавал значения: уход Половинкина из их

комнаты, его грубости по адресу летчиков, особенно после случая с Ягодниковым. Или историю с гусем он воспринял как оскорбление? Не может же быть, чтобы шутки, пусть даже грубоватые, послужили поводом к клевете. Не любили Половинкина люди, и об этом знали все, знал и сам Половинкин, но внешне отношения не менялись. Устав есть устав. В разговоре с полковником Астахов не распространялся о житейских деталях. Они звучали бы оправданием. Он начал думать с обидой о Полине. Зачем она усложняет отношения? Ему нужно быть более настойчивым. Он пойдет к ней, убедит, что незачем ждать отпуска. Никакие половинкины не откроют больше рта с целью унизить, оскорбить в этом отрезанном от мира поселке...

Вошел в комнату без стука и, пораженный, остановился у порога: обстановка в комнате другая. Незнакомая женщина стояла у плиты. В детской кроватке спал ребенок.

— Простите... Где Полина?

— Вы Астахов?

— Да!

— Она улетела. Просила передать вам.

Женщина протянула конверт. Астахов сунул его в карман и вышел, забыв поблагодарить. В первую минуту он хотел разорвать конверт, не читая, выбросить в снег, затоптать... Или уехала временно по какому-нибудь случаю? Он хотел, чтобы так было (врачи нередко забирали с собой медсестер в местные колхозы), но читать боялся. Женщина сказала, что не уехала, а улетела, а улететь можно только на Большую землю. «Что ты мне еще приготовила? Чего же ты хочешь, в конце концов?» — подумал со злостью Астахов, вскрывая конверт.

«...Оставаться здесь не хочу ни одного дня, ни одного часа. Видеть тебя перед отлетом не могла: ты убедил бы меня ждать. Улетаю, потому что люблю тебя, очень. Пока мы оба здесь, покоя не будет. Ты и сам понимаешь, что я права, только молчишь. Даже если не захочешь меня больше видеть, я найду в себе силы начать новую жизнь, тем более что я не одна. Понимаешь? Его еще нет, но уже не одна. Поэтому мне и хорошо сейчас. Я знаю твой город, где Таня. С места напишу.

Прости. Полина».

Техники, инженеры привыкли трудиться без жалоб на тяжелые арктические условия. Самолет должен быть готов к вылету всегда, даже если для этого нужно работать при штормовом ветре или при холоде, когда дышать трудно. Летчик и техник — центральные фигуры в боевой авиации — были особенно дружны здесь, в условиях дикого Севера, как на фронте.

Старший инженер Половинкин — досадное исключение. Подчиненные ему офицеры не выносили его грубости, постоянных придирок, мрачного вида, «будто выпил и не закусил». К тому же в гарнизоне стало известно о его письме в политический отдел, в котором он обвинял не только летчиков, но и офицеров штаба и партийную организацию в «разложении».

Половинкин был уверен, что как автор письма он останется для всех, кроме Короткова, лицом неизвестным, и, когда Коротков на этот раз нарушил свой принцип и, по существу, огласил письмо, струсил. Он осуждал полковника, ругая его про себя, конечно. А ведь разговаривали, так сказать, строго конфиденциально, в порядке партийной информации... «Кажется, переборщил! — с досадой подумал Половинкин.— Дернул меня черт за язык! А тут еще эта баба, Полина... Удрала, не простившись с любовником. Значит, Астахов не знает, что я был у нее за день до отлета. Вот ведь как получилось нехорошо...»

Половинкин не представлял, что Полина так отнесется к его словам! Он сказал, что Астахова могут исключить из партии, если тот не порвет с ней или, по крайней мере, не узаконит отношений... Половинкин злился на себя, на людей, на Север с полярной теменью, главным образом на людей. С тяжелым настроением дошел он до командного пункта, а когда услыхал сигнал боевой тревоги, побежал обратно на стоянку самолетов. Дежурный истребитель выруливал на взлетную.

«Тренирует своих мальчиков. Не сидится старому черту»,— с раздражением думал инженер о Ботове. Не мог он понять, почему Ботов, имея право уйти на отдых с приличной пенсией, продолжает не только командовать, но и летать. Влюбленность в авиацию? Чепуха! Ожидание генеральских погон и тепленького места в штабе. «Только ничего у тебя не выйдет, командир. Спачала найди место в штабе, а потом уж думай о погонах...» Вот так

накалял себя инженер и все же вынужден был прийти к единственно верному решению: пора самому убираться отсюда. Это не внезапное решение. Север начинает его давить. Он и убрался бы еще до замены (причину найти не так уж трудно), но деньги... Север имеет преимущество, огромное, всепокоряющее. Каждый месяц сберегательная книжка заметно пухнет. Книжка — будущее. Книжка—дача и жизнь без забот и волнений, связанных с добычей денег. Книжка — ежегодно море и женщины, черт возьми, и не только такие, как лахудра Астахова... Впрочем, она дьявольски привлекательна. А грудочки... прелесть! Любовь? Чепуха, не о любви он думает, мечтает. У него уже дети взрослые, да и своя мадам ему такую любовь покажет, что взвоешь. Подальше от нее хоть раз в год. Такую возможность дадут деньги.

Истребитель вернулся, лихо промчался над аэродромом (круг почета) и приземлился. Половинкин видел, как из кабины вылез совсем молодой летчик, как он улыбнулся технику и вразвалку зашагал к дежурному домику. Чему улыбается юнец? Этого тоже Половинкин не понимает... Полет в стратосфере над безжизненной тундрой, над морем, над ледяным адом. Вспотевшее лицо и красные от перегрузок глаза... Немного удовольствия, а вот он рад, сопляк.

Половинкин остановил летчика окриком:

— Как матчасть?

— Порядок, товарищ инженер!

— Цель перехватил?

— А как же! На дальних. Разрешите идти?

— Идите.

Летчик побежал дальше. Половинкин оставался на стоянке до конца рабочего дня. На КП ему больше не хотелось.

Было тихо. Влажный воздух тяжелым туманом осел на землю. Только что был мороз, горело холодное небо, и вдруг... туман. К таким чудачествам Севера привыкли. Знали: за этим вскоре последуют или опять трескучие морозы, или пурга.

На имя Астахова неожиданно пришла бандеролька. В маленькой коробочке из-под духов — золотые часы с надписью на крышке: «За мужество и храбрость Фомину Д. З. от командующего фронтом».

Вместе с часами обычный листок из ученической тетради и несколько строк: «Друг! Они будут напоминать обо мне. Часы будут жить! Последний раз жму твою руку. Прощай!»

Кто выполнил последнюю волю Фомина? Таня? Федор? В конце концов, какая разница! Важно другое, и от этого другого — больно... Войны нет, а друзья уходят, как уходили на войне. Только тогда слез не было...

Астахов шел по поселку. Туман несколько рассеялся, но погода пока без ветра и стужи. На небе светлые спокойные полосы потухшего сияния. Дома поселка как бы потонули в снегу; освещенные окна бросали свет на искристый снег, оживляя улицу. Встречались люди, в одиночку и группами, спешили в клуб. Там музыка, танцы. Астахов миновал клуб. Он как бы перелистывает страницы своей жизни, вспоминая все, что связывало его с Фоминым: аэроклуб, первые шаги в авиации, дорога в небо, Таня... Таня ничего не изменила в их отношениях друг к другу — скорее, наоборот, подчеркивала, сама того не зная, силу их взаимного уважения. В записке к нему Фомин ни словом не обмолвился о ней. Почему? Трудно ей. Даже Полина говорила об этом. Тогда он решил, что слова ее идут не от сердца. Он ошибался. Очевидно, женское сердце более чутко к несчастью других. Таня для Полины была не соперницей, а женщиной, потерявшей любимого человека, одинокой и несчастной. А Полина? Почему она уехала так внезапно? Почему не сказала раньше о своей беременности? Почему? Сколько же этих проклятых «почему»! Между ними не только любовь и не просто любовь, а маленький человечек...

Утром следующего дня Астахов был в дежурном домике. Скрытое за краем земли солнце еще не показывалось, но небо по-дневному светлое. Рваные облака несутся с большой скоростью. Ветер порывистый, неровный. Воздух влажный, но прозрачный.

Телефонный звонок.

Астахов снял трубку. Звонил Пакевин:

— Вот что, Николай Павлович, звонили из колхоза. Просили послать к ним фронтовика. Очень просили. Никогда не видели боевого летчика. Говорят, самолеты иногда видим, а летчика нет. Выбор пал на тебя.

— Когда?

— Утром упряжка оленей будет ждать у клуба. До-

везут до колхоза. Поговори с народом. Вспомни войну, расскажи об авиации.

Астахов не сразу ответил. Заманчивое предложение: увидеть близко коренных жителей Севера, поговорить с ними. Сильный народ. Полярной ночью носятся по тундре на собаках, на оленях; сутки, двое, а то и трое среди снегов, под северным сиянием, в сопках, у берегов моря; и когда Север бушует с неистовством неукрощенного зверя, он их не пугает. Много слыхал Астахов о рыбаках и оленеводах Крайнего Севера, а вот близко встречаться не доводилось.

— Добро! Поеду.

— Прихвати ружье, бортпаек. Ботов приказал. Север есть Север.

— А ружье зачем? Песец не кусается, олень тоже.

— Обычай такой. В тундре без ружья как в море без лодки.

Вот так и случилось увидеть Астахову еще один Север, жестокий, неумолимый, страшный для того, кто не научился еще противопоставить себя стихии.

Тридцать километров. Они промелькнули быстро, почти незаметно. Нарты, поскрипывая, легко скользили по утрамбованному снегу, подпрыгивая на торосистых местах.

Астахов даже в воображении не мог представить белую до слепоты тундру какой-нибудь другой... Снег, снег, снег... Как в молоке. Глазам больно. Тусклый свет тусклого короткого дня настораживал, и жуткая белизна... Нет, она уже не пугает. Снег искрится, переливаясь нежными морозными красками, и тишина убаюкивает, ласкает.

Укутанный в оленьи меха хозяин упряжки, совсем молодой парень, почти всю дорогу молчит, только часто причмокивает губами. Его молчание не было обидным. На Севере немногословны. Он с восторженным любопытством поглядывал на Астахова, и столько было доброты в коротких, пристальных взглядах! Сколько ему? Двадцать? Или больше? Понять трудно. Губы тонкие, упрямые, «пожилые», и щеки смуглы, обветренны, а черные волосы как ночь, чистый лоб, глаза совсем молодые. Он иногда откидывает капюшон, подставляя ветру лицо и голову. Нет, это не лихость, скорее привычка, труднодоступная пониманию: мороз за тридцать. Хорошо, что нарты потряхивает на жестких складках слежавшегося снега, иначе кло-

нило бы ко сну. Молчит хозяин нарты. На Севере больше говорят глазами.

Тундровый поселок. Добротные домики по северному варианту. Один домик на четыре квартиры. В квартире комната и кухня. В коридоре своя котельная, топится углем. Тепло. Слышен стук движка, дающего свет. Лампочки в коридоре, где стоит огромная бочка с водой (воду завозят из пресных озер впрок), в кладовой, в котельной. Все это Астахов увидел в квартире бригадира, пожилого добродушного человека. Его сын доставил в поселок Астахова.

С дороги выпили «по-рыбацки», закусили копченым омулем. Бригадир рассказывал о жизни людей северного колхоза: «Пока дорог нет, и связь с Россией не всегда надежна, но что поделаешь! Скоро и к нам придет большая жизнь, как пришла в Воркуту, и потекут потоком наши богатства. Пока мало вот таких селений, а пространство Арктики огромно». И здесь, в поселке, в бескрайней тундре, как-то ощутимее узнал Астахов величие сурового края. С высоты не видишь жизни, а жизнь вот, рядом, жизнь людей, покоряющих природу. Романтически настроенному Астахову захотелось в тундру, в море, увидеть, как добывается рыба, зверь, как дикий олень становится помощником и спутником человека...

На третий день обратно ехали тем же путем, с тем же Васей, сыном бригадира, и, кажется, на тех же нартах. Летом он опять приедет сюда как свой человек. Его приглашали. Ему подарили лыжи, охотничьи, тундровые. Он решил сойти с нарт, не доезжая двух-трех километров до поселка, и пройтись на лыжах, а Вася — обратно. Хочется почувствовать себя северянином. Теперь он убедился, как можно любить дикий Север. Любовь к Северу он видел на лицах людей. Где бы ни был житель Севера — в лесах Брянщины или на полях Украины, на Волге или на Черном море,— он вернется в тундру, где его дом, где могилы дедов...

Астахову хотелось побыть одному в тундре, с глазу на глаз, «поговорить» с ней, как говорят с ней такие, как Вася...

Когда выехали, было темно, а сейчас воздух посерел. Стали видны горизонт и сопки. Он будет коротким, рассвет, но его хватит, чтобы дойти до городка на подаренных ему лыжах.

— Вася! Дуй обратно. Один дойду. Тут рукой подать.

Вася долго смотрел в сторону моря.

— Воздух мне не нравится. С моря тянет.

— Я мигом. Хочу размяться. — И, чтобы задобрить Васю, добавил: — Сильный вы народ. И я хочу быть таким.

Вася остановил нарты, смущенно улыбнулся:

— Тундра любит сильных. Слабый здесь не проживет. Тундра не любит слабых. Приезжай к нам, когда солнце выйдет. Тогда праздник будет. Мы рады тебе.

Люди Севера кажутся удивительно одинаковыми: любознательные, добрые и чуточку наивные. И Вася такой.

— И ты рад?

— И я тоже. Все — и я.

— Ну прощай, Вася! Обязательно приеду.

Вася задержал руку Астахова в своей, посмотрел на восток, на запад.

— Два часа идти. Не торопись, береги силы. Если ветер будет, не меняй направления. Дом твой там, скоро покажется. Бывай здоров.

Вася помог ему приладить лыжи. Астахов вскинул ружье на плечо, ранец на спину, надел перчатки...

Нарты скрылись. Астахов заскользил на лыжах. Местами попадались снежные выступы, как зубцы, тогда идти было труднее. Много зубцов, острых и твердых, как железо. Астахов свернул в сторону, чтобы обойти их. Если идти все время влево — выйдешь к морю. Нельзя менять направление, Васи с упряжкой нет, одному опасно. Небо было неяркое, прикрытое морозной дымкой, но без облаков. Скользящие полозья лыж нарушали мертвую тишину. Ничего живого. Или все живое скрыто от его глаз. Нет, вон там, в стороне, острая мордочка с черными глазами мелькнула и скрылась за снежным выступом.

Двигался Астахов медленно. Легко заблудиться в тундре, легче, чем в тайге. След плохо виден, и ветра нет. Солнца тоже. Попробуй определи направление, когда ни одного ориентира. Легко дышалось чистым воздухом и думалось легко. Какой простор! Астахов шел, всматриваясь в горизонт: там должны показаться дома. Пока их нет. Он продолжал идти, невольно убыстряя шаг, и вдруг заметил постройки. Они выплыли неожиданно вдали, ясно очерченные, только почему-то правее того направления, в котором ожидал их увидеть. Может быть, потому что сворачивал влево, а сейчас не определил точного направления? Значит, почти дома. До полной темноты еще

не менее часа, и Астахову стало жаль расставаться с тундрой. Он остановился, взял рукавицы, освободился от лыж и присел на снежный бугорок, закурил. Сидел, пока не стали отчетливо видны массы кристалликов в потемневшем воздухе. Со стороны моря плыли низкие облака. Потеплело. Астахов взглянул туда, где были видны дома, и удивился: домов нет. Он осмотрелся. Где дома? Ничего. Только белая тундра. Чувство одиночества в ледяной пустыне пришло неожиданно и было тревожным. Астахов вновь стал на лыжи и теперь уже пошел правее, туда, где только что были видны дома поселка.

Порыв ветра сначала ударил в спину, и Астахов ускорил шаг, но порывистый снежный вихрь бросился в лицо. Николай наклонился вперед в надежде увидеть очертания зданий, но ничего не видел. Крутящаяся снежная стена встала перед ним. Ветер стонал, трепал полы кожаной шубы, больно бил в лицо. Идти против ветра становилось труднее, но держаться нужно так: ветер, как ему казалось, дул со стороны поселка. Здравый смысл подсказывал ему, что нужно переждать, забраться куда-нибудь в снежное укрытие, способное защитить от холодного ветра. Но где найдешь такое укрытие, и есть ли оно в снежной круговерти! Каждый шаг давался с трудом, а ведь это только начало пути. Ему говорили, что с таким ветром невозможно бороться даже автомобилю. Астахов начинал верить этому. Пурга может разыграться на несколько часов или даже суток... «Вася, Вася! Попадет же ему от отца...» Надо беречь силы. До поселка недалеко, в крайнем случае будут искать, но трудно найти человека при такой свистопляске.

Астахов шел, пока было возможно, против ветра. Ему казалось, что он идет прямо, но порывы ветра хлестали в бок, в спину, в лицо — он понял, что запутался окончательно и продолжать двигаться наугад бессмысленно. Тупым концом лыжины попробовал выкопать углубление, но яму тут же засыпало снегом. За минуту он и сам превратился в снежный ком, и если постоять так еще немного — ком сровняется с поверхностью тундры. Сначала холод начал пощипывать ноги, затем спину, и он почувствовал дрожь. Надо идти, двигаться. Чтобы поправить крепление лыж, он снял меховую перчатку — порыв ветра вырвал ее из рук. Может быть, перчатка рядом, но ее уже не найдешь. Астахов стал по ветру, еле удерживаясь на ногах, и сделал несколько шагов в плотную завесу

снега. Поднял ружье. Звук выстрела почти не слышен в реве пурги, как щелчок. Перекинув ружье на спину, стал против ветра. Нет, на лыжах не сделать ни одного шага, а без них он оказался в снегу по пояс. Выбравшись на твердый наст, присел, подобрал под себя ноги, закутался в шубу, насколько позволяли ее размеры. Дышал тяжело, будто не хватало кислорода. Его и на самом деле на Севере не хватает. Кажется, ветер стихает. Да, стихает. Только что стыли ноги, а сейчас тепло. А может быть?.. Он начал шевелить пальцами ног. Надо идти. Попробовал встать. Это ему удалось, но против ветра он даже стоять не мог. Глаза залепило. Брови, ресницы тяжелые, снежные. Порывом ветра его бросило на снег, и он ударился головой обо что-то твердое, наверное о снежную глыбу. Лыжей Астахов начал рыть углубление, чтобы как-нибудь укрыться от ветра. Он забрался глубже, приоткрыл воротник. Пурга стала тише, хотя кругом свист и вой. Мрак. Тоскливо, одиноко, жутко. Чтобы как-то унять растущий страх, поднял руку к уху: «тик.. тик...»—и успокоился. Часы стучали, как сердце. Золотые часы Фомина. Живут! И он живет. Пока живет. Ждать...

В кабинете Ботова Пакевин докладывал:

— По радио только что разговаривал с бригадиром. Астахов восьмой час в тундре один.

— Почему один?

— Сошел с нарт, не доезжая поселка. Одному захотелось...

— Мальчишка! Кто вез его?

— Сын бригадира. Тоже... мальчишка.

— Ладно, не остри. Дальше?

Ботов подошел к окну. Мгла. От ударов ветра вздрагивал домик.

— Из колхоза выехали на поиски.

Ботов повернулся к Пакевину:

— С собаками?

— Не знаю.

— Подготовьте вездеход, десять человек с лыжами. И чтобы мигом! Кто возглавит?

— Позвольте мне!

Ботов видел умные, устремленные на него глаза. «Найдет! Молодой, энергичный...»

— Разрешаю! Если в окрестностях не найдете, пробе-

рись в колхоз, а там — с собаками. В общем, по обстановке. Действуй! Понял?

— Так точно!

Пятьдесят движений левой ногой, столько же правой. Потом начал разгребать снег руками, иначе засыплет, не выберешься. Движения быстро утомляют. Начинает болеть голова. Ноющая боль во лбу, в висках. Через минуту, когда лежишь неподвижно, боль утихает, хочется спать. Тогда Астахов вылезает из-под снега, подставляет тело ветру. Пока длится пурга, его не найдут. Спать. Прикрытый снегом, он спал четыре часа. Так делают северяне, когда в тундре их настигает буря: ложатся олени, и они между ними. Олени и снег — тепло. Сутки, двое... Они терпеливы, северяне, привычны, и, конечно, нет тревожных, панических мыслей. Астахов без оленей, но он тепло одет. Пока сон не страшен. Температура пятнадцать — двадцать, не больше. А если будет сорок? Так бывает, когда стихает ветер и прекращается снег. Тогда надо ходить, двигаться и не спать, только не спать. Ждать. Уже много часов пурга.

Боль в голове утихла, но появилась тошнота. Обильная слюна скапливалась во рту, в горле, мешала ровно дышать. И колющая боль в животе. Что это? Отсутствие тренировки или болезнь?

Почти сутки... Мороз становился сильнее. Астахов ходил медленно, стараясь дышать ровнее и неглубоко, чтобы не застудить легкие. Вспомнились рассказы Джека Лондона. Что-то сближало сейчас Николая с героями любимого писателя. Лондон знал Север, знал и людей Севера. В его рассказах мужественные люди борются с суровой природой за жизнь. Астахов сравнивал свое положение и Север Джека Лондона с тем Севером, который знал и видел сам. Мало общего, но сейчас и он, Астахов, должен бороться за себя, и ему, пожалуй, труднее. Герои писателя разводили костры, натыкались на хижины или охотников, но они не были здесь, в этой части Арктики, где нет растительности, где ветер достигает скорости пятьдесят метров в секунду...

Что делать? Выстрелить ракету? Но это ничего не даст, никто ее не увидит и не услышит. Он выстрелил из ружья. Сухой щелчок мгновенно растаял. Далеко ли унесет его воздушная волна?

Ходить стало совсем трудно, хотя ветер несколько утих. Мороз опять добрался до пальцев ног. Астахов беспрерывно шевелил ими, забрался в снежную яму. Часы... Никогда раньше ему не приходилось вот так слушать часы, и не думал он, что часы в одиночестве могут заменить живого друга, только бы ходили, не останавливались. Часто, почти механическим движением, прислонял часы к уху. Живут! Как хорошо сказал Фомин: часы будут жить! А ведь верно, четр возьми! Они будут жить, даже если он превратится в ледяной комок. Его найдут в конце концов, а с ним и часы: их заведут, и они снова будут отстукивать свое «тик... тик...». Только бы не забыть завести самому в последнюю минуту... Астахов испугался собственных мыслей. Они были непоследовательны, хаотичны. Страшно такое одиночество.

Боль в голове меньше, исчезла тошнота. Пурга стихала. Еще несколько часов... Он вышел из пещеры, отошел было немного от своей снежной постели, но ему вдруг показалось, что он больше не найдет ее. Скорее обратно... Нет. Несколько шагов в сторону... Нет. Тревога переросла во что-то давно забытое, когда была рядом смерть...

Он убедил себя, что нужно успокоиться. Низко пригнувшись, пошел по следу. Вот яма. Стоя на краю ее, Николай почувствовал опять приступ боли. В глазах потемнело... Это не яма, а темная пропасть, в которую он вот-вот свалится... Нельзя так! Николай осторожно прилег. Все в порядке, это не пропасть, а его дом, постель, убежище, его жизнь или... могила. Несколько минут без движения. Кажется, шум мотора. Астахов судорожно схватился за ракету, нащупал шнурок... Тишина. Иллюзия. На Севере такое бывает. Разве когда-нибудь что-нибудь его волновало? Таня... Полина. Его нескладная, так называемая личная жизнь. Вот в эти минуты о Полине он думает последовательно, более осмысленно. Она хотела, чтобы он всегда был с ней, и к чертям все, что делается вокруг. Устала? Хочется покоя? Нет, раз улетела, значит, не устала жить, бороться. Это хорошо! Сейчас нет обиды на нее, а есть что-то совсем необычное, возбуждающее, радостное... Ребенок. Если бы она знала, милая, родная, как не просто ему сейчас, как жутко!.. Вспомнил и других людей, и ему было хорошо испытывать какую-то умиротворенность и благодарность ко всем решительно. Ботов и товарищи! Они существуют и конечно же ищут его. Он чувствовал, что не может оставаться на одном месте с

пугающими мыслями и что от одиночества и бездействия можно сойти с ума. Пока есть продукты и пока не такой сильный мороз, есть надежда и уверенность. Уверенности уже нет, но надежда... А если опять усилится пурга? Надо уйти от этих мыслей. Они мешают, они всегда мешали... Болит голова. При падении ударился о снежный выступ. В Арктике ветры прессуют снег, и он не уступает в прочности льду. Лицо горит, но не от мороза. Внутри жарко. Глотать больно. Когда он прислушивается к часам, дрожат пальцы. Есть не хотелось, но он заставил себя проглотить печенье. Желудок не принял, опять тошнота, слабость и желание спать. Даже если пурга стихнет, он не сможет идти. Он и не знает, куда идти. В полудремоте он услышал ритмичный шум мотора, но звук еще не вызвал в нем никакой реакции. Ему нужна тишина. Звериный вой пурги надоел. Больно дышать... Какую он последний раз читал книгу? О Паганини. Великий скрипач. Тяжелая жизнь, как у всех гениев. Люди не любили тех, кто умнее, сильнее, одареннее. Закономерно. Идиотская закономерность, но ведь это было давно. А сейчас иначе? Бывает и сейчас так. С этим надо жестоко бороться, и это вовсе не закономерность... Опять звук работающего мотора. Громче, громче... Сознание вернулось. Он схватил ракету, у него их три, а ведь не хотел брать с собой, но Ботов приказал. Со стоном выбрался из ямы, рывком дернул за шнур патрона. Все окрасилось фантастическим светом. Воздух — как северное сияние. Красиво! Ракета повисла в воздухе, горя красным огнем. Горел снег, воздух, небо. Когда ракета погасла, в глазах все еще огонь. Кружится голова, боль в горле. Еще ракету. Опять свет, но уже зеленый. Астахов закричал, но тут же схватился руками за горло. Будто что-то прорвалось там, внутри. Холодные руки, холодная слюна и острая боль. Где-то мотор... Где, где? В какую сторону идти? Откуда белый свет, ровный, прожекторный? Длинный луч разрезал мрак и впился в глаза. Астахов прикрыл лицо руками и пошел в луче, в белом луче. Лязг гусениц прекратился, только ровный, урчащий стук мотора. Еще два шага в белом луче... Это луч, это не мираж. Он упал и больше не поднимался... Горячий воздух с запахом рыбы и еще чем-то домашним, уютным пахнул в лицо. Пофыркивание и ворчание, но это не пурга. Кто-то тянет за воротник, повизгивая. Астахов встал на колени и в страхе махнул рукой. Собака зарычала, но не ушла.

— Вставай, друг! Вставай, пожалуйста.

Знакомый голос, совсем знакомый...

— Вася...

— Вставай. Ваш трактор рядом. Порядок...

Сильные руки подняли его и втащили в вездеход. Еще голоса... Кажется, Пакевин. До колючей боли растерли пальцы ног и рук, поили чем-то горячим. Боль прошла, спать...

16

Сегодня лучше. Сердце стучит часто, но не от болезни. Жить хочется. Радость таилась где-то, а теперь нахлынула с удвоенной силой, вызывая беспричинную и, надо полагать, глуповатую улыбку. Он не пел раньше, разве что в компании. Попробовать, что ли? Наверное, получится здорово, если в песне выразить рвущуюся радость. Астахов пытался запеть, импровизируя, как у казахов: что вижу, то пою. Смешно получилось. Услышат за дверью, подумают — свихнулся. Что сейчас делается за окном? Оно закрыто шторой изнутри и снегом снаружи. Черт с ним, с бесполезным окном, но почему свет затемненный? Красноватый, как в дежурной комнате на аэродроме. Николай дотянулся до выключателя. Свет брызнул в глаза, и комната мигом преобразилась. Больно. Надо побыть под одеялом. Закрывать глаза не хотелось, они и так были закрыты слишком долго. Еще вчера его не волновало почти ничего, даже собственная болезнь, которая отнимала силы, а вместе с этим и желание бороться с ней. Он как бы находился вне жизни, вне сознания. Почему вдруг сейчас такое жадное любопытство ко всему, что видит, что чувствует, и все содержит в себе глубокий смысл, и ничего второстепенного? Друзья... Крупное лицо Ботова, Пакевин, Вася и бригадир из колхоза. Они были в поселке и тоже искали его, слабака... Им пурга не страшна. Недавно лица мелькали, не оставляя следа в памяти, а сейчас всплыли. Залитая светом комната, веселые обои, коврик на полу. Но почему он один в комнате? Нет больных? Или он был так плох? Это кабинет, а не палата. Сдвинутый в угол письменный стол, лампа с громадным абажуром, книги, карандаши и толстое стекло. Портрет Ленина, огромный, чуть не в полстены... Хорошо, что он и здесь, в госпитале. Глаза Ленина улыбаются и глядят в упор, умные, чуть прищуренные.

Захотелось встать и подойти ближе. Астахов порывисто поднялся и сделал несколько шагов, но вынужден был ухватиться за спинку кровати: закружилась комната, портрет. Он сделал глубокий вдох, еще один, освободил руки. Добро! В норме! Только слабость, но она не уменьшает радости: жив... жив и здоров. Теперь уже не торопясь подошел к окну. Скрипнула дверь. Вошла сестра. Астахов подтянул кальсоны... До чего нелепо! Ужасный вид! Он бросился на кровать, укрылся одеялом.

Сестра, спрятав улыбку, сказала:

— У нас к больным входят без стука! Кто разрешил вам встать?

Приятно было видеть, как маленькое круглое лицо пытается быть сердитым, серьезным.

— Но мне и не запрещали этого! Уверяю вас, сестрица, здоров, совсем здоров.

— Сейчас увидим!

Сестра измерила температуру, пульс. Астахов молча наблюдал за ней, настойчиво, внимательно, чувствуя, что она вот-вот не выдержит его взгляда и прыснет в кулачок.

— Ну и?..

— Поглядели бы вы на себя три дня назад!

— А что?

— Не советовала бы еще раз появляться в госпитале с таким диагнозом. Не вставайте! Сейчас будет врач, а потом и друг ваш. Он нам всем здорово надоел.

— Кто, врач?

— Друг, конечно! Мало дня, так он и ночами звонит.

— Кто же это?

— Крутов, майор. На вид скромный, а настойчивый...

Чудесный Вас. Вас.! Много же надо времени, чтобы узнать человека!

...Еще несколько дней. Астахов уже знал все, что делается в полку. Его навещали товарищи, командир, подшучивали над его болезнью. Ангина, заглоточный абсцесс, катар, бронхи... Не много ли для одного раза?

Накануне выхода из госпиталя долго сидели вдвоем с Крутовым. Астахов по-новому присматривался к товарищу. Скромный, незаметный человек, честный, откровенный. Фронтовик, хороший летчик, смелый в воздухе, но мягкий, застенчивый на земле. Впрочем, бывает и вспыльчив, и вспыльчивость его кончалась двумя-тремя слова-

ми, не больше. Очевидно, его жене легко с ним. Какая она, его жена?

Говорили о многом, о личном, интимном. Астахов привязался к нему с первых дней пребывания на Севере, только раньше они не были так откровенны, как сейчас. Астахов говорил о своей любви к Полине, не скрывал сомнений, при этом старался быть правдивым даже в мелких жизненных деталях. Крутов слушал, заметно волнуясь, но Астахов не сразу понял причину его волнения.

— Верность, привязанность, взаимное уважение,— говорил Николай.— Черт возьми, когда-то все это я соединял в одно слово: любовь. Я любил и люблю и все же не знаю, что такое настоящая любовь. И можно ли любить, не сомневаясь? Может быть, в старости? Вот ты женатый человек, и я верю в прочность ваших отношений с женой. Но не всегда же бывает так просто, как у вас. Вы оба хорошие люди и, очевидно, никогда не усложняли своей жизни и не упрощали ее. Ты упрекаешь меня в том, что я не умею бороться за свою любовь, не умею прощать, забывать. Может быть, ты и прав, но я в этом пока еще не разобрался. Не убежден в своей неправоте, во всяком случае.

— Тогда почему ушла Полина? Ты сам говоришь, что любишь. Но этого мало: нужно забыть о ее прошлых ошибках, ни одним словом, ни одним жестом не упоминать о них.

— Говорить проще...

С этого и началось. Слушая друга, Николай увидел, именно увидел еще жизнь, еще любовь, которая оставила болезненный след в душе. Сколько таится в человеке своего, тайного, неизвестного другим и очень сложного! Ведь могло случиться, что еще много летали бы вместе, жили и не знали бы столько друг о друге.

Вот почему Крутов избегал или во всяком случае не принимал участия в разговорах о женщинах! Оказывается, не потому, что он скоро «оторвет средний лист своего календаря», что он отец семейства или потому что скромен (это, разумеется, тоже), а просто об этом трудно рассказывать и трудно найти, кому рассказывать. Астахов понял, что сейчас, рядом с ним, Крутов ощутил потребность быть откровенным (как и он сам), и не потому, что «услуга за услугу»... Война, следы прошлого. И долго они еще будут. Василий рассказывал, иногда смущенная улыбка трогала губы, как будто он стеснялся своих слов.

— Мы знали друг друга с детства. Учились в разных школах, но это не мешало нам быть вместе: самодеятельность, школьные вечера, танцы... Родители были снисходительны, они не хотели замечать нашего возраста. Юность! Сколько еще будет такой любви! Я заканчивал аэроклуб, она — техникум. Никогда мы не спрашивали ни у себя, ни у других, что такое любовь. Она была в нас. Когда случалось не видеть ее день или вечер, я страдал. Она тоже. Мы бежали друг к другу, забирались в глухие места и просиживали до рассвета, целуясь, мечтая. Подумать только! Когда она, бывало, взглянет на кого-нибудь другого, как мне казалось, с большим вниманием или станцует с другим парнем, у меня голова кружилась от ревности; впрочем, я знал, что она испытывает то же самое, когда я был не с ней. Да мы и не могли думать о ком-нибудь еще.

Помню, я вынужден был проводить одну знакомую девушку до дома. Ночь. Она привела меня в садик около ее дома, целовала как-то непонятно, задыхаясь, и все твердила: «Ну же... ну!» Я ушел, испугавшись того нового, что мною не было испытано. Целый день я ходил с виноватым видом, хотя вины моей не было.

Как-то мы были в деревне на свадьбе у подруги Веры. Когда кончилась пляска, нас положили в одну кровать в отдельной комнате. В деревне все просто. Мы лежали притихшие, боясь прикоснуться друг к другу. Ощущение необычного, волнующего кружило нам голову, и в то же время мы оба были полны неведомого счастья. Мы шептались, ни на секунду не забывая о близости наших тел. Честное слово, мы были детьми, в руках которых было что-то хрупкое, очень дорогое, к чему нельзя грубо прикасаться. К утру мы вздремнули, но, кажется, я тут же проснулся, почувствовав под своей рукой тепло ее голой ноги. Знал бы ты, как осторожно я убрал руку, чтобы не разбудить, не оскорбить. Она не открыла глаз и тоже не спала, боясь пошевелиться... Потом все было попрежнему, но мы не могли забыть той ночи, и нам казалось, что она связала нас навек. По существу, так оно и было. Жить друг без друга мы не могли. Я окончил школу инструкторов-летчиков и уехал. Рассказать, что я чувствовал один, без нее, невозможно. Ты поймешь, когда скажу, что через месяц она приехала ко мне совсем. Не существовало в природе силы, способной разъединить нас. Мелкие ссоры не в счет. Желание подчинить себе во-

лю другого порой было до нелепости велико, и у нее это проявлялось в большей степени. Как правило, я уступал, потому что любил и верил. Подчеркиваю: верил.

Родился сын. Он не помешал ей окончить институт иностранных языков, а мне летать. Появилась новая жизнь, новые заботы, которыми я гордился. Жизнь была в наших руках, и наши мечты не были бесплодными. Нас ничто не пугало, и мы верили в себя. Заметь, ни одной мысли о непрочности наших отношений и ни капли сомнений. С течением времени я больше любил ее, если это было возможно, и постоянно испытывал всевозрастающее счастье от ее ответного чувства. Так было... Потом война. Первая разлука. Страшное состояние. Я помню ее лицо в последнюю минуту перед отходом поезда: тоска, страдание, страх перед неизвестным...

Она уехала с сыном к родителям, а я в армию. Авиашкола, ускоренный курс,— и фронт. Вера оставила сына у матери — и тоже в армию, в штаб соединения на Западном фронте, в качестве переводчицы. Мы почти не теряли связи, ее письма были полны любви и ожидания. Я боялся за ее жизнь. Моя собственная смерть не казалась мне противоестественной, но не казалась и неизбежной. Летая, я приучил себя не думать о ней. Я солдат, летчик и должен победить хотя бы ценой своей жизни, но она, Вера, должна жить ради сына. Я по-прежнему верил в наше счастье и мечтал о встрече. Мы не виделись более двух лет. Однажды после воздушного боя с подбитым мотором я еле дотянул до аэродрома и упал на границе его. Самолет скапотировал, меня без сознания вытащили из кабины. Госпиталь, а после него несколько дней отпуска. Я помчался к ней в только что освобожденный город. Без труда разыскал штаб. Мне указали частную комнату, где Вера жила с подругой. Ты когда-нибудь ходил, не чувствуя земли? Вот так бежал я... Она не удивилась моему неожиданному приезду. Мы были счастливы и любили друг друга, как все прошлые годы. Два дня полной жизни... полной, и только в глазах ее подруги я замечал насмешливый взгляд, которому не придавал значения. На третий день я был один в комнате. Хозяйка дома, неприятная женщина, вошла без стука: «Все же кто муж, вы или...»

Хозяйка многозначительно хмыкнула себе под нос и вышла. Вероятно, мой вид ее испугал. Я еле дождался Веры. Она пришла, увидела меня и, очевидно, сразу до-

гадалась, в каком я состоянии. Она присела на кровать и закрыла ладонями лицо: «Прости! Мне нужно было сказать сразу, но не могла, пойми, не могла!..»

Крутов встал, нервно и глубоко затянулся папиросой, постоял, глядя на оконные шторы. Астахов молчал. Сказать, что он думает сейчас? Это было бы жестоко. Астахов знал почти наверняка, что последует дальше.

Крутов успокоился, только лицо несколько жестче, с морщинками на лбу, задумчивое. Видно, не знал, как продолжить, вроде припоминал что-то...

— Мне тогда было не до ее слез,— продолжал Крутов, дернув плечом,— и что она говорила — не слыхал. Когда она замолчала, я сказал то, что отвечало моему настроению: «Полевая, походная дрянь...» — и ушел. Моросил дождь. В городе меня задержал комендантский патруль: подумали, что пьян. И уже в поезде, ненавидя ее, вспоминал, как она пыталась удержать меня...

Все, что говорил Крутов, казалось Астахову невероятным, хотя подобные истории за годы войны ему были известны и раньше, но здесь все это он воспринимал как что-то свое, тревожное и неприятное. Он верил Крутову. Ему не верить нельзя. Рассказывал он не о случайной женщине, а о жене, и, может быть, впервые в жизни и первому человеку, ему, Астахову. Он ждал, что еще скажет Крутов, чтобы понять главное. Ждал не из любопытства. То, что случилось с Крутовым, с его любовью, Николай как бы примерял к себе. Чертовщина какая-то! Война многое изменила, и людей тоже. Но разве люди стали хуже? Может быть, в войну любовь и ненависть проявлялись ярче?

Крутов продолжал:

— В то время быстро менялась картина на фронтах. Мы часто и много летали. Я был в своей среде, и она помогла мне не поддаваться тяжелому настроению. Я, как все, стремился к победе, к концу войны, а все остальное, даже это... было второстепенным. Я получил несколько писем от Веры, но не отвечал на них. Письма ее были по-прежнему ласковые, полные любви и желания встречи. В ее словах была отчаянная тоска. Она призывала к здравому смыслу, писала об офицере из их штаба, который преследовал ее своей любовью, и что она не настолько виновата. Тебе трудно понять, но я продолжал любить ее и начинал находить тысячи оправданий ее поступку: сочувствие, жалость, минутный порыв, который заставил ее

позже раскаиваться,— и все это, думал я, не имело отношения к нашей любви. Сейчас я ближе к истине... Помнишь? «Верны и постоянны старухи и уроды». Попробовал и я чужой любви и легко забывал о ней. Как бы там ни было, к концу войны я написал ей. Она ответила, благодаря судьбу за то, что та сохранила меня, мою любовь. Мы встретились. Она приехала прежняя, ласковая, любящая, и я... я сделал то, что считал разумным: не напоминал ей о прошлом.

— И ты всегда был уверен, что она любит тебя?

— Позже, когда я мог спокойно разобраться в наших отношениях, во всем случившемся, мне показалось, что я нашел ответ. Война разлучила нас. Ей нужен был я, и не где-то далеко, а рядом. Но меня не было, а появился новый... Мне кажется, ей нравилось, что она так самоотверженно любима, нравилось чувствовать свое превосходство, свою силу. А где еще женщина почувствует свою силу, как не в этом?.. Стоит ли призывать здравый смысл, когда рядом человек клянется, что жить без нее не может и сделает с собой что угодно, если она не ответит тем же. И к чертям воля. А уж тот офицер постарался вовсю, чтобы вызвать к себе чувство, после которого он будет хозяином положения. Зачем прятаться от него, если завтра, может быть, его убьют! Я не оправдываю таких поступков, но женщина есть женщина... Я не верю, чтобы она любила того, любила, как меня, но в какой-то период любовь была, а вместе с тем и жалость, а скорее всего, желание мужской ласки. Может показаться, что все это слишком просто, но факты упрямы, и я пытался найти им объяснение. Мучительная работа. А что прикажешь делать? Любила ли она меня? Не только любила, но и была совершенно уверена, что я никуда от нее не денусь и что даже ее измена (вряд ли она называла это изменой в полном смысле этого слова) не уничтожит нашей любви, моей любви.

— Не понимаю. Война может списать многое, но только не измену. Любить одного и в то же время спать с другим, случайным человеком, какой бы он ни был, похоже на предательство. Можно забыть ошибки женщины, если она никому и ни в чем не была обязана, но в данном случае... Жена ведь!..— Астахов замолк на полуслове. На кой черт он лезет со своим мнением? Крутов, может, искал у него поддержки, а услышал то, от чего сам пытался освободиться. Астахов сделал попытку смягчить

сказанное так резко: — Извини, я знаю слишком мало. Могу и ошибиться. Ты добровольно уехал на Север, потому что не мог забыть? Или...

— Не совсем так. Мне было приказано выехать, и я никогда не решился бы придумывать причины... Я выполнил приказ, а что касается жены... Да, забыть не могу, особенно когда ее нет рядом. Не жалуйся на свою судьбу. Если моя история поможет тебе найти Полину, не отталкивай ее, найди в ней человека, который будет тебе всю жизнь другом. Помоги обрести ей счастье. Не всякая способна сделать то, что сделала она: уехать. Мне кажется, я понимаю ее. Кроме того, за одного битого двух небитых...

Астахов подумал, что разговор о Полине — разговор ради вежливости, хотя и искренний, поэтому ничего не ответил, только спросил:

— Тебе трудно одному?

— Трудно. Я люблю жену, люблю сына. С ними мне легко. Но оставим любовь. Выбирайся быстрее. Нам еще жить, летать, и кто знает, что еще в будущем приготовит жизнь. «Душа, увы, не выстрадает счастья, но может выстрадать себя».

Крутов сделал несколько шагов по комнате и уже веселее продолжал:

— Меня сейчас больше занимает другое: хочется полетать над городами, над своей землей и видеть, как она обновляется после войны.

Неужели он может так владеть собой и действительно стоит выше всякого мелкого, пошленького, что другим мешает видеть главное в жизни? Тогда он, Астахов, снимает перед ним шапку. Он видит сейчас сильного человека, способного страдать, не лишенного простых человеческих слабостей, но победителя в конце концов во всем: в жизни, в борьбе, в любви... Крутов улыбается искренне, и его улыбка не вымученная, а спокойная, уверенная...

— Пойдем уговорим врача. Я здоров. Ты меня, так сказать, будешь морально поддерживать. Мы скажем врачу: «Душа, увы, не выстрадает счастья...» — и будет достаточно.

Ягодников увольнялся в запас. Приказа долго не было, и вынужденное бездействие было хуже любой напряженной работы. Днями он был предоставлен самому себе.

Много читал, бродил по поселку. С каждым уходящим днем настроение его становилось сложнее, мрачнее. Он думал, что в таком состоянии не следует долго держать человека и, если бы там, наверху, вникали в психологию людей, так резко меняющих жизнь, к тому же оторванных от семьи, приказ на увольнение поступал бы гораздо быстрее. Аэродрома он избегал, к шуму двигателей не прислушивался. Теперь это чужое. Будущее существование рисовалось Степану лишенным ясной цели, безрадостным.

Работать. Но где? И кем? Он всю жизнь летал — это ушло безвозвратно. В его возрасте сначала не начинают. Поздно. Пенсия приличная, но разве дело только в деньгах? Специальности никакой. Солдат — в народном хозяйстве не специальность, а он умел только летать и воевать. И в будущем не позовут, если вдруг будет необходимость: «ограниченно годен к нестроевой» — резолюция на военных документах звучит, как приговор. Точка. Нуль без палочки. И знал он, что напрасно так сурово обвиняет судьбу, что жизнь не даром прожита, но минуты, когда плохо руководил собой, были, есть, и ему трудно, и он, нервничая, уходил от логики в определениях действительности. В спокойные часы одна мысль его несколько успокаивала: армия явно идет по пути сокращения. Увольняют многих, здоровых и слабых, находят же они место в новой жизни, черт возьми!

В город его не тянуло. Было желание уехать ближе к селу и работать где-нибудь в механических мастерских. Знает же он технику! Жена пишет хорошие письма. Пока он служил, письма были не очень частыми и более сдержанными, хотя жена не была скуповата на ласку, а сейчас — в неделю два, а то и три, когда самолеты ходят, и каждая строчка требует, зовет и дышит такой любовью, что у него сердце от тоски сжимается. Никогда раньше жена не была ему так нужна и дорога, как сейчас, в эти дни. Он и не подозревал, что способен на такую любовь к жене после двадцати лет совместной жизни! В молодости любил меньше. И такая мысль тоже выводит его из равновесия.

Когда все же приказ пришел, ему вручили обходной лист. Материально ответственные лица должны своей подписью подтвердить, что он никому и ничего не должен. Кто его выдумал, обходной? Затея работников тыла, и только. Эти подписи Степану казались оскорбительными: не доверять человеку, который лучшие годы отдал службе,

Родине и не раз был готов лишиться жизни... Старший офицер, и вдруг — распишитесь в том, что вы не должны ни одной пары кальсон! Глупо до невероятности!

Ягодников торопился домой, хотя и понимал, что желание поскорее покинуть часть могло показаться товарищам... Нет, товарищи и командир ему сочувствуют, потому что понимают.

Когда все было готово к отъезду, его вызвали в штаб. Он не знал зачем.

Во всю длину коридора в строю офицеры, строгие, подтянутые, в парадной форме. Около штаба он видел машину командира соединения, но не мог подумать, что командир прибыл проводить его в запас. Ему стало стыдно за свой костюм. Парадный в чемодане, на нем повседневный, изрядно помятый, но этого никто не замечал, или делали вид, что не замечают. Он стоял перед строем и смущенно поглядывал на лица друзей: Крутов кивнул ему, прищурил глаз Астахов, полковник Ботов смотрел прямо и строго, летчики — сосредоточенно и сочувственно.

Ботов зачитал приказ, в котором за долгую безупречную службу в Вооруженных Силах Ягодникову объявлена благодарность. Пожал ему руку, пожелал всех благ.

Командир соединения был немногословен, но его слова на Степана подействовали как струя свежего, бодрящего воздуха. Хорошие слова...

— Мы стремимся к миру, при котором будут установлены простые и разумные отношения между людьми, и я уверен, что офицер Ягодников будет в первых рядах строителей такого мира.

Что сказать в ответ? Где найти слова, чтобы обнажить перед товарищами свое сердце? А нужны ли слова? Разве не видно, что он готов прослезиться, как мальчишка? Солидный мужчина, старый боевой летчик стоит расслабленный, чуть растерянный...

— Спасибо...

Вот и все!

Автобус. Аэродром. Последнее пожатие рук. Транспортный самолет, лавируя между огнями, вырулил на взлетную полосу, поурчал моторами и рванулся с места. Последний пучок северных огней, смутные очертания сопок, моря, тундры. Курс на юг. Север уходит назад. «Прощай, Север! В твоих льдах я оставляю кусочек своего сердца и хороших друзей! Я любил тебя, Север!»

Почти ежедневно Федор ходит по цехам завода, видит, как создается крылатое оружие. Из цеха сборки стреловидный истребитель с высоким хвостовым оперением выкатывается на простор, на аэродром, что тут же у завода, и попадает в руки летчика: последний этап производства. Летчики заканчивают то, что начато умом конструктора и сделано руками рабочего человека. Готовую машину провожают сотни глаз, эти же глаза смотрят на летчика: не подведи! Испытатель на заводе свой человек, и похож он больше на заводского техника, чем на летчика. В короткой кожаной куртке, он осматривает самолет, вникает во все детали производства. Летчик обязан знать все, по крайней мере главное, что не имеет права отказывать в воздухе, и только при этом условии в кабине он спокоен, уверен в себе и в машине, когда поднимает ее на огромную высоту.

Перед полетами Федор на заводе не бывает. В такие часы он мысленно в кабине, в воздухе, ставит самолет в сложные положения, которые предвидеть невозможно, но из которых нужно выйти при любых обстоятельствах. В такое время для него не существует ничего, что не имеет прямого отношения к машине, ждущей его на старте, и к полету.

Когда полеты закончены и он чувствует приятную усталость, тогда он вновь готов часами наблюдать, как работают люди.

Федор пришел на завод тотчас же после войны, пришел в качестве летчика-испытателя. Другого для него ничего не могло быть. Другое было бы несовместимо с его натурой, с его желаниями.

После войны друзья рассеялись по стране. Но слово «один» для Федора не существовало. На заводе его уважали, как на фронте, как везде, всегда.

Был у него друг на заводе, летчик. Друг напоминал ему Астахова не только внешне, но и жадностью к полетам, любовью к авиации, напоминал и характером. Жили и летали вместе. Он погиб при испытании нового самолета. Полет на сверхзвуковой скорости... Первая жертва, первый траурный день после войны. Министерство запретило летать, пока не выяснится причина гибели летчика. Это было сделать нелегко: от человека и самолета ничего не осталось, почти ничего... Конструкторы жили на заво-

де, прощупывали каждую деталь разбитой машины. Причина была найдена: сверхзвуковой волной сорвало фонарь кабины, летчик потерял сознание, истребитель взорвался от удара о землю. Еще один конструктор думал над созданием новой кислородной маски для человека, нового высотного костюма, гарантирующего безопасность. И то и другое было сделано раньше, чем можно было предположить... И опять полеты.

Но жизнь Федора со смертью друга круто изменилась: двое детей погибшего с ним. Была женщина... К счастью, не успел жениться. Студентка технологического института, практикантка на заводе. Он познакомил ее со своими детьми. Она прочитала ему лекцию о любви, о дружбе, о счастье и, между прочим, о великой ответственности, которую берут на себя лишенные здравого смысла люди, воспитывая чужих детей, вместо того чтобы отдать их в более надежные руки, в руки государства. Когда она говорила об этом, мальчики смотрели на нее широко открытыми глазами и ни один из них не понимал, о чем говорит красивая женщина. Большей все же понял... «У ваших детей будет отвратительная мать. Я им сочувствую, так сказать, авансом». Больше мужская семья не видела ту женщину.

Прошло полгода, как Федор с детьми вернулся из отпуска, из того города, где похоронил фронтового друга. Полгода... Будто это было вчера. Если бы не ребята, вновь познавшие забытые ласки матери, может быть, он и пытался бы бороться с собой, но в этом уверенности не было. Как же это случилось? Он даже не может сказать, когда началось. Два месяца отпуска провел он вместе с Таней, а вернее сказать, в ее квартире. Таня рано уходила надолго с детьми, и он, Федор, оставаясь один, перелистывал страницы альбома, долго всматривался в задумчивое лицо женщины, которая так много стала значить для него. Он вспоминал слышанные им раньше рассказы старых летчиков тридцатых годов про то, как жены погибших выходили замуж за их друзей-летчиков, и такое было чуть ли не традицией. Тогда эти рассказы вызывали у него улыбку, и все-таки в них было что-то волнующее, естественное и новое, что не казалось самопожертвованием ни с какой стороны. Это было похоже на великую дружбу людей опасной профессии.

Черт возьми, он начинает понимать, что такое могло быть.

Когда в квартире не было Тани, он мысленно говорил с ней не таясь, и ему было хорошо, пока другие мысли не возвращали его к действительности. Надо молчать. Кто знает, не будет ли его признание, такое внезапное, оскорбительно для Тани. Он брал в руки другую карточку, ее мужа, Фомина. Умерший друг смотрел на него, как смотрел всегда: откровенно и прямо. Это был друг, настоящий друг; и мертвый, он призывал к жизни... Когда Таня возвращалась с детьми, Федор в разговорах с ней старался избегать всего, что могло походить на признание. Как-то он тихонько подошел к открытой двери на кухню и пристально смотрел на Таню, когда она готовила ужин. Таня почувствовала взгляд и резко обернулась.

Федор вздрогнул, и она видела это... Секунду-две они смотрели друг другу в глаза, но за этот ничтожный промежуток времени одним взглядом Федор высказал ей все, о чем думал долго, чем жил. Таня не могла не услышать его внутренний голос, не прочитать его мысли. Губы ее задрожали, и лицо стало испуганным, и только в глазах были мольба, укор и еще обида. Она вышла в коридор, и ее отчаянный голос поразил Федора:

— Не надо, Федя!..

Федор хотел бежать за ней, успокоить, что-то сказать, но он продолжал стоять, будто прирос к полу. Между ними как бы протянулась нить. Или она оборвется, или будет настолько прочна...

Таня вернулась через минуту внешне спокойная.

— Извини, Федя. Я как-то все еще не приду в себя.

Она подошла к плите, переставляя без нужды посуду. В голове Федора клубок противоречивых мыслей, и, возможно, именно этот мысленный хаос привел его к решению действовать, действовать смело. Отбросить осторожность, сомнения, колебания... Но тут же отставил такую мысль. Нельзя! Все что угодно, только не усложнить ей жизнь. Они знают друг друга почти с детства и почти с детства — друзья. Никем другим он не может быть для нее, не может... Допустим, что так, тут же думал он. Но она же видит его насквозь и не протестует открыто, иначе давно бы нашла повод выпроводить его. Черт, как все сложно!

Федор начинал страдать. Его натуре были чужды скрытность, притворство, тем более ложь. Ему хотелось высказать Тане все, о чем думает, чем живет эти дни, почти два месяца, и в то же время он знал, что не скажет,

не посмеет, да и вряд ли Таня пойдет ему навстречу сейчас, даже если он и не безразличен ей.

До конца отпуска оставался один день, последний. Он прошел в сборах в дорогу. Федор видел, в этот день Таня была необычно возбужденной, временами растерянной, нервной. Она часто обнимала мальчишек, и в этих порывах он угадывал ее истинное настроение: ей было тяжело расставаться. Он думал, что причиной этому могло быть только предстоящее одиночество. Она привыкла к детям, полюбила их, привыкла и к нему, как привыкают к любому живому существу, когда человек остается один.

Последний час на вокзале. Дети рассматривали картинки в журнале. Федор и Таня стояли рядом. Оба понимали, что, не сказав каких-то слов, они не расстанутся. Эти слова, еще неопределенные, волнующие и пугающие, как бы висели в воздухе...

— Я понимаю, есть известные принципы морали, чести, такта, которыми нельзя пренебрегать, но не могу я скрывать от тебя своих чувств. Да и нужно ли скрывать? Ведь ты мне друг, Таня?

Федор нервно мял в руках незажженную папиросу. Таня стояла молча, как бы раздумывая... Она заметила на кисти руки Федора бледно-голубоватую татуировку: крылья, соединенные между собой пропеллером. Она не видела татуировки раньше. «Господи, как мало я его знаю! — И сразу возразила себе: — Разве мало? Разве юность не в счет? Вот он, большой, сильный, с нежным сердцем и доброй душой, друг Дмитрия... Что сказать, что ответить?»

— Такт и честь здесь ни при чем. Ты задал мне лишний вопрос: друг ли я тебе? Ты-то сам как думаешь?

— Извини. Если бы не отъезд, мы говорили бы о другом, или во всяком случае было бы время...

— Ты уверен, что говорили бы о другом?

— Не знаю... Нет, не уверен.

— Друг ты мой! Мне будет трудно без вас...

Слезы в ее глазах доставили Федору невыносимую горечь.

— Ты не одна. Неужели не видишь, не понимаешь?

— И вижу, и понимаю. Буду ждать писем. Обещай писать.

— Ты скоро наживешь себе врага в лице почтальона. Он будет ходить к тебе чаще, чем в собственный дом.

Ребята не могут понять, почему с ними не едет тетя

Таня и почему она плачет, обнимая их. Она может обнимать их когда угодно и сколько угодно, ведь им тоже этого хочется!

— Тетя Таня, приезжайте к нам.

— Обязательно приеду... До свидания, мальчики...— Она улыбнулась и впервые в этот день не отвела глаз от Федора.— До свидания, Федя!

— До свидания, Таня! Когда бы ни было, в любой час, в любую минуту, есть человек, нет, человеки, которые...

— Знаю, Федя. Не забуду.

Скрылся перрон. Замелькали столбы, огни. Маленький Гриша уткнулся носом в стекло и всхлипнул, все еще махая рукой. Старший молча смотрел в ночь за окном. Федор курил...

...Прошло уже сколько месяцев, а покоя нет. Он писал Тане о том, о чем не решался говорить. Она отвечала ему сдержанно, когда речь шла о нем, и с любовью, когда обращалась к детям. Она писала, что хочет видеть их и что несправедливо не видеть тех, кто вернул ее к жизни, кто был с ней в самые тяжелые минуты и кого полюбила...

Федор понимал ее. Жить без его детей Тане трудно, ей хочется быть с ними, а вернее сказать—ей хочется, чтобы они были с ней, и в то же время она знает, что он любит ее, и должна решиться на единственное, реальное, естественное... Дальше ждать у Федора нет сил, и он пошел на крайность... На его последнее письмо ответа долго нет. Откровенное письмо, и писал он о своей любви не исподволь. Она знает его. Он уже не так молод, и в его чувство можно верить. И еще: если она не решится приехать к нему, он приедет сам. Федор не делал упора на детей, это было бы нечестно. Он просто писал: приеду и заберу с собой. Так-то! Он не мог сказать определенно, он был почти убежден, что не безразличен ей. Если бы не такая уверенность, он не был бы так настойчив. Нашел бы в себе силы сказать: не ко двору!

Ответа нет. Может быть, много дней в рейсе? Или заболела? А может быть... Никаких «может быть»! Ее он тоже хорошо знает. На полпути она не остановится, скажет прямо: либо да, либо нет. Дети хранят открытки и письма с рисунками к ним. Говорят, маленькие легко привыкают к новым обстоятельствам и легко забывают свои привязанности, особенно в разлуке. Не всегда так. Двух месяцев, проведенных с Таней, было достаточно, чтобы его ребята до сих пор помнили, ждали, именно ждали ее.

Он не говорил им, что «мама Таня» (так дети звали ее с недавних пор, и он здесь был ни при чем) приедет, но не говорил, что и не приедет.

Детский садик, маленькие друзья, вагон игрушек и большая привязанность к нему, к их новому отцу, не выветрили из памяти и из сердца грустную ласковую женщину.

Как-то вечером сидели за столом, играя в новую игру. Увлекшись, Гриша напустил в штанишки. Лужица растеклась по полу. Брат щелкнул его по носу. Гриша сквозь слезы оправдывался: «Это я вспотел». На эту уловку брат ответил: «Тогда почему по вспотелому ходишь?» Гриша еще громче заголосил, дуясь на брата, а заодно и на отца: «Вот приедет мама Таня, она вам задаст...» Федор больно кольнули слова ребенка. Впервые он обозлился: какого черта она капризничает! Но злость погасла так же быстро, как и пришла. Приедет ли? Он поторопился успокоить Гришу, и игра возобновилась. Если не будет письма еще день-два — пошлет телеграмму.

Шамин помог Тане вновь занять место второго пилота в своем экипаже.

И опять та же трасса, привычные лица пассажиров и долгие часы в воздухе. Теперь торопиться некуда. Она упросила тетку, которая воспитывала ее с детства, приехать к ней из деревни и жить вместе. Больше у нее никого не было. Отец умер в годы войны в эвакуации. Матери тоже не помнит. Все довоенные годы тетя заменяла ей мать. Старенькая, седая женщина понимала состояние Тани и, как могла, создавала в квартире обстановку, которая уводила бы Таню от мрачных мыслей в первые месяцы после смерти ее мужа. Осторожно, с мягкой настойчивостью она говорила Тане, что пора бросать летать и найти работу более прочную. Летать — не женское дело. Еще год-два, и все равно придется бросить, а годы уходят, и жизнь уходит. Таня понимала логичность ее рассуждений, но решения пока не меняла.

Федор... Дружбы с ним не получилось. Она это поняла на второй месяц пребывания Федора с детьми в ее квартире. Тогда она думала, что бросит все, только бы мальчики были с ней. Если бы они имели мать или были бы меньше привязаны к ней, за два месяца ни на один день не расстававшейся с ними, может быть, было бы легче

и не было бы такой отчаянной любви к малышам, потерявшим не только мать, но и отца. Как же жестоко бывает судьба к людям!

Таня не знала, насколько может быть велика любовь матери к собственным детям, но ее любовь к мальчикам Федора пробудила в ней такое чувство материнства, с которым справиться не могла и не хотела. Она написала об этом Федору и ничего не требовала, просто писала, и ей было легче от этого. Федор любит ее, она это знает. Прямой, откровенный и честный человек, он требовал простоты и ясности в отношениях. Его письмо... Она думает о нем постоянно, помнит каждую строчку и, как девчонка, радуется, и радость пробивается сквозь слезы... «Я не любил так никогда. Жизнь моя всегда была заполнена осмысленными делами (в этом месте Таня от души посмеялась: разве любовь бессмысленное дело?). В жизни мне хочется улыбаться. Мне хочется видеть улыбки и на лицах людей, всех, и, конечно, на твоем, моя милая женщина! Приказать себе не любить тебя — не могу. Говорить, как мои пацаны ждут тебя, будет похоже на что-то обидное, к чему прибегаю, чтобы поторопить... Будем откровенны: из меня получится неплохой муж, а из тебя — совсем неплохая жена, а какая из тебя мать, я уже знаю. Вот мы и два сапога пара! Чем плохи? Говорю о своей любви потому, что сердце подсказывает: ты тоже любишь, только признаться в этом не хочешь не только мне, но и себе. Вот так! Не обижайся на мое нахальство. Если веришь мне и хоть немного любишь — приезжай! Нашему колхозу недостает хозяйки».

Еще не было сказано ни одного слова, не написано ни одной строчки, а она знала, что Федор любит ее, и верила в эту любовь. Было хорошо от мысли, что ты не одна, что есть человек, готовый протянуть руку, и человек этот способен на любовь, о которой может только мечтать женщина. Если бы не дети, которые стали как бы частью ее самой, может быть, у нее и не проснулось бы ответное чувство к нему, к Федору. Он усыновил детей друга, и этот поступок взволновал ее и заставил смотреть на Федора другими глазами. После смерти Дмитрия он не мешал сближению мальчиков с ней, и за это она была ему бесконечно благодарна. Найдет ли она в себе силы быть не только матерью? Все ли будет ясно и просто в их отношениях? С Федором нельзя быть неоткровенной, но ведь и с ней тоже! Много дней она молчит, не отвечает. Несколько

месяцев после их встречи ничего не меняли, и только чувство стало острее и близилась развязка. Все чаще она испытывает недовольство собой. Разве уже решение не принято? Тогда почему кривишь душой? Ищешь оправданий, пытаешься бороться с собой, когда борьба, по существу, давно закончена? Эгоистически принимаешь любовь Федора, а сама ничем не отвечаешь на нее. Вспомнила Астахова — свою первую девичью любовь, и тогда появлялись сомнения, неясные, неоправданные, и жизнь казалась сложной, и трудно было в такие моменты приходить к какому бы то ни было решению...

Экипаж Шамина получил необычное задание: полет за границу с ценным грузом. Командировка длилась неделю. Таня знала страну, куда они летели, и знала аэродром, где производили посадку. В конце войны она была здесь с Дмитрием. Тогда на маленьких У-2 они летали, выполняя задание наземного командования. Она с воздуха узнавала эту землю. Когда-то здесь все было изрыто снарядами, бомбами и земля была прикрыта дымом. И парковые леса выглядели тревожными, зловещими: в них маскировался враг, обстреливая шквальным огнем небо. Кажется, совсем недавно это было. Отсюда, с этого вот аэродрома, увезли тяжело раненного Фомина в Москву. Тогда была последняя встреча в последний год войны. Эту землю сейчас трудно узнать. Выросли хутора, поселки, трубы заводов, и лесные массивы гуще стали и не пугали, а манили свежей и новой зеленью. Город чистый, уютный, с множеством остроконечных крыш, и ни одного разрушенного дома. Убрали развалины, построили новые дома... И все же, когда летели обратно, тревога чуть-чуть царапала сердце. Не все еще выветрилось, слишком свежи в памяти те годы и люди, пропитанные звериной фашистской идеологией.

Когда под крыльями показались поля родной земли — успокоилась.

В первый же день после возвращения домой Таня пришла к давно созревшему решению, и этот день был для нее совершенно новым днем. Все, что казалось ей противоречивым, мучившим сомнениями, стало вдруг ясным, определенным, неизбежным, она должна ехать к Федору. Тетя не удивилась ее поспешным сборам в дорогу, только, заметив отпускной билет, сказала:

— Мне казалось, что ни один умный человек не едет в отпуск куда-то почти на Север. Ты мечтала о море, о солнце.

Таня, помолодевшая, возбужденная, обняла худенькие плечи тети:

— Приеду — все объясню! До сих пор не говорила, потому что сама не знала.

— К ним?

Тетка показала рукой на фотографию мальчиков. Таня кивнула. Милая, умная женщина, тетя никогда ни о чем не спрашивала, но всегда безошибочно заглядывала ей в сердце. Нет, конечно, она не возражает и понимает, что в их жизни будут перемены, связанные как-то с двумя мальчуганами. Только бы это было счастье!

— Ну что же...

Все было необычным в тот вечер накануне ее отъезда: и разговоры с теткой, и настроение, и неожиданный приход незнакомой женщины, которая помогла избавиться от последних крох сомнения...

Пили чай, когда постучали в дверь. Таню сначала смутил взгляд молодой женщины с усталым приятным лицом, пристальный и пытливый. Но что-то было в фигуре, в выражении лица гостьи, что заставило Таню подчеркнуто приветливо отнестись к ней.

— Прошу вас!

— Благодарю!

— Хотите чаю?

Таня готовилась услышать вежливый отказ, но женщина ответила согласием. Выглядела она смущенной. Тетя деликатно удалилась в кухню.

— Вы удивлены?

— Чему?

— Тому, что я вошла в дом, но все еще не говорю о цели своего посещения.

Что ответить ей? Конечно, она удивлена, но решила не торопить женщину вопросами.

— Ничуть. Мы не знаем друг друга, но, очевидно, кто-то из ваших знакомых знает меня.

— Я знаю вас, хотя вижу впервые. Я живу здесь и работаю на заводе, а приехала с Крайнего Севера.

Таня оставалась спокойной, испытывая скорее любопытство, чем волнение, хотя была почти уверена, что женщина приехала не за тем, чтобы передать привет.

Что-то другое.

— И вы не спрашиваете, кто вас еще знает на Севере?

Опять тот же взгляд, но вызвал он уже досаду.

— Там служит в армии мой старый друг. Если вы от него...— Она начинала догадываться, с чем связан приход незнакомки.— Тогда вам не следует так осторожно подходить к вопросу, который вас, я вижу, волнует больше, чем меня.

— Извините. Мне нелегко было прийти к вам, как нелегко было уехать оттуда.

Женщина редко обманывается в своих инстинктивных догадках, и Таня, обратив внимание на располневшую талию гостьи, поняла, в каких отношениях посетительница с Астаховым. Ее тронул какой-то беспомощный и прямо-таки вдруг ставший жалким вид женщины. Что-то привлекало в ней Таню. Где-то глубоко в тайничке сознания она даже позавидовала ей: она беременная. Она уже мать.

— Давайте пить чай. За чаем и разговаривать удобнее.

— Спасибо.

— Меня зовут Таня. А вас?

— Полина.

— Астахова?

Полина не ответила, смутилась. Таня взяла фотографию детей и протянула ей.

— Вы вовремя пришли. Завтра меня уже не было бы.

— Ваши племянники?

— Мои дети!

Полина не отрывала глаз от карточки.

— И они...

— Кроме меня у них есть отец, мой муж. Теперь вы видите, что мы можем быть откровенными.

— Мне рассказывал Николай про Федю. Вы хорошо сделали...

Слезы в глазах Полины смутили Таню. Она не знала, чем прервать молчание.

— Николай тоже здесь?

— Нет... Я пойду, извините.

Таня видела, что удерживать Полину нет смысла, хотя было желание узнать все о жизни Астахова. Она удивилась собственному спокойствию, когда думала об Астахове, и только волновала мысль, что жизнь человека, которого она любила в юности, очевидно, сложна и непонятна ей.

— Я убеждена, что в будущем мы будем друзьями. Я уезжаю к мужу, но скоро вернусь. Буду ждать. Напи-

шите Николаю о моих детях, и еще напишите, что я и Федя будем ждать его... вас...

— Напишу!

Полина торопилась уйти. Чай па столе остался нетронутым. Мысли Тани перестали быть тревожными, все опять встало на свои места. Теперь уже она сама долго смотрела на фотографию детей, теперь уже ее детей.

18

Невидимый звуковой барьер. Стрелка прибора скорости осторожно подбирается к предельной цифре. Пока она слегка вибрировала еще далеко от нее, Михеев уточнил линию своего пути: полет в стороне от населенных пунктов. Так надо...

Нарастает скорость. Воздушный поток, срываясь с плоскостей самолета, взрывается где-то далеко, сзади, и этот гром заставляет вздрагивать людей на земле. Несколько таких хлопков, но они сливаются в один мощный звук, как взрыв тяжелой бомбы, будто атмосфера возмущена вторжением человека в неведомое.

Самолет вырывается вперед со скоростью, при которой взрывная волна пе в состоянии догнать, дойти до слуха летчика или помешать полету. Истребитель перешагнул звуковой барьер! Крылья слегка качнулись, и только. Михеев прочно держит ручку управления. Кто знает, как поведет себя самолет дальше, в еще не испытанных условиях. Скорость продолжает расти. Истребитель делает попытку уйти вниз. Федор тянет ручку, препятствуя опасному стремлению. Память его хорошо натренирована, и он отмечает показания приборов, поведение самолета, малейшее отклонение от нормы. Самолет продолжает полет с установившейся сверхзвуковой скоростью. Михеев изредка поглядывает на землю: еще область позади. Несколько областей — за несколько минут полета. Последний ориентир. Федор плавно вводит самолет в разворот. На обратном курсе нужно увеличить скорость до заданной. Легкие вдыхают чистый кислород, тело прижимает к сиденью, веки тяжелеют, руки и ноги тоже, будто на них груз; за кабиной бесконечное голубое пространство. Земля плывет внизу: далекая, как бы оторванная, ничем не связанная с атмосферой, и только горизонт, сливаясь с небом, покачивается вместе с крыльями.

Федор не следит за своими физическими ощущениями: в эту минуту их нет. Только полет, только приборы. Само-

лет в пространстве — как метеор. В сердце легкая тревога: будет ли дальше истребитель вести себя так же или выкинет какую-нибудь штучку, которую трудно будет понять сразу? А понять надо вовремя, в этом и тяжесть работы испытателя. Конструктор на земле должен все знать; летчик в воздухе подтверждает его расчеты...

Скорость растет. Горизонт — приборы. Приборы—горизонт. Если не хватит мощности двигателя для заданной скорости, тогда Федор пойдет с небольшим снижением. Еще двести километров... Теперь крылья стремятся уйти вверх. Не менее опасно. Только бы самолет остался управляемым. Ручка становится тяжелой. Федор готов в любую секунду погасить скорость, если удержать ручку будет невозможно. Двигатель работает па полной мощности. Скорость подходит к заданной. Крылья мелко дрожат, предупреждая об опасности. Удержать ручку управления не хватает сил... Федор заставляет себя еще несколько секунд продолжать полет на заданной скорости и, когда самолет вот-вот готов потерять управление, убирает газ и выпускает воздушные тормоза. Стрелка медленно поползла вниз. Прекратилась опасная тряска, но истребитель, казалось, продолжал быть настороженным и неохотно теряет скорость. Теперь есть время подумать о результатах испытания: он скажет инженерам, конструкторам, что следует облегчить давление на ручку, найти причину тряски — она может разрушить конструкцию; усовершенствовать противоперегрузочный костюм — на такой скорости вертикальный маневр приведет к потере сознания. Стрелка указателя скорости за звуковым барьером вибрирует, что тоже нежелательно.

Его предложения и замечания будут изучать. Конструкторы вновь вернутся к расчетам, а он тем временем еще сделает полет, два, чтобы убедиться в собственных выводах.

Завтра на высоту! Как будет вести себя самолет в разреженной атмосфере? Где пределы двигателя и планера?

К району аэродрома истребитель, притихший и успокоенный, подходил на обычной скорости и высоте...

После полетов Федор спешил домой. Раньше такого желания не было. Старый холостяк превратился в семейного человека. Ждут дети. Федор едет домой и знает, что они с ватагой мальчишек встретят его. Легковой автомобиль, на котором Федор подъедет к своему дому, будет заполнен до отказа, и дядя Федя «повиражит» с орущи-

ми от восторга детьми. Такие прогулки доставляли Федору удовольствия не меньше, чем ребятам...

Почему-то сегодня их нет. Из детского сада уже вернулись. Может, кто из соседей забрал в кино? Так бывало. Уж очень много у него сочувствующих соседей. Он подъехал к дому. Несколько мальчишек не торопились влезть в машину. Его детей с ними не было.

— Дядя Федя! Приехала какая-то тетя и увела их.

Он не сразу открыл дверцу машины. Пока Тани не было, Федор знал, что будет говорить, а сейчас в голове что-то невообразимое...

— Хлопцы, сегодня «круг почета» отменяется. Завтра — сколько хотите...

У дверей квартиры перевел дух. Любит, раз приехала. К чертям сомнения! Любит, а ты просто не можешь понять, каким образом проявляется у женщин любовь вот при таких обстоятельствах.

Федор открыл дверь своим ключом. Тишина. Он открыл другую... То же самое. На диване женская шляпка: не успели спрятать.

— Ну вот что, сорванцы! Где вы прячетесь, я знаю. Но куда вы упрятали маму Таню?

Гришка выглянул из-под дивана и кивнул в сторону шкафа, но тут же спрятался, получив шлепок невидимой рукой:

— Эх, предатель!

Дети повисли у него на шее, потом Гриша соскочил и бросился к шкафу...

Бледная, взволнованная, Таня села на диван, обняв ребят, поглядывая на Федора.

— Где же мне пристроиться?

— Давай к нам! Мама Таня, сядьте к нему на колени, а то он большой, и вам больно будет.

Впервые Федор забыл о существовании детей. Он приподнял от пола всех троих, чувствуя только одно тело, тело любимой женщины!..

«...Дорогой друг! Долго не получаю твоих писем. Что случилось? Не пора ли встретиться? Моя жизнь сделала боевой разворот к солнцу. У моих пацанов есть мать. Ты, конечно, догадываешься кто... Приехала. Не так было все просто, но вполне закономерно. Иногда думаю: был бы ты рядом, и кто знает... Когда-то ты любил ее. Надеюсь, ты не обижаешься на откровенность! Между нами она существовала всегда. Стоит ли сейчас говорить о том, что

было! Мы делаем будущее и ради этого живем. Я ничего не хочу усложнять. Жизнь проще! Если порой она бывает сложной, и даже очень, мы сами в этом виноваты. Так просто и естественно любить, верить, чувствовать рядом человека, который для тебя жена и друг. Только дети меня беспокоят: до сих пор я был для них кумиром, а теперь что-то второстепенное. «Моя любовь» так прибрала их к рукам (кстати, меня тоже), что они цепляются за ее юбку, как репьи. Великая сила — женщина! Ты подумаешь: какой пафос! Извини, тебе не очень приятно слушать бред влюбленного.

Отвечай! Не забудь приветствовать Таню, как она делает это сейчас. Желаю всех благ!

Едва не забыл: в нашем стареньком городе работает на заводе женщина Полина! Она заходила к Тане. Выглядела несчастным человеком. Если бы ты знал, как хочу твоего благополучия! В конце концов, мы имеет на это право, черт возьми!

Твой Федор».

Многое еще написать хотелось, но Федор решил подождать ответа. Таня спокойна, он уверен в этом, но будет ли спокоен Астахов? Нет, не все в жизни просто. Пути Астахова и Тани разошлись еще в годы войны и сойтись уже не могли. В жизнь Тани вошли дети и он, Федор. Глупыми и наивными кажутся сейчас его действия в первые двое суток после ее приезда, когда он оставался на заводе, давая возможность Тане привыкнуть, обдумать все... На третьи сутки пришел домой. Таня смеялась. Тогда он понял, что она взрослее, умнее...

— До чего же я напугала тебя своим приездом, ребенок! Хорошо выглядит жена, у которой муж сбежал в первый же день ее приезда! Отчитывайся перед соседями сам. Надеюсь, сегодня не уйдешь?

И сейчас ему стыдно при одном воспоминании, как он стоял тогда перед ней, провинившийся... Нет, больше он не уходил. Они скоро поедут вместе в город, в город их детства, юности, затем вернутся обратно сюда, семьей.

Федор начинал новую жизнь...

19

Очередные учения. Ночное небо гудело, и, когда наступала кратковременная тишина, никто не знал, когда она вновь оборвется шумом взлетающих истребителей. Летали на перехват учебных целей. «Противник» появлялся на

экранах радиолокаторов внезапно и в неожиданных направлениях. Спали урывками, больше сидели в кабинах. В перерывах между вылетами — в дежурном домике. Отдых. С появлением сигнала летчики, техники бежали к самолетам.

После очередного вылета в дежурном домике Астахов посмотрел на часы:

— Через десять минут появится шарик. Советую посмотреть. К нашему счастью, облаков нет.

Все, кто был на земле, всматривались в покрасневший восток. Кончалась полярная ночь. Впервые за долгое отсутствие на несколько минут покажется кроваво-красный диск светила, возвещая наступление полярного дня. Тишина. Мягкий сумеречный свет похож на предрассветное утро. Сопки прикрыты легкой морозной дымкой. Земля еще спит, но снег уже улавливает лучи скрытого солнца и поблескивает. Как долго тебя не было, солнце! Еще холодное, пока бессильное в борьбе с ледяным царством, ты светишь, и твой свет согревает сердце человека и все живое, что существует в этой холодной стране. Вот почему твой приход, солнце, ненцы отмечают как праздник. Еще немного пройдет времени, и сотни тысяч птиц устремятся сюда с юга. Они преодолеют тысячи километров над сушей и над холодными водами северных морей, опустятся на ледяных просторах и будут терпеливо ждать, пока окончательно не обнажится тундра и не наступит полярный день, и ты, солнце, не покинешь эту землю ни на минуту несколько месяцев.

Почему птицы так любят летний Север? Что они находят на вечно мерзлой земле приятного для себя? Их тысячи... и чувствуют они себя здесь превосходно. Им не страшна пурга, снежные заносы. Откроется тундра, и начнут появляться птенцы. Не потому ли они так быстро растут, оперяются, что ты, солнце, двадцать четыре часа в сутки покрываешь их своим светом?! Коротко северное лето, но оно полно жизни, деятельной, неутомимой. Горит восток! Забудь на минуту, что это солнце, и ты увидишь громадное зарево пожара. Огненные языки лижут горизонт, разрастаются и вот-вот подпалят небо.

Могучий шар медленно и торжественно всплыл над горизонтом. Сопки мигом порозовели, снег заискрился, загорелись окна домиков, стеклянные фонари кабин. Однообразно белые крылья на стоянке самолетов залиты нежными красками. Не торопись уходить, солнце. С тобой

жизнь! Без тебя уныние, тяжелое однообразие, мрак и холод...

Огненный шар проскользнул над краем земли и скрылся. Мигом исчезли краски, потускнело небо; вспыхнувшая земля вновь замерла, окунулась в ночь, потонула во мраке, и опять потемневший снег и мрачный воздух.

Когда восток погас, Астахов все еще смотрел туда, где только что был свет. Взлететь бы и с высоты проводить солнце! Кто сейчас в воздухе, еще видит его. В небе тишина. Самолеты не торопились домой. Незабываемые минуты.

— Здравствуй, солнце!

Отступила полярная ночь. Первая для Астахова на Севере...

По сигналу он взлетел, чтобы атаковать последнюю цель на этих учениях. Высоко в небе бомбардировщик. Разноцветные аэронавигационные огни на крыльях, хвостовом оперении подчеркивают его величавый силуэт в темном небе. Они вспыхивают, когда скрываться уже нет смысла: истребитель обнаружил его. С огромной скоростью плывет бомбардировщик в бесконечном просторе, и его огни напоминают огни парохода на Волге в темную ночь.

После атаки Астахов развернул истребитель на курс домой. Бомбардировщик продолжал полет.

Несколько дней прошли в спокойной обстановке. Погода установилась. Небо чистое. Ветер слабый. Сильные морозы. Не часто балует Арктика такой тихой погодой. День прибавлялся. Солнце с каждым днем поднималось выше, все дольше задерживалось над суровым краем. Люди использовали каждый свободный час для прогулок на лыжах. На ослепительно белом фоне тундры — сотни фигур. Лыжники — в защитных очках: солнце и снег радовали сердце, но портили глаза.

Север...

...Ночь. Огромная полная луна повисла над горизонтом. Притихшая земля светилась ровным желтоватым светом. Золотом блестел снег. Укрытые толстым слоем его, упирались на горизонте в небо сопки. Ледяное безмолвие, покой, тишина. Темная фигура часового медленно двигается вдоль стоянки истребителей, но так тихо и спокойно кругом, что и это движение подчеркивает торжественную тишину спящего Севера. Часовой вдруг остановился, замер. «Стой, кто идет!» Окрик разнесся по аэродрому, как бы

всколыхнул воздух. Эхо его застыло где-то в море, во льдах. Человек, медленно идущий навстречу часовому, сделал еще несколько шагов и остановился. В руках часового блеснул луч карманного фонарика. Вряд ли он был нужен: луна хорошо освещала крупную фигуру в унтах и в кожаной шубе. Часовой прижал автомат к груди, принял положение «смирно», провожая глазами человека, продолжавшего путь вдоль стоянки...

Отставка! Уж лучше бы в запас! Есть что-то обидное в этом слове «отставка», отрешающее от жизни, безвозвратное. В его возрасте в отставку не уходят, разве что по болезни, и все-таки это отставка. Годы в авиации пролетели быстро, как юность.

Говорят, в минуту опасности человек мысленно, этап за этапом, вспоминает всю свою жизнь. Ерунда! В минуту опасности человек думает, как победить смерть и выйти из поединка победителем. Человек видит свою жизнь отчетливо, ярко, как картину, когда он сравнительно спокоен, когда к прошлому возврата нет, а будущее не совсем ясно, когда жизнь поворачивает на сто восемьдесят градусов и толкает совсем к другому, к новому, отличному от всего, что ранее составляло существо бытия.

Вот и у него, Ботова, сегодня последний полет. Последний! Он не знал этого, пока не произвел посадку, и так-то лучше. Взлетая, не думай, что это последний полет. У летчиков так принято. Много месяцев на Севере... Небо Арктики под охраной. Новая техника, новые силы, новые люди, молодые, обогащенные опытом прошлых лет. Последний день в армии. Так надо! Он честно воевал и после войны продолжал жить боевой жизнью военного летчика, командира. Нет покоя в душе, и никогда не было. Тревожное чувство толкнуло его к стоянке самолетов, туда, где он еще свой человек, по крайней мере сегодня. Кончено с полетами! Теперь он может летать только пассажиром на транспортном! Лучше поездом, в отдельном купе. Почему в отдельном? Начинаешь искать покоя? Посмотри на прожитые годы. Разве ты когда-нибудь останавливался? Все годы шагал крупно, далеко. Было время, хотел остановиться, перевести дух, но жизнь толкала вперед, и он шел, не мог не идти...

Жизнь не кончилась! Последние годы плохо следил за собой: барахлит сердце, тело ожирело — это, вероятно, от сердца. Ничего, еще есть у него время. Займется гимнастикой, спортом. Найдет себе применение в Аэрофлоте.

Летать не дадут, но руководить полетами где-нибудь в службе движения он сможет. Ну что ж, все закономерно. Всему свое время.

Часовой, наблюдавший за фигурой командира, успокоился, когда полковник, постояв у плоскости истребителя, направился в гарнизон.

20

Самолет вырвался из холодного мрака и продолжал путь в посветлевшем небе. Отпуск. Астахов думает о письме Михеева, в котором Федор сообщал о встрече Тани с Полиной. Федор прав: люди сами себе усложняют жизнь. Около двух месяцев Астахов не видел Полины и до последнего времени не знал точно, где она. Вместе с письмом Федора пришло письмо и от нее, коротенькое, спокойное. Работает на заводе, живет в общежитии. О своем положении ни слова, о посещении Тани тоже. Полина, милая! Жизнь трепала тебя много лет, но и обновила. Ты уехала от меня, чтобы перешагнуть рубеж, за которым новый путь и новая жизнь.

Легко думалось, только уж очень медленно тянется время. Перед отлетом в отпуск он послал телеграмму Федору: «Найду «несчастную» женщину (слово «несчастную» вставил в жирные кавычки... не перепутал бы телеграф), и едем к тебе». Два месяца отпуска. В планах несколько маршрутов: к Федору, на юг, к морю, потом в тайгу к отцу женатым человеком.

Последняя посадка на промежуточном аэродроме, последняя заправка горючим—и дальше! Астахов смотрел на землю, встречал леса, реки, села... Почти год он не видел ни того ни другого.

...Сидя в такси, он торопил шофера. «Чертов характер! — беззлобно думал он. — Адреса не сообщила. Общежитие, и только. Где это общежитие?»

Родной город! Юность! Он почти заново отстроен, но город Астахов видел плохо...

На заводе сообщили: работала в ночную смену. Работала ночь! Черт возьми, она же беременная! Почему ночь? Общежитие недалеко от завода. Астахов обошел несколько комнат, пока ему не сказали: недавно перешла с подругой на квартиру. Подруга есть. Это уже хорошо.

Еще полчаса в поисках нового адреса. Небольшой деревянный домик, чудом уцелевший в годы войны. Малень-

кая комната. Металлическая кровать, цветастое одеяло... Подруга с хозяйкой вышли. Он почти не видел их. Широко открытые, немигающие глаза, пожелтевшее лицо, простая сорочка...

— Я думала, ты приедешь к концу лета. Тогда был бы маленький. Я не хотела, чтобы ты видел меня такую...

Астахов целовал ее, осторожно прижимая к себе: в ней новая жизнь...

— Боже мой, как я люблю тебя!

И в этих словах было столько радости, радости матери!

— Мы успеем съездить к Федору. Ты ведь знакома с Таней, с его женой?

Не поднимаясь с постели, Полина все еще держала голову Николая в своих руках.

— Не нужно ехать. Они здесь. Вчера были у меня. И Федор, и Таня, и еще доктор Василий Зиновьевич. Звали к себе жить. У них свободная комната. Я не пошла...

— Почему?

— Тебя ждала.

— Высечь бы тебя как следует, да уж ладно, потом как-нибудь... У врача была?

— Была. А теперь Василий Зиновьевич к своим направляет... Мне неудобно как-то. Никто никогда за мной так не ухаживал.

И опять то неожиданное, что сбивало Николая с толку раньше, но что понятным стало теперь: Полина уткнулась лицом в его колени и заплакала навзрыд, но эти слезы уже не от горя...

Николай с Федором стояли у могилы Фомина.

Они задумчиво смотрели на скромную пирамиду с пожелтевшей фотографией.

— Иной проживет сто лет,— говорит Астахов,— проживет и исчезнет бесследно, растворится в памяти. Тихо жил, тихо ушел, и вся его долгая жизнь, как протяжный, замирающий гудок, не оставляет отзвуков, уходит в ничто. Фомин прожил половину жизни... И в старости я буду видеть его живым, молодым, зовущим к жизни...

В небе истребитель. Звук двигателя вырос внезапно и так же быстро растаял в чистом воздухе. Увидеть самолет невозможно: он за звуковым барьером.

— Когда я испытываю новый самолет и чуть ли не с космической высоты смотрю на землю, я думаю: как огромен и прекрасен мир! И как бесконечна жизнь!..

СОДЕРЖАНИЕ

Кудис Д. К.

К88 Не был в боях. За Полярным кругом: Повести. — М.: Воениздат, 1980. — 285 с.

В пер.: 1 р. 30 к.

Повесть «Не был в боях» посвящена людям, которые в годы Великой Отечественной войны готовили в одном из учебно-тренировочных центров летчиков-истребителей. Повесть «За Полярным кругом» рассказывает о воинах-авиаторах, несущих полную героизма и мужества службу в северных районах страны.

К $\frac{70302\text{-}150}{068(02)\text{-}80}$ 145.80.4702010200. ББК84Р7

Р2

Дмитрий Карлович Кудис

НЕ БЫЛ В БОЯХ. ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

ПОВЕСТИ

Редактор *К. А. Князев*
Художник *Н. А. Абакумов*
Художественный редактор *Е. В. Поляков*
Технический редактор *Т. В. Фатюхина*
Корректор *К. В. Смирнова*

ИБ № 1031

Сдано в набор 31.07.79. Подписано в печать 29.02.80. Г-32197
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2.
Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая.
Печ. л. 9. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 16,014.
Тираж 80 000 экз. Изд. № 4/5146. Зак. 191. Цена 1 р. 30.

Воениздат
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6,
проезд Скворцова-Степанова, дом 3

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Военное издательство просит присылать отзывы об этой книге по адресу:
103160, Москва, К-160.

Цена 1 р. 30 к.

